

Генрик Сенкевич

Потоп



Трилогия

Генрик Сенкевич

Потоп

«Public Domain»

1886

Сенкевич Г.

Потоп / Г. Сенкевич — «Public Domain», 1886 — (Трилогия)

«Был на Жмуди влиятельный род Биллевичей, происходивший от Миндовга, породнившийся со знатью и чтимый во всем Россиенском повете. Высоких чинов Биллевичи никогда не достигали – самое большее, занимали должности в повете, но на поле брани они оказывали стране огромные услуги, за которые в разные времена их щедро награждали. Их родовое гнездо, существующее до сегодняшнего дня, тоже называлось Биллевичи, но кроме него они обладали еще многими другими поместьями не только в окрестностях Россией, но и дальше к Кракинову по берегам Ляуды, Шои и Невяжи, туда – за Поневеж...»

Содержание

Вступление	6
Часть первая	10
I	10
II	19
III	23
IV	29
V	38
VI	47
VII	52
VIII	65
IX	75
X	80
XI	97
XII	103
XIII	119
XIV	133
XV	140
XVI	145
XVII	149
XVIII	165
XIX	170
XX	175
Конец ознакомительного фрагмента.	184

Генрик Сенкевич

Потоп

* * *

Вступление

Был на Жмуди влиятельный род Биллевичей, происходивший от Миндовга, породнившийся со знатью и чтимый во всем Россиенском повете. Высоких чинов Биллевичи никогда не достигали – самое большее, занимали должности в повете, но на поле брани они оказывали стране огромные услуги, за которые в разные времена их щедро награждали. Их родовое гнездо, существующее до сегодняшнего дня, тоже называлось Биллевичи, но кроме него они обладали еще многими другими поместьями не только в окрестностях Россией, но и дальше к Кракинову по берегам Ляуды, Шои и Невяжи, туда – за Поневеж. Потом они распались на несколько родов, члены которых потеряли друг друга из виду. Они съезжались только тогда, когда в Россиенах, на «Равнине Сословий», происходили смотры жмудского посполитого рушения¹. Порой они встречались под знаменами литовских войск и на сеймиках, а так как они были богаты и влиятельны, то с ними должны были считаться даже всемогущие на Литве и Жмуди Радзивиллы.

В царствование Яна Казимира патриархом всех Биллевичей был Гераклий Биллевич, полковник легкой кавалерии, подкоморий упицкий. Он не жил в родном гнезде, так как им в то время владел Томаш, мечник россиенский; Гераклию принадлежали Водокты, Любич и Митруны, расположенные вблизи Ляуды и окруженные со всех сторон, точно морем, землями мелкопоместной шляхты.

Кроме Биллевичей во всей округе было лишь несколько знатных домов: Соллогубы, Монтовиллы, Шиллинги, Корызны, Сицинские (хотя и мелкой шляхты с этими фамилиями было немало). Впрочем, на всем протяжении берега Ляуды были усеяны так называемыми «околицами» или «застенками» – поселками, в которых жила славная в истории Жмуди ляуданская шляхта.

В других местностях род получал название от «застенка» или «застенок» от рода, как бывало, например, на Полесье, но там, на берегах Ляуды, было иначе. В Морезах жили Стакьяны, которых поселил там Баторий в награду за мужество, выказанное под Псковом. В Волмонтовичах, на прекрасной земле Бутрымы, самые рослые во всей Ляуде, славившиеся неразговорчивостью и тяжеловесностью руки, которые во время сеймиков и войн шли вперед стеной, молча. Земли в Дрожейканах и Мозгах обрабатывали многочисленные Домашевичи, знаменитые охотники. Эти в Зеленой пуще хаживали за медведями до самого Вилкомира. Гаштофты жили в Пацунелях. Их девушки славилась красотой, так что под конец всех хорошеньких девушек из окрестностей Кракинова, Поневежа и Упиты стали звать пацунельками. У маленьких Соллогубов были огромные стада лошадей и скота; Госцевичи же из Гошун гнали в лесах смолу и были прозваны «Черными» или «Дымными».

Было еще много «застенков», много родов. Многие из них существуют и поныне, но большинство «застенков» расположены не там, где раньше, и люди в них называются другими именами. Приходили войны, несчастья и пожары, и они отстраивались, но не всегда на прежних местах, – словом, многое изменилось. Но в былые годы старая Ляуда процветала в своем исконном быту и ляуданская шляхта пользовалась известностью, ибо недавно еще под начальством Януша Радзивилла прославилась в войне с восставшим казачеством.

Все ляуданцы служили под знаменем Гераклия Биллевича: богатые – в качестве «панцирных товарищей», бедные – в свитских.

Вообще эта шляхта была воинственна и любила военное дело; зато в вопросах, которые обсуждались на сеймиках, она была менее сведуща. Знала, что в Варшаве есть король, Радзивилл, и пан Глебович – староста на Жмуди, а Биллевич – в Водоктах на Ляуде. Этого с них было

¹ Всеобщее ополчение.

довольно – и на сеймикахони голосовали так, как их учил Биллевич, в полной уверенности, что он хочет того же, что и пан Глебович, а Глебович не пойдет против Радзивилла; Радзивилл – правая рука короля на Литве и Жмуди, а король – супруг Речи Посполитой и отец шляхты.

Пан Биллевич был скорее приятелем, чем «клиентом» могущественных олигархов в Биржах, и они ценили его особенно потому, что по первому его зову он располагал тысячами голосов и тысячами ляуданских сабель, а сабли в руках Стакьянов, Бутрымов, Домашевичей или Гаштофтов по тем временам были делом не шуточным. Только потом все изменилось, особенно когда не стало пана Гераклия Биллевича.

Не стало же его, отца и благодетеля ляуданской шляхты, в 1654 году. В то время разгорелась страшная война в восточной части Речи Посполитой. Пан Биллевич вследствие старости и глухоты уже не пошел на нее, но ляуданская шляхта пошла. И вот когда пришло известие, что Радзивилл разбит под Шкловом, а ляуданский полк после атаки почти весь вырезан наемной французской пехотой, со старым полковником сделался удар, и он отдал богу душу.

Известие это привез некий пан Михал Володыевский, молодой, но славный воин, который в отсутствие пана Гераклия, по распоряжению Радзивилла, командовал ляуданским полком. Остатки этого полка, разбитые, голодные и искалеченные, вернулись вместе с ним в родные селения, сетуя на великого гетмана² за то, что тот, слишком веря в страх своего имени, в свою славу победителя, решился идти с ничтожным отрядом против неприятеля, который был в десять раз сильнее его, и благодаря этому подверг опасности и войско, и всю страну.

Но среди общих нареканий ни один голос не поднялся против молодого полковника пана Юрия-Михала Володыевского. Напротив, те, что уцелели от погрома, превозносили его до небес и рассказывали чудеса об его боевом опыте и подвигах, и единственным утешением уцелевших ляуданцев были воспоминания о победах, одержанных ими под предводительством Володыевского: как они пробились сквозь дым и ряды неприятельского войска, как потом, нападши на французских наемников, они разбили их в пух и прах, причем пан Володыевский собственноручно убил их начальника; как, наконец, окруженные с четырех сторон, они отчаянно отстреливались, покрывая своими трупами поле, и наконец сломили неприятеля.

С грустью, но вместе с тем с гордостью слушали эти рассказы те из ляуданцев, которые, не служа в литовском войске, обязаны были принимать участие в посполитом рушении. Многие надеялись, что посполитое рушение, последняя защита государства, должно было быть вскоре созвано. Заранее было решено, что в таком случае пан Володыевский будет выбран ротмистром, несмотря на то что не принадлежит к местной шляхте, ибо не было никого ему равного. Рассказывали также, что он спас от окончательной гибели и самого гетмана. Поэтому вся Ляуда почти носила его на руках и нарасхват приглашала его к себе гостить. Из-за этого ссорились Бутрымы, Гаштофты и Домашевичи. А он так полюбил эту воинственную шляхту, что, когда остатки радзивилловских войск собрались в Биржах, он туда не поехал, а ездил из «застенка» в «застенок» и наконец поселился у пана Пакоша Гаштофта, который был первым в Пацунелях.

Правду говоря, пан Володыевский и не мог бы никак ехать в Биржи, так как серьезно заболел горячкой, а потом, вследствие контузии, полученной под Цыбиховом, у него отнялась правая рука. Три дочери Гаштофта, славившиеся своей красотой, взяли его под свою нежную опеку и поклялись во что бы то ни стало поправить здоровье столь славного кавалера; вся же шляхта занялась похоронами своего прежнего вождя, пана Гераклия Биллевича.

После похорон вскрыли завещание покойного, и оказалось, что старый полковник делал наследницей всего своего состояния, исключая Любича, внучку свою Александру Биллевич, дочь ловчего упицкого, а опеку над ней до ее замужества поручает всей ляуданской шляхте.

«...ибо была она доброжелательна ко мне, – говорилось в завещании, – и платила любовью за любовь, пусть же такой будет она и в отношении к сироте моей, – в эти времена испор-

² Гетман – командующий войском.

ченности и извращенности, когда никто не может считать себя в безопасности, – и пусть охраняет ее от всех превратностей судьбы.

Она должна следить за тем, чтобы внучка моя могла безо всякого посягательства со стороны других пользоваться всем своим имуществом, – за исключением Любича, который я дарю молодому оршанскому хорунжему пану Кмицицу. Если же кто станет удивляться такому расположению моему к пану Андрею Кмицицу и будет видеть в этом обиду внучке моей Александре, то он должен знать, что с молодых лет и до самой смерти я пользовался со стороны отца его дружбою и братнею любовью. Что во время войн он не раз спасал мне жизнь, а когда паны Сицинские из ненависти хотели оттягать у меня состояние, он и в этом мне помог. Потому я, Гераклий Биллевич, подкоморий упицкий и вместе с тем грешник негодный, стоящий перед страшным судом Божиим, четыре года тому назад отправился к Кмицицу-отцу, мечнику россиенскому, чтобы выразить ему чувства дружбы и благодарности. Там, с обоюдного согласия, решили мы, по старому шляхетскому и христианскому обычаю, что дети наши, а именно: сын его, Андрей, и внучка моя, Александра, должны вступить в брак и воспитать свое потомство во славу Божью и на пользу отчизны. Такова моя воля, и от исполнения ее внучку мою Александру освобождаю только в том случае, если – храни Бог! – Кмициц обесславит себя каким-нибудь неблагородным поступком. Если же он, вследствие какого-нибудь несчастья, лишится даже своего состояния, то это не должно служить помехой.

Но если внучка моя пожелает вступить в монастырь, то в этом дается ей полная свобода, ибо слава Божья первее всех почестей и благ земных».

Так распорядился состоянием и судьбой своей внучки Гераклий Биллевич, чему, впрочем, никто и не удивлялся. Сама она давно уже знала, что ее ждет, а шляхте также хорошо была известна дружба Биллевича с Кмицицем; кроме того, в то время, среди несчастий, выпавших на долю отчизны, все были поглощены другими мыслями, и о завещании вскоре перестали и говорить.

Только в Водоктах говорили о Кмицицах, или, вернее, о молодом Кмицице, ибо старика тоже не было в живых. А молодой сначала сражался под Шкловом со своими волонтерами, а потом скрылся неизвестно куда, хотя никто не мог допустить мысли, что он погиб, ибо смерть такого славного рыцаря не могла бы пройти незамеченной. Кмицицы были в родстве со всеми влиятельными домами повета и обладали довольно значительными поместьями, но поместья эти были разорены во время последних войн. Целые поветы превратились тогда в глухие пустыни, а люди гибли один за другим. После разгрома радзивилловских войск не оставалось никого, кто мог бы дать отпор неприятелю. У гетмана Госевского было мало войска; коронные гетманы сражались с остатками войск на Украине и не могли прийти к нему на помощь, так же как и Речь Посполитая, обессиленная постоянными войнами с казаками. Волны неприятелей заливали страну все более и более, кое-где лишь ударяясь о стены, но и эти стены падали одни за другими, как пал Смоленск. Жители Смоленского воеводства, где находились поместья Кмицица, считали его погибшим. Во время этого всеобщего хаоса и ужаса люди рассеялись, как листья, гонимые вихрем, и никто не знал, куда исчез молодой оршанский хорунжий.

Но так как до старости Жмудского война еще не дошла, то шляхта понемногу успокоилась после Шкловского поражения и стала съезжаться для обсуждения как общественных, так и частных вопросов. Бутрымы говорили, что нужно ехать в Россиены на сбор всеобщего ополчения, потом к Госевскому, чтобы отомстить за шкловское поражение; Домашевичи пробирались через Роговскую пушу к неприятельскому лагерю и привозили оттуда разные известия; Госцевичи коптили мясо для предстоящего похода, – но прежде всего решили выбрать опытных людей и отправить их на розыски Андрея Кмицица.

Все эти совещания происходили под главенством двух местных патриархов: Пакоша Гаштофта и Касьяна Бутрыма; вся же шляхта, польщенная доверием покойного Биллевича,

покаялась окружить его внучку отеческой заботливостью и попечением. В то время, когда в других местностях творились разные бесчинства и грабежи, на Ляуде было спокойно. Никто не врывался во владения молодой помещицы, не трогал ее амбаров, не вырубал лесов, не загонял скота на ее пастбища. Наоборот, каждый «застенок» старался услужить, чем мог, и без того состоятельной землевладелице: Стакьяны присылали ей соленую рыбу, Бутрымы – крупу и муку, Домашевичи – дичь, а Госцевичи – смолу и деготь. В «застенках» называли ее не иначе как «наша панна», а красивые пацунельки ожидали Кмицица чуть ли не с таким же нетерпением, как и она сама.

Между тем пришли тревожные вести, призывавшие шляхту к оружию, и Ляуда заволновалась. Все, от мала до велика, садились на коней и отправлялись к Гродне, куда прибыл король и где был назначен сбор войск. Первыми, молча, двинулись Бутрымы. Из других местностей шляхта явилась лишь в небольшом количестве, но богобоязненная Ляуда была вся налицо.

Володыевский не мог еще владеть рукой и потому остался с женщинами. Околицы опустели, и по вечерам у каминов сидели только старики, дети да женщины. В Поневеже и в Упите было тихо; всюду ожидали новостей.

Панна Александра также заперлась в Водоктах и никого, кроме своих опекунов и слуг, не видала.

Часть первая

I

Наступил новый, 1652 год. Январь был морозный, но сухой; суровая зима покрыла всю Жмудь толстым, в аршин, белым саваном; ветви деревьев гнулись и ломались под тяжестью снега, – днем, на солнце, он слепил глаза, ночью, при луне, его поверхность, стянутая морозом, сверкала призрачными искрами; звери подходили к человеческому жилью, а жалкие серые птицы стучались клювами в заиндеветые стекла окон.

Однажды вечером панна Александра сидела в людской вместе с дворовыми девушками. Это был старинный обычай Биллевичей – когда гостей не было, проводить вечера с челядью, петь божественные песни и просвещать темный люд. Так делала и панна Александра, и делала тем охотнее, что среди ее дворовых девушек были почти одни шляхтянки, из бедных сирот. Они исполняли всякую, даже черную, работу и прислуживали панне, но зато учились манерам и были на другом положении, чем простые девки. Были среди дворовых девушек и крестьянки, которые отличались, главным образом, своей речью: многие из них даже не говорили по-польски.

Панна Александра вместе с родственницей своей, панной Кульвец, сидела посредине, а девушки по сторонам, на скамьях; все они пряли. В огромном камине, под покатым навесом, горели толстые сосновые бревна, то угасая, то вспыхивая большим ярким пламенем и искрами, когда подросток, стоявший у камина, подбрасывал в огонь мелкого березняка и лучин. Когда пламя вспыхивало ярче – оно освещало темные деревянные стены огромной горницы с очень низким бревенчатым потолком. У балок висели на нитках разноцветные звездочки, сделанные из облаток, и дрожали в нагретом воздухе, из-за балок выглядывали мотки чесаного льна и свешивались по сторонам, как турецкие бунчуки. Почти весь потолок был ими завален. На темных стенах сверкала, как звезды, оловянная посуда, расставленная на длинных дубовых полках.

В глубине, у дверей, лохматый жмудин с шумом ворочал жерновами и бормотал под нос какую-то монотонную песню, панна Александра молча перебирала четки, девушки пряли, не разговаривая друг с дружкой.

Свет огня падал на их молодые румяные лица, сами же они, подняв руки к прядкам, левыми пощипывали мягкий лен, а правыми вертели веретена и пряли усердно, точно вперегонки, под суровыми взглядами панны Кульвец. Порой они поглядывали украдкой то друг на друга, то на панну Александру, точно выжидая, скоро ли она велит жмудину бросить жернова и начнет петь божественные песни; но они не переставали работать и все пряли; нитки вились, веретена жужжали, спицы мелькали в руках панны Кульвец, а лохматый жмудин ворочал с шумом жернова.

Порой он прерывал свою работу – видно, что-то портилось в жерновах, – и раздавалось его гневное восклицание:

– Падлас!³

Панна Александра поднимала голову, точно разбуженная тишиной, наступавшей после восклицаний жмудина; тогда пламя освещало ее лицо и глубокие голубые глаза, смотрящие из-под черных бровей.

³ Подлый! (литов.).

Это была красивая панна, со светлыми волосами, бледной кожей и нежными чертами лица. В красоте ее было что-то, напоминавшее красоту цветка. Траурное платье придавало ей строгую серьезность. Она сидела у камина, как бы во сне, погруженная в глубокие думы, – быть может, она думала о своей судьбе, которая должна была скоро решиться.

По завещанию, она должна была стать женой человека, с которым не виделась уже лет десять, а так как ей не было и двадцати, то у нее осталось лишь смутное детское воспоминание о каком-то мальчишке-сорванце, который во время своего пребывания с отцом в Водоктах больше бегал по болотам с самопалом, чем смотрел на нее.

«Где он и каков он теперь?» – вот вопросы, которые теснились в голове задумчивой панны.

Она знала его еще по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей смерти предпринял далекое путешествие в Оршу. Судя по этим рассказам, это был «кавалер, способный на великие подвиги, да только больно горячий». После условия, заключенного между старым Биллевицем и Кмицицем-отцом относительно женитьбы их детей, молодой человек должен был приехать в Водокты, чтобы представиться невесте; в это самое время разгорелась война, и кавалер, вместо того чтобы навестить невесту, отправился на поле брани. Там он был ранен и лечился дома; потом ухаживал за больным отцом, потом опять вспыхнула война – и так прошло четыре года. Теперь со смерти полковника прошло немало времени, а о Кмицице не было и слуху.

Значит, было о чем призадуматься панне Александре; а может, она и тосковала по нему, еще его не зная. Ее чистое сердце жаждало любви именно потому, что еще любви не знало. Нужна была только искра, чтобы в нем загорелось пламя, спокойное, но ясное, ровное и неугаемое.

Ее охватывало беспокойство, порою приятное, порою мучительное, в душе рождались вопросы, на которые ответа еще не было: он должен был прийти из далеких полей. Первый вопрос ее был: добровольно ли он идет на брак с нею и ответит ли готовностью на ее готовность? В те времена соглашения между родителями о браке детей были делом обыкновенным, а дети, даже после смерти родителей, связанные их благословением, не могли нарушить договора. В самом сватовстве своем она не видела ничего странного, но она знала, что желания не всегда идут рука об руку с долгом, и русую головку панны беспокоила мысль: будет ли он любить ее? Как стая птиц кружит над деревом, одиноко стоящим в поле, так вопросы кружились в ее голове один за другим.

Кто ты? Каков теперь? Жив ли еще или тебя убили где-нибудь? Далеко ли ты или близко? Сердце панны, открытое навстречу милому гостю, невольно рвалось к далеким странам, лесам, снежным полям и кричало: «Приди, милый, потому что нет на свете ничего тяжелее ожидания».

Вдруг, точно в ответ на ее призыв, снаружи, из этой снежной ночной дали донесся звук колокольчика.

Девушка вздрогнула, но, очнувшись, вспомнила, что это, верно, из Пацунелей прислали за лекарством для молодого полковника, как присылали почти каждый вечер; мысль эту подтвердила и панна Кульвец, говоря:

– Это, верно, приехали от Гаштофтов за лекарством.

Неровный звук колокольчика, привязанного к дышлу, доносился все яснее и яснее; наконец, он вдруг умолк, – сани, очевидно, остановились перед домом.

– Посмотри, кто приехал, – сказала панна Кульвец жмудину.

Тот вышел из людской, но через минуту вернулся и, принимаясь опять за жернова, произнес флегматично:

– Панас Кмитас!

– Сбылось! – воскликнула панна Кульвец.

Девушки вскочили, прялки и веретена попадали на пол.

Панна Александра тоже встала. Сердце ее билось, как молот, на лице выступил румянец, но она нарочно отвернулась от камина, чтобы никто не видел ее волнения.

Вдруг в дверях показалась какая-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой человек вошел в избу и, заметив, что он в людской, спросил звучным голосом, не снимая шапки:

– Гей, а где же ваша панна?

– Я здесь! – ответила довольно твердым голосом панна Биллевич. Услышав ее ответ, гость сорвал шапку с головы, бросил ее на пол и, поклонившись, сказал:

– Я – Андрей Кмициц.

Глаза панны Александры на мгновение остановились на лице гостя и опустились. Золотистые, как рожь, волосы, выстриженные в кружок, серые глаза с пристальным взглядом, темные усы и молодое, смуглое лицо с орлиным носом, веселое и удалое.

А он, подбоченившись левой рукой, правой провел по усам и сказал:

– Я еще не был в Любиче, а несся птицей сюда, чтобы поклониться панне ловчанке. Ветер принес меня прямо из лагеря.

– Вы знали о смерти дедушки-подкомория? – спросила панна.

– Нет, не знал, но я оплакал моего благодетеля горькими слезами, когда узнал это от шляхты, присланной отсюда ко мне. Это был искренний друг моего покойного отца, почти что брат. Ваць-панне известно, что он четыре года тому назад был у нас в Орше. Тогда-то он и обещал отдать мне панну и показал ваш портрет, над которым я вздыхал по ночам. Я бы раньше сюда приехал, но война – не мать: людей только со смертью венчает.

Панна смутилась его смелой речью и, чтобы переменить разговор, спросила:

– Значит, вы еще не видели своего Любича?

– Будет время! Здесь у меня самое важное дело – здесь у меня самое драгоценное наследство, которое я прежде всего хотел бы получить. Только вы так отворачиваетесь от меня, что я до сих пор не мог заглянуть вам в глаза. Вот так! Повернитесь-ка, а я у камина стану... Вот так!

С этими словами он схватил не ожидавшую такой смелости панну Александру за обе руки и быстро повернул ее к огню.

Она смутилась еще больше и, опустив длинные ресницы, стояла, точно стыдясь собственной красоты и света. Наконец Кмициц выпустил ее руки и хлопнул себя по бедрам:

– Как Бог свят, редкость! Я прикажу отслужить сто заупокойных обеден за душу моего благодетеля. Когда же свадьба?

– Еще не скоро, я еще не ваша, – ответила панна Александра.

– Но будешь моею, хоть бы мне пришлось для этого сжечь этот дом! Я думал, что на портрете тебя прикрасили, но теперь вижу, что художник высоко метил, да промахнулся; всыпать бы ему сто плетей и печки велеть красить, а не такую красоту писать, от которой я сейчас глаз не могу оторвать. Счастливцев тот, кому такое наследство достается!

– Правду говорил дедушка покойный, что вы горячи не в меру!

– У нас в Смоленске все таковы, не то что ваши жмудины! Раз, два – и должно быть так, как мы хотим, а не то смерть!

Панна Александра улыбнулась и, взглянув на молодого человека, сказала уже спокойнее:

– Верно, там у вас татары живут.

– Это все равно! А вы все-таки моя, и по воле родителей, и по сердцу.

– По сердцу ли, этого я еще не знаю.

– А коли не по сердцу, так я руки на себя наложу!

– Шутки шутите, ваць-пане! Но что же мы до сих пор в людской стоим – прошу в комнаты! С дороги, верно, и поужинать хорошо... Прощу!

И она обратилась к панне Кульвец:

– Тетя, вы пойдете с нами?

Молодой хорунжий быстро спросил:

– Тетя? Чья тетя?

– Моя тетя, панна Кульвец.

– Значит, и моя! – ответил он, целуя ее руки. – Да! У меня есть товарищ в полку по фамилии Кульвец-Гиппоцентавр, – не родственник ли он вам?

– Да, это из нашего рода! – ответила, приседая, старая дева.

– Славный парень, только такой же ветрогон, как и я, – прибавил Кмициц.

Между тем появился казачок со свечою в руке, и они перешли в сени, где Кмициц снял шубу, а затем в комнаты.

По уходе господ девушки собрались в кружок и начали друг другу высказывать свои замечания. Стройный юноша очень им понравился, и они не жалели слов, расхваливая его изо всех сил.

– Так и горит весь! – говорила одна. – Когда он вошел, я думала, что это королевич какой!

– А глаза как у рыси – так и пронизывают! – ответила другая. – Такому противиться нельзя!

– Хуже всего противиться, – ответила третья.

– Нашу панну повернул, как веретено. Видно по всему, что она ему по нраву, да и кому же она может не нравиться?

– Ну и он не хуже, что и говорить. Если бы тебе такой достался, то ты бы пошла за ним и в Оршу, хотя это, говорят, на краю света.

– Счастливая наша панна.

– Богатым всегда лучше на свете. Золото, а не рыцарь!

– Пацунельки говорили, что и тот ротмистр, который гостит у старого Пакоша, тоже красавец!

– Я его видела, но далеко ему до пана Кмицица!

– Такого, верно, на свете больше нет.

– Падлас! – воскликнул вдруг жмудин, у которого что-то не ладилось с жерновами.

– Да уйди ты наконец, лохмач, со своими жерновами! Перестань шуметь, ничего не слышно. Да, да, трудно сыскать на целом свете такого, как пан Кмициц! Верно, и в Кейданах такого нет.

– Такого-то и во сне будешь видеть.

– Ах, вот если б он мне приснился!

Так разговаривали между собой шляхтянки в людской. А между тем в столовой накрывали на стол, в гостиной панна Александра осталась с Кмицицем наедине, так как тетушка пошла распоряжаться насчет ужина.

Гость не отрывал горящих глаз от девушки и наконец сказал:

– Есть люди, которым милее всего богатство, другие гоняются за славою, иные любят лошадей, а я не променял бы ваць-панну ни на какие сокровища. Ей-богу, чем больше смотрю на вас, тем больше мне хочется жениться – хоть завтра! А уж брови: вы, верно, подводите жженой пробкой?

– Я слышала, что иные так делают, но я не такая.

– А глаза как у ангела. Я так смущен, что у меня слов не хватает!

– Не видно что-то, чтоб вы были смущены. Я, глядя на вас, даже диву даюсь вашей смелости!

– Таков наш смоленский обычай: к женщине и в огонь надо идти смело! Ты, королева, должна к этому привыкнуть, потому что всегда так будет!

– Вы должны от этого отвыкнуть, потому что так быть не может!

– Пожалуй, и уступлю. Верьте не верьте, ваць-панна, для вас я на все готов! Ради вас, моя царица, я готов изменить свой обычай. Я знаю, что я простой солдат и чаще бывал в лагере, чем в дворцовых покоях...

– Это ничего, мой дедушка тоже был солдат, а за доброе желание спасибо, – ответила Оленька и при этом так нежно взглянула на пана Андрея, что он совсем растаял и ответил:

– Вы будете меня на ниточке водить!

– Вы что-то непохожи на тех, которых на ниточке водят. Трудно иметь дело с такими непостоянными!

Кмициц улыбнулся и показал белые, как у волка, зубы.

– Как, – ответил он, – разве мало на мне изломали розог родители и учителя в школе, для того чтобы я остепенился и запомнил все их прекрасные нравоучения и ими руководствовался в жизни!

– А какое же из них вы лучше всего запомнили?

– «Если любишь, падай к ногам» – вот так!

С этими словами пан Андрей стал на колени, а девушка вскрикнула и спрятала ноги под скамейку.

– Ради бога! Этому уж, верно, вас в школе не учили... Встаньте сейчас, или я рассержусь... и тетя сию минуту войдет!

А он, стоя на коленях, поднял вверх голову и смотрел ей в глаза.

– Пусть приходит хоть целый полк теток – для меня это все равно.

– Встаньте же, говорю вам!

– Встаю.

– Садитесь.

– Сижу.

– Вы предатель, вы Иуда.

– А вот и неправда, уж если я целую, так от всего сердца. Хотите убедиться?

– И думать не смейте!

Панна Александра все же смеялась, а он весь сиял счастьем и весельем. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородной крови.

– Ай, – говорил он, – какие глазки, какое личико! Спасите меня, святые угодники, я не выдержу!

– Зачем призывать святых? Целых четыре года вы сюда и не заглянули, так и сидите теперь!

– Да ведь я видел только портрет. Я прикажу этого художника выкупать в смоле, а потом обвалить в перьях и гонять его по всей Упите. Помилуешь меня или казнишь, а скажу тебе всю правду. Смотрел я на твой портрет и думал: хороша, что и говорить, но хорошеньких немало на свете – будет еще время. Женитьба от меня не уйдет – ведь девушки на войну не ходят. Бог свидетель, что я не противился воле отца, но прежде хотел испытать на себе, что такое война, что я и сделал. Только теперь я вижу, что был глуп и не понимал, какое наслаждение меня здесь ожидает; ведь на поле сражения я мог отправиться, и будучи женатым. Слава богу, что меня там не убили! Позвольте ручку поцеловать.

– Нет, не позволю.

– Тогда я и спрашивать не буду. У нас в Оршанском говорят: проси, а не дают, бери сам. Он схватил руку девушки и стал ее горячо целовать, чему она не очень противилась.

В эту минуту вошла тетушка и, увидев, что здесь творится, остановилась в изумлении. Это ей не понравилось, но она не сделала замечания и пригласила их ужинать.

Оба тотчас же встали и под руку пошли в столовую, где стол был уже накрыт, а на нем стояло множество различных блюд, особенно ветчины в разных видах, и бутылка превосходного старого вина. Им было хорошо друг с другом. Ужинал только Кмициц, а девушка села

подле него и радовалась, глядя, с каким он аппетитом уничтожал все, что ему предлагали; когда он утолил голод, она опять стала его расспрашивать:

– Вы сейчас не из Орши приехали?

– Почему я знаю откуда? Я побывал во многих местах, подбирался к неприятелю, как волк к овцам, и что где можно было сорвать, то и рвал.

– Как же у вас хватило смелости идти против такой силы, перед которой сам гетман должен был уступить?

– Как хватило? Я на все готов, такая уж у меня натура.

– Это говорил и покойный дедушка... Счастье, что вас не убили.

– Эх, ловили они меня, как птицу в гнезде, но чуть подходили ко мне, я уходил у них из-под носа и кусал их в другом месте. Надоел я им так, что они оценили мою голову. Превосходное вино!

– Во имя Отца и Сына, – воскликнула с непритворным испугом молодая девушка, глядя с восторгом на этого храбреца, который мог говорить о цене за свою голову и о вине в одно и то же время.

– У вас, верно, было много войска?

– Были у меня драгуны, правда, очень дельные и храбрые, но через месяц они все пали. Ходил я потом с волонтерами, которых собирал, где мог, без разбора. Хороши они на войне, но, в сущности, мошенник на мошеннике. Те, что не погибли еще, рано или поздно пойдут воронью на жаркое.

При этих словах Кмициц рассмеялся, выпил залпом бокал вина и прибавил:

– Таких плутов вы еще не видели, черт их возьми! Офицеры – все шляхта, достойные люди, именитые, но за каждым из них уголовщина в прошлом. Сидят теперь в Любиче, что же мне с ними осталось делать?

– Так вы со своим отрядом к нам приехали?

– Да, неприятель от холода заперся в городах. Мои люди обтрепались, как метлы от продолжительного употребления, поэтому князь-воевода назначил мне стоянку в Поневеже. Ей-богу, этого отдыха я вполне заслужил.

– Кушайте, пожалуйста!

– Для вас я готов и яд съесть. Часть своих оборванцев я оставил в Поневеже, часть в Упите, а самых достойных пригласил в Любич. Они скоро придут к вам с поклоном.

– А где же вас нашли ляуданцы?

– Я их встретил по дороге в Поневеж, но пришел бы сюда и без них.

– Выпейте еще вина!

– Для вас я готов и яду выпить.

– Но о смерти дедушки и о завещании вы узнали только от ляуданцев?

– Об его смерти? Да, от них, упокой, Господи, его душу! Значит, вы послали за мной этих людей?

– И не думайте! Все мои мысли о покойном дедушке и о молитве, больше ни о чем.

– Они мне то же самое сказали. Гордые какие эти сермяжники! Я хотел им заплатить за труды, а они окрысились за это на меня, сказали, что, может быть, это оршанская шляхта все делает за деньги, но не ляуданская. Вообще, немало наговорили они мне дерзостей. Выслушав все это, я подумал: не хотите денег, так я прикажу вам всыпать по сотне розог.

При этих словах панна Александра схватилась за голову:

– Господи помилуй, и вы это сделали? Кмициц удивленно посмотрел на нее:

– Не беспокойтесь, я этого не сделал, но меня всегда возмущает, когда всякая мелюзга претендует на равенство с нами. Я думал, что они расскажут об этом вам, и вы будете меня считать каким-то варваром.

– Какое счастье, – воскликнула панна Александра, – если бы это случилось, вы не должны были бы мне и на глаза показываться.

– Почему?

– Это – мелкая шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка очень любил ее и на войну с ней ходил. Всю жизнь они вместе служили, а в мирное время все были приняты у нас в доме. Это старинные друзья нашего дома, которых вы должны уважать. Я надеюсь, что вы поймете это и не захотите нарушить наших добрых отношений.

– Я об этом ничего не знал, но сознаюсь, что дружба с такой босоногой шляхтой как-то не укладывается у меня в голове. У нас кто мужик, так уж мужик, а шляхта вся более или менее состоятельна и не садится вдвоем на одну лошадь. Я не понимаю, что может быть общего между Кмищицами или Биллевицами и этой мелкой шляхтой. Одно дело шука, а другое пескарь!

– Дедушка находил, что состояние не имеет значения, важно лишь происхождение и честность, а они все в высшей степени честные люди, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами.

Кмищиц остолбенел и широко открыл глаза.

– Он их назначил вашими опекунами? Всю ляуданскую шляхту?

– Да. Вам нечего морщиться, воля покойного свята. Меня удивляет, что они об этом ничего вам не сказали.

– Я бы их... Впрочем, этого не может быть. Здесь их много, неужели у них у всех в отношении вас какие-то права, может быть, им захочется и мной распорядиться, может быть, я им почему-либо не понравлюсь и... Перестаньте шутить, потому что это, наконец, начинает меня бесить.

– Я и не шучу, пан Андрей, это святая истина. Они не станут и вмешиваться в ваши дела; если же вы их не оттолкнете своей заносчивостью и гордостью, то не только они, но и я буду вам всю жизнь благодарна.

Она говорила взволнованным, дрожащим голосом, а он не переставал хмуриться. Правда, он не разразился гневом, но минутами глаза его метали искры, и он проговорил надменно и гордо:

– Этого уж я никак не ожидал. Я уважаю волю вашего покойного дедушки, но думаю, что пан подкоморий мог бы этой мелюзге поручить опеку над вами только до моего приезда, а с минуты, как я здесь, никто, кроме меня, вашим опекуном не будет. Не только эта шляхта, но и сами Радзивиллы не имеют теперь никаких прав над вами.

Панна Александра с минуту молчала, наконец ответила спокойным голосом:

– Вы напрасно увлеклись гордостью. Вы должны или вполне подчиниться воле дедушки, или отказаться от нее совсем. Они не станут вам ни надоедать, ни навязываться, этого вы не думайте. Если бы произошли какие-нибудь недоразумения, то они, конечно, не будут молчать, но надеюсь, что все будет мирно и спокойно, а в таком случае их опека не проявится ни в чем.

Несколько минут длилось молчание, наконец он махнул рукой и сказал:

– Со свадьбой все это кончится. Тут нам не о чем спорить, пусть только они сидят спокойно и не трогают меня, не то я не ручаюсь за себя. Согласитесь только как можно скорее повенчаться, это будет лучше всего.

– Не годится говорить об этом во время траура.

– А долго мне придется ждать?

– В завещании сказано: не дольше, как через полгода.

– Но ведь до тех пор я высохну, как щепка. Но не будем ссориться. Вы уж и так смотрите на меня, как на какого-нибудь преступника. Королева моя, чем же я виноват, что у меня натура такая! Когда я рассержусь на кого-нибудь, то готов его разорвать, а когда гнев пройдет, то готов его сшить снова.

– Страшно жить с таким, – ответила уже веселее панна Александра.

– Ваше здоровье! Превосходное вино, а для меня сабля и вино – самое главное в жизни. Не думайте, что со мной страшно жить. Своими глазами вы сделаете из меня покорного раба, хотя я не признавал до сих пор над собой ничьей власти. Вот и теперь я предпочитал за собственный страх ходить на неприятеля с ничтожным отрядом, чем кланяться панам гетманам. Золотая моя, королева моя, если я что-нибудь делаю не так, прости, ибо приличиям я учился у пушек, а не в салонах. У нас теперь всюду неспокойно, так что саблю нельзя ни на минуту выпускать из рук. И вот, если за кем и есть какие-нибудь провинности, на это не обращают внимания, лишь бы человек на войне был храбр. Например, мои товарищи: в другом месте они давно бы сидели в тюрьме... но у них есть и хорошие стороны. У нас даже женщины ходят в сапогах и с саблями и командуют небольшими отрядами, как это делала двоюродная сестра моего поручика, пани Кокосинская, которую недавно убили, а племянник ее под моим начальством мстил за ее смерть, хотя при жизни и не любил ее. Где нам учиться светскому обхождению? Мы одно знаем: во время войны становиться в ряды и жертвовать жизнью, на сеймах шуметь и отстаивать права, а если слова не действуют, то браться и за сабли. Вот каков я, таким меня знал и покойный ваш дедушка и такого вам выбрал.

– Я всегда охотно исполняла дедушкину волю, – ответила, опуская глаза, панна.

– Дай мне еще раз поцеловать твои ручки, мое сокровище. От любви к тебе я совсем потерял голову и не знаю, попаду ли в Любич, которого еще до сих пор не видел.

– Я вам дам проводника.

– Это совсем напрасно. Я уже привык шататься по ночам. У меня слуга из Поневежа, он, верно, знает дорогу. А там меня ждет Кокосинский с компанией. Кокосинские из старинного рода. Того, о ком идет речь, обвиняют в том, что он у Орпишевского сжег дом и увез панну, а людей перебил. Хороший товарищ! Дай же еще ручку. Однако, пора ехать...

В это время на больших часах пробило двенадцать.

– Пора и честь знать. Скажи мне, моя дорогая, любишь ли ты меня хоть капельку?

– Скажу в другой раз. Ведь вы будете меня навещать?

– Каждый день, разве сквозь землю провалюсь.

С этими словами Кмициц встал и с панной Александрой вышел в сени. Сани стояли у крыльца, поэтому он надел шубу, стал прощаться и убедительно просил ее вернуться в комнаты, так как она может здесь простудиться.

– Покойной ночи, королева моя, спи спокойно; а что до меня, то я и глаз не сомкну, все буду думать о тебе.

– Только не думайте ничего дурного. Я вам лучше проводника с фонарем дам, потому что в Волмонтовичах много волков.

– Разве я коза, чтобы мне волков бояться? Волк солдату друг, так как часто благодаря ему солдат находит себе пищу, притом я захватил пистолеты. Покойной ночи, дорогая моя, покойной ночи!

– С Богом!

С этими словами девушка скрылась, а Кмициц направился было к крыльцу, но по дороге заметил в дверях людской несколько пар девичьих глаз. Девушки не ложились, чтобы еще раз взглянуть на него. Он, по обычаю военных, послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сначала громко, потом слабее и, наконец, совершенно затих.

Тишина, наступившая в Водоктах, удивила даже панну Александру; в ушах ее еще раздавались слова молодого человека; она слышала еще его искренний, веселый смех; перед глазами стояла его стройная фигура, и теперь, после этой бури слов и смеха, настало такое странное молчание. Она внимательно прислушивалась, не раздастся ли еще хоть звук колокольчика, но тщетно. Он звенел уже где-то около Волмонтовичей. Тоска овладела молодой девушкой, она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой.

Она взяла свечу, медленно направилась в спальню и стала молиться. Пять раз начинала она молитву, прежде чем смогла до конца прочесть ее. Но потом мысли ее опять понеслись, как на крыльях, к этим саням и к сидящему в них молодому человеку. С обеих сторон лес, а посредине широкая дорога, и он едет... В эту минуту ей показалось, будто она ясно видит его светлые волосы, серые глаза и улыбающиеся губы, из-за которых сияют белые, блестящие зубы. Она должна была сознаться, что ей очень понравился этот веселый молодой человек. Сначала он ее несколько напугал и встревожил, а затем привлек, главным образом, свободой обращения и искренностью. Ей даже понравилась его гордость, когда, узнав об опекунах, он надменно поднял голову, как турецкий жеребец, и сказал: «Даже сами Радзивиллы не имеют над вами никаких прав». «Это настоящий мужчина, – говорила она про себя. – Он, именно, такой, каких дедушка больше всего любил. Да и стоит их любить».

Так думала молодая девушка, и ею овладевало то чувство невыразимого блаженства, то тревога, но и в этой тревоге была какая-то прелесть. Потом она стала раздеваться, вдруг дверь скрипнула, и вошла тетка со свечой в руках.

– Как вы долго сидели, – сказала она. – Я не хотела вам мешать, чтобы вы могли вдоволь наговориться. Кажется, очень обходительный кавалер. А тебе как он понравился?

Панна Александра сначала ничего не ответила и только подбежала к тетке, обняла ее и, припав своей русой головой к ее груди, сказала ласковым голосом:

– Ах, тетя, тетя!

– Ого, – пробормотала старая дева, поднимая вверх свечу и глаза.

II

В любичском господском доме, когда к нему подъехал Кмициц, окна были освещены, и шумный говор был слышен даже на дворе. Прислуга, услышав звонок, бросилась в сени встречать своего пана, так как знали, что он должен приехать. Все робко подходило к нему и целовало руки, а старый слуга Жникис стоял с хлебом-солью и низко кланялся, со страхом и любопытством разглядывая своего будущего хозяина. А он, бросив на поднос кошелек с деньгами, стал спрашивать о товарищах, удивляясь, что ни один из них не вышел к нему навстречу.

Но они не могли выйти, так как уже три часа сидели за столом, опустошая бокал за бокалом, и, по всей вероятности, не слышали даже и звона колокольчиков за окном. Когда он вошел в комнату, со всех сторон раздался громкий крик: «Хозяин приехал!» – и все, быстро вскочив, стали подходить к нему с бокалами в руках. Он стоял, подбоченившись, видя, что они сумели распорядиться, даже кутнуть до его приезда. Больше всего его потешало то, что, стараясь казаться трезвыми и идти прямо, они спотыкались и опрокидывали скамейки. Впереди шел громадный Яромир Кокосинский, известный кутила и забияка, с огромным шрамом на лбу и на щеке, с одним усом короче, а другим длиннее, поручик и приятель Кмицица, обвиняемый в насилии, убийстве и поджоге. Теперь его охраняла война и протекция Кмицица, с которым он был ровесник и сосед по имению. Шел он, держа в обеих руках кувшин, наполненный вином. За ним следовал Раницкий, герба Сухие Комнаты, родом из Мстиславского воеводства, из которого должен был бежать вследствие убийства двух землевладельцев. Одного он убил в поединке, а другого – просто застрелил. Состояния у него не было, хотя после родителей он унаследовал имение мачехи. Война охраняла и его от наказания. Третьим был Рекуц Лелива, который пролил разве только неприятельскую кровь. Состояние свое он проиграл в кости и прокутил и года три уже жил на средства Кмицица. С ним шел Углик, тоже смолянин, приговоренный к казни за скандал, учиненный в суде. Кмициц его держал при себе за то, что он хорошо играл на чекане. Кроме них был еще Кульвец-Гиппоцентавр, такой же рослый, как Кокосинский, но еще сильнее, и Зенд, обладавший способностью подражать голосам птиц и животных, человек сомнительного происхождения, хотя он именовал себя курляндским дворянином; не имея никаких средств, он объезжал у Кмицица лошадей, за что получал жалованье.

Все они окружили смеявшегося Кмицица и запели заздравную песню, причем Кокосинский передал Кмицицу кувшин с вином, а Зенд подал ему бокал.

Выпей же с нами, наш хозяин милый, Дай Бог, чтоб с нами пил ты до могилы!..

Кмициц поднял вверх кувшин и воскликнул:

– За здоровье моей возлюбленной!

Товарищи ответили ему на это таким громким «виват», что стекла задрожали в свинцовых рамах.

– Виват! Пройдет время траура, будет свадьба. При этом посыпались со всех сторон вопросы:

– Какова она? Ендрек, очень она хороша? Такая ли, как ты себе представлял? Найдется ли другая такая же в Орше?

– В Орше, – воскликнул Кмициц, – наши девушки годятся только для того, чтобы ими трубы затыкать. Черт побери! Нет другой такой на свете.

– Такой мы тебе и желаем! – ответил Раницкий. – Когда же свадьба?

– Когда окончится траур.

– Глупости все это – какой там траур. Дети ведь не черными рождаются, а белыми.

– Если будет свадьба, то не будет траура! Правда, Ендрек?

– Верно, Ендрек! – закричали все.

– Верно, ваши будущие дети с нетерпением ждут своего появления на земле, – воскликнул Кокосинский.

– Не заставляй их томиться, несчастных!

– Панове, – пропищал Рекуц Лелива, – выпьем на свадьбе на славу!

– Милые мои овечки, – ответил Кмициц, – оставьте меня в покое, или, проще говоря, убирайтесь к черту, дайте мне осмотреться в моем новом доме!

– Успеешь, – ответил Углик, – завтра сделаешь это, а теперь садись скорее за стол, – там остались еще два полных ковша.

– Мы уже без тебя все здесь осмотрели. Твой Любич – золотое дно, – прибавил Раницкий.

– Лошади на конюшне прекрасные: есть пара гусарских, пара жмудских, пара калмыцких, – словом, всего по паре, как глаз во лбу. Остальных мы увидим завтра.

При этом Зенд заржал по-лошадиному, и все удивлялись его способности и смеялись.

– Значит, здесь все в порядке? – спросил обрадованный Кмициц.

– И погреб не дурен, – пропищал Рекуц, – бочонки и заплесневелые бутылки стоят рядами, точно солдаты.

– Ну слава богу! Панове, садитесь за стол.

– За стол, за стол!

Но едва они уселись и наполнили бокалы, как Раницкий опять вскочил:

– Здоровье подкомория Биллевица!

– Болван! – возразил Кмициц. – Кто же пьет за здоровье покойника?

– Болван, – повторили другие, – здоровье хозяина.

– Ваше здоровье!

– Дай Бог, чтобы нам жилось хорошо в этом доме.

Кмициц окинул глазами столовую и на почерневшей от старости стене увидел ряд устремленных на него суровых глаз. Глаза эти смотрели со старых портретов, висевших всего на два аршина от пола, да и сама комната была очень низка. Над портретами висел целый ряд оленьих, лосьих и зубровых голов, украшенных могучими рогами. Некоторые уже почернели, по видимому, от старости, другие сверкали белизной. Ими были украшены все четыре стены.

– Охота, верно, здесь превосходная, в звере нет недостатка, – заметил Кмициц.

– Завтра или послезавтра поедем. Нужно только познакомиться с окрестностями, – ответил Кокосинский. – Счастлив ты, Ендрек, что у тебя такое пристанище.

– Не то что мы, – сказал со вздохом Раницкий.

– Выпьем-ка с горя, – сказал Рекуц.

– Нет, не с горя, – возразил Кульвец-Гиппоцентавр, – а за здоровье Ендрека, нашего милого ротмистра. Он, друзья мои, приютил нас в Любиче, нас, несчастных, бездомных.

– Верно говорит, – воскликнуло сразу несколько голосов. – Не так глуп Кульвец, как кажется.

– Тяжела наша доля, – пищал Рекуц. – На тебя одного вся наша надежда, что ты нас, несчастных сирот, за ворота не выгонишь!

– Будет вам, – ответил Кмициц, – что мое, то и ваше.

При этих словах все вскочили со своих мест и бросились его обнимать. По этим суровым и пьяным лицам текли слезы.

– На тебя, Ендрек, вся наша надежда. Хоть в сарае позволь ночевать, только не гони.

– Перестаньте вздор болтать, – ответил Кмициц.

– Не гони, и так нас выгнали, нас, шляхту, – причитывал Углик.

– Кто ж вас гонит? Ешьте, пейте. Какого черта еще вам нужно?

– Не спорь, Ендрек, – говорил Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре рыси, – не спорь: пропали мы пропадом!

Вдруг он замолчал и, приставив палец ко лбу, что-то соображал; наконец, окинув всех своими бараньими глазами, произнес:

– Разве что в нашей жизни произойдут какие-нибудь перемены. На это все ответили хором:

– Почему бы им и не произойти?

– Мы вернем все!

– И состояние вернем!

– И честь!

– Бог поможет невинным!

– Ваше здоровье! – воскликнул Кмициц.

– Святая правда в твоих словах, Ендрек, – ответил Кокосинский, подставляя ему для поцелуя свои одутловатые щеки. – Пошли нам, Господи, всего хорошего!

Заздравные чаши следовали одна за другой, в головах шумело. Все говорили зараз, не слушая друг друга, исключая Рекуца, который опустил голову и дремал. Спустя немного Кокосинский начал петь, а Углик вынул из-за пазухи свой инструмент и стал ему аккомпанировать; Раницкий же, искусный фехтовальщик, фехтовал пустыми руками с невидимым противником, повторяя вполголоса:

– Ты так, я так, ты режешь, я мах, раз, два, три, – трах.

Кульвец-Гиппоцентавр вытаращил глаза и несколько минут пристально смотрел на Раницкого, наконец махнул рукой и сказал:

– Дурак! Как ни махай, а все ж тебе не справиться с Кмицицем.

– Потому что с ним никто не справится... Ну-ка, попробуй ты сам.

– А на пистолетах ты и со мной проиграешь.

– Давай об заклад, каждый выстрел по золотому.

– Давай, но где мы будем стрелять?

Раницкий огляделся по сторонам и наконец крикнул, указывая на олени и лосьи головы:

– За каждый выстрел между рогов – золотой.

– Куда? – спросил Кмициц.

– Между рогов, два золотых, три, давайте пистолеты.

– Согласен, – воскликнул Кмициц. – Пусть будет три. Зенд, неси пистолеты.

Все начали кричать и спорить. Между тем Зенд вышел в сени и через несколько минут вернулся с пистолетами, пулями и порохом. Раницкий схватил пистолет.

– Заряжен? – спросил он.

– Заряжен.

– Три, четыре, пять золотых, – кричал пьяный Кмициц.

– Тише, промахнешься, промахнешься.

– Не промахнусь. Смотрите... вот в эту голову между рогов... раз, два... Все подняли глаза на огромную лосиную голову, висевшую как раз против Раницкого; он стал прицеливаться. Пистолет прыгал в его руке.

– Три, – крикнул Кмициц.

Раздался выстрел, комната наполнилась дымом.

– Промахнулся, промахнулся, вот где дыра, – кричал Кмициц, указывая на почерневшую стену, от которой пуля оторвала кусок дерева.

– До двух раз.

– Нет, давай мне, – кричал Кульвец.

В эту минуту вбежала испуганная выстрелами дворня.

– Прочь, прочь, – заорал Кмициц. – Раз, два, три! Снова раздался выстрел, и посыпались осколки костей.

– Давайте и нам пистолеты, – закричали остальные.

И, вскочив со своих мест, они начали бить кулаками в спину дворовых, чтобы те поскорее исполнили их приказание. Не прошло и четверти часа, как весь дом гремел от выстрелов. Дым заслонял свет свечей и лица стреляющих. К звуку выстрелов присоединился голос Зенда, который то каркал вороной, то кричал соколом, то выл волком или рычал туром. Время от времени слышался свист пуль, со стен падали осколки рогов, куски рам от портретов, ибо пьяные, увлекшись спортом, стреляли уже в Билевичей, а Раницкий начал с ожесточением рубить их саблей.

Удивленная и перепуганная дворня стояла, как полоумная, и смотрела, вытаращив глаза, на эту забаву, похожую на татарский погром. Весь дом был на ногах. Собаки подняли страшный вой, девушки бежали к окнам и, прижимая свои лица к стеклам, смотрели на то, что творилось в доме.

Увидев их, Зенд свистнул так пронзительно, что в ушах зазвенело, и крикнул:

– Панове, сикорки под окнами, сикорки!

– Сикорки, сикорки!

– Давайте плясать! – кричали пьяные голоса.

И вся пьяная компания выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил их. Девушки с отчаянным визгом разбежались во все стороны, они их догнали и потащили в комнаты. Через несколько минут началась пляска среди дыма, обломков, щепок вокруг стола, на котором пролитое вино образовало целые озера.

Так забавлялся в Любиче Кмициц и его дикая компания.

III

В течение нескольких следующих дней Кмициц ежедневно навещал свою невесту и каждый раз возвращался все более влюбленным. Он до небес превозносил свою милую перед товарищами, а в один прекрасный день сказал им:

– Мои милые овечки, сегодня я вас представлю своей возлюбленной, а оттуда мы с нею уговорились ехать вместе с вами в Митруны, чтобы осмотреть и это имение. Она примет нас очень любезно, но смотрите, ведите себя прилично, а если кто-нибудь подведет меня, я из него котлету сделаю.

Все стали торопливо собираться, и вскоре четверо саней везли веселую молодежь в Водокты. Кмициц ехал в первых, очень красивых санях, сделанных наподобие серебристого медведя. Запряжены они были тройкой калмыцких лошадей, украшенных пестрою упряжью, лентами и павлиньими перьями, по смоленскому обычаю, который смоляне переняли от своих далеких соседей. Кучер помещался в медвежьей шее. Кмициц был одет в зеленый бархатный на соболях кафтан, с золотыми застежками, и в соболью шапку. Он был очень весел и обратился к сидевшему с ним Кокосинскому со следующими словами:

– Слушай, Кокошка! Мы чересчур уж шалили в эти два вечера, особенно в день моего приезда, когда и портретам досталось. Но хуже всего история с девушками. Всегда этот дьявол Зенд подобьет, а потом кто отвечает? Я боюсь, как бы люди не разболтали, ведь тут замешана моя репутация.

– Повесься же на своей репутации, она ни на что более не пригодна, так же как и наша.

– А кто в этом виноват, как не вы? Тебе ведь известно, что и в Оршанском меня считали благодаря вам каким-то мятежным духом и точили об меня языки, как бритвы об оселке.

– А кто пана Тумграта гнал привязанным к лошади по морозу? Кто зарубил того поляка, что спрашивал, ходят ли в Оршанском на двух ногах или на четырех? Кто истязал Вызинских – отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?

– Сеймик я разогнал в Оршанах, а не где-нибудь в другом месте, – значит, это дело семейное. Тумграт простил меня, умирая; а что касается остального, то не упрекай меня в этом, так как и самый скромный человек может убить на поединке.

– Я всего и не пересчитал, я, например, умолчал о военных инквизициях, которые тебя ожидают в лагере.

– Не меня, а вас. Я виноват только в том, что разрешил вам грабить обывателей. Но не в этом дело. Держи язык за зубами, Кокошка, и не рассказывай панне Александре ни о чем, особенно о стрельбе в портреты и о девушках. Если же это откроется, то всю вину я свалю на вас. Дворню и девушек я уже предупредил, что если они обмолвятся хоть одним словом, то им несдобровать.

– Прикажи себя подковать, Ендрек, если ты так боишься девушки. Не таким ты был в Оршанском. Заранее тебе предсказываю, что ты будешь под башмаком, а это уж ни на что не похоже. Какой-то древний философ сказал: «Если не ты Касю, то Кася тебя». Поймала она тебя в ловушку.

– Дурак ты, Кокошка. А что до панны Александры, то будешь и ты прыгать перед ней, когда ее увидишь: другую такую обходительную и умную девушку трудно встретить. Заметит что-нибудь хорошее – похвалит, а дурное – тоже не промолчит и оценит по достоинству. Обо всем она рассуждает правильно и благородно, – так уж ее воспитал покойный подкоморий. Захочешь перед ней похвастать своей удалью и скажешь, что нарушил закон, она и ответит, что это стыдно, что порядочный человек не должен так поступать, ибо этим он бесчестит свое отечество. Она только скажет, а тебе кажется, будто кто-нибудь тебе пощечину дал, и сам удивля-

ешься, что до сих пор этого не понимал. Стыд, срам! Там мы безобразничали, а теперь стыдно ей в глаза смотреть. Хуже всего – девушки...

– Они вовсе не дурны. Я слышал, что здешние шляхтянки – просто кровь с молоком и не очень недоступны...

– Кто тебе говорил? – спросил с живостью Кмициц.

– Кто говорил? Все тот же Зенд. Обезжая вчера жеребца, он доехал до Волмонтовичей и по дороге встретил девушек, возвращавшихся с вечерни. Я думал, говорит, что упаду с лошади, так все они хороши. Стоило ему на которую-нибудь посмотреть, как та уж скалила зубы. И не странно: вся ихняя молодежь ушла в Россиены, а им одним скучно.

Кмициц толкнул локтем в бок своего товарища:

– Поедем, Кокошка, когда-нибудь вечером, будто случайно... А?

– А твоя репутация?

– К черту ее! Замолчи. Поезжайте одни в таком случае или лучше оставьте их в покое. Без ксендза не обойдешься, а со здешней шляхтой я должен жить в мире, так как покойный подкоморий назначил ее опекунами Оленьки.

– Ты уже говорил мне об этом, но мне не хотелось верить. Откуда такая дружба с этими сермяжниками?

– Он с ними на войну ходил. Да и сам я в Орше от него слышал, что это все очень честные и благородные люди, ляуданцы. Правду говоря, и мне сначала казалось странным то, что он сделал их как будто моими сторожами.

– Ты должен им представиться и низко поклониться.

– Этого-то они не дождутся. Но лучше замолчи, я и без того зол. Они мне будут кланяться и служить. Коли нужно, это всегда готовый к услугам отряд.

– У них есть другой ротмистр. Зенд мне говорил, что у них гостит какой-то полковник, – забыл его фамилию, кажется, Володыевский. Он командовал ими под Шкловом. Говорят, что храбро сражались, но многие погибли.

– Слышал я о каком-то славном воине Володыевском. Но вот уж видны Водокты.

– Хорошо в этой Жмуди людям живется. Везде образцовый порядок. Старик, должно быть, был прекрасным хозяином. И дом, кажется, не дурен. Здесь их редко жжет неприятель, потому они могут и строиться как следует.

– Думаю, что о наших проделках в Любиче она ничего еще не знает! – пробормотал как бы про себя Кмициц.

Потом обратился к товарищу:

– Милый Кокошка, я прошу тебя еще раз, скажи им, чтобы они держали себя прилично; если кто-нибудь из вас провинится, то, клянусь, изрублю его на куски.

– Ну и оседлали же тебя.

– Оседлали или не оседлали – не твое дело.

– В самом деле, что об этом говорить, – ответил флегматично Кокосинский.

– Щелкни-ка кнутом, – крикнул кучеру Кмициц.

Кучер, стоящий в шее медведя, щелкнул, другие последовали его примеру, и все шумно подъехали к крыльцу.

Выйдя из саней, они прежде всего вошли в огромные, как амбар, небеленые сени, а оттуда Кмициц ввел их в столовую, украшенную, как и в Любиче, головами убитых на охоте зверей. Здесь они остановились и с любопытством поглядывали на дверь, ведущую в соседнюю комнату, откуда должна была выйти панна Александра. Помня предостережение Кмицица, они разговаривали между собой так тихо, как в церкви.

– Ты мастер говорить, – шептал Углик Кокосинскому, – и должен от нашего имени сказать ей приветственное слово.

– Я всю дорогу придумывал, – ответил Кокосинский, – но не знаю, как это выйдет, так как Ендрек не давал мне возможности сосредоточиться.

– Только не робей, и все пойдет хорошо. Она уже идет.

И действительно, вошла панна Александра и остановилась на пороге, точно удивляясь такому многочисленному обществу; Кмициц же, положительно, остолбенел. Он видел ее только по вечерам, днем она показалась ему еще лучше. Глаза василькового цвета, над ними на белом, точно мраморном лбу резко выделялись черные брови, а золотистые волосы сверкали так, как корона на голове королевы. Она смотрела смело, не опуская глаз, как госпожа, принимающая у себя гостей, с ясным, приветливым лицом. На ней было черное, опущенное горностаем платье, и это усиливало белизну ее лица. Такой светской и представительной девушки эта молодежь, проводшая почти всю жизнь на поле брани, еще не встречала; они привыкли к другого рода женщинам, и потому все вытянулись в струнку, как на смотре, а потом стали шаркать ногами, отвешивая низкие поклоны. Кмициц выступил вперед и, поцеловав несколько раз ее руку, сказал:

– Я привез к тебе, мое сокровище, своих товарищей, с которыми ходил на последнюю войну.

– Я считаю высокой для себя честью принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о доблестях и обходительности которых я уже много слышала от пана хорунжего.

Сказав это, она чуть-чуть приподняла свое платье и отвесила глубокий поклон. Кмициц закусил губы, но вместе с тем и покраснел, услышав смелую речь своей невесты.

Доблестные кавалеры, не переставая шаркать ногами, подталкивали Кокосинского:

– Ну, начинай.

Кокосинский выступил вперед, откашлялся и начал так:

– Ясновельможная панна подкоможанка.

– Ловчанка, – поправил Кмициц.

– Ясновельможная панна ловчанка и наша милостивая благодетельница, – повторил сконфуженный Яромир, – простите, что я ошибся в вашем титуле.

– Это пустячная ошибка, – ответила панна Александра, – и она нисколько не умаляет вашего красноречия.

– Ясновельможная панна ловчанка и наша милостивая благодетельница. Не знаю, что мне от имени всех оршанцев прославлять более – вашу ли несравненную красоту или счастье нашего ротмистра и товарища, пана Кмицица. Если бы я поднялся к самым облакам, если бы я достиг облаков... самых облаков, говорю...

– Да спустись ты наконец с этих облаков, – крикнул нетерпеливо Кмициц. Услышав это, все разразились громким смехом, но, вспомнив предостережение Кмицица, вдруг замолкли и стали покручивать усы.

Кокосинский окончательно растерялся и, покраснев, сказал:

– Говорите сами, черти, если меня конфузите. Панна опять взялась кончиками пальцев за платье.

– Я не могу соперничать с вами в красноречии, но знаю, что недостойна тех похвал, коими вы польстили мне от имени всех оршанцев.

И снова сделала глубокий реверанс. Оршанские забияки чувствовали себя неловко в присутствии этой светской девушки. Они старались показать себя людьми воспитанными, но им это как-то не удавалось, и они стали покручивать усы, бормотать что-то невнятное, хвататься за сабли, пока Кмициц не сказал:

– Мы приехали, чтобы, по вчерашнему уговору, взять вас и прокатиться вместе в Митруны. Дорога прекрасная, да и морозец изрядный.

– Я уже отправила тетю в Митруны, чтобы она позаботилась о закуске. А теперь попрошу вас обождать несколько минут, пока я оденусь.

С этими словами она повернулась и вышла, а Кмициц подбежал к товарищам.

– Ну что, мои овечки, не княжна?.. А, что, Кокоска? Ты все смеялся, что она меня оседлала, а почему сам стоял перед ней, как школьник? Скажи мне по правде, видел ли ты такую?

– А зачем вы меня сконфузили? Хоть должен сознаться, что не рассчитывал говорить с такой особой.

– Покойный Биллевич всегда бывал с нею при дворе князя-воеводы или у Глебовичей, где она и переняла эти панские манеры. А красота какая? Вы и до сих пор не в состоянии промолвить слова.

– Нечего говорить, недурное мнение она себе о нас составила, – сказал со злостью Раницкий. – Но самым большим дураком должен был показаться ей Кокосинский.

– Ах ты, Иуда! Зачем же ты меня все подталкивал? Нужно было самому выступить с речью, послушали бы мы, что бы ты сказал своим суконным языком.

– Помиритесь, панове, – сказал Кмициц. – Я разрешаю вам восхищаться ее красотой и умом, но не ссориться.

– Я за нее готов в огонь, – воскликнул Рекуц. – Хоть убей меня, а я не откажусь от своих слов.

Но Кмициц не думал на это сердиться, напротив, он самодовольно покручивал усы и победоносно смотрел на своих товарищей. Между тем вошла панна Александра, одетая в шубку и кунью шапочку. Все вышли на крыльцо.

– Мы в этих санях поедem? – спросила молодая девушка, указывая на серебристого медведя. – Я еще в жизни своей не видела таких красивых и диковинных саней.

– Кто прежде в них ездил, я не знаю, но теперь будем ездить мы. Они подходят мне тем более, что в моем гербе тоже есть девушка, сидящая на медведе. Есть еще другие Кмицицы, у тех в гербе знамя, но они происходят от Филона Кмиты Чернобыльского, и мы не принадлежим к их дому.

– А где же вы приобрели этого медвежонка?

– Недавно, во время последней войны. Мы, изгнанники, потерявшие все состояние, имеем только то, что нам дает война, а так как я этой пани служил верой и правдой, то она меня и наградила.

– Послал бы Господь более счастливую войну, ибо эта одного наградила, а всю нашу дорогую отчизну сделала несчастной.

– С Божьей и гетманской помощью все изменится к лучшему.

Говоря это, Кмициц закутывал молодую девушку белой суконной, подбитой белыми волками полостью, потом сел сам, крикнул кучеру: «Трогай» – и лошади понеслись.

Холодный воздух пахнул им в лицо, они замолчали, и слышен был только скрип мерзлого снега под полозьями, фыркание лошадей, звук колокольчиков и крики кучера.

Наконец Кмициц нагнулся к Оленьке и спросил ее:

– Хорошо тебе?

– Хорошо, – ответила она, закрывая лицо муфтой.

Сани мчались, как вихрь. День был ясный, морозный. Снег сверкал и искрился, с белых крыш подымался вверх розоватый дым. Стаи ворон летели впереди саней, среди голых деревьев, с громким карканьем. Отъехав версты две от Водокт, они выехали на широкую дорогу, в темный, безмолвный лес, что спал еще под толстым покровом снега. Деревья мелькали перед глазами и точно убегали куда-то за сани, а они неслись все быстрее и быстрее, точно на крыльях. От такой езды кружилась голова, и было в ней какое-то упоение... Откинувшись назад, панна Александра закрыла глаза и вдруг почувствовала приятную томность: ей казалось, что оршанский боярин схватил ее и мчится, как вихрь, а она не в силах ни сопротивляться, ни кричать. Они летят все быстрее и быстрее... Она чувствует, что ее обнимают чьи-то руки...

чувствует на щеках что-то жгучее... но не может открыть глаз, точно во сне. Они мчатся и мчатся... Вдруг ее разбудил чей-то голос, который спрашивал:

- Любишь ли ты меня?
- Как собственную душу.
- А я – на жизнь и на смерть.

И снова соболья шапка Кмицица наклонилась к куньей шапке Оленьки. Она сама теперь не знала, что доставляет ей больше наслаждения: поцелуи или эта бешеная езда?

Они мчались все дальше, все через лес. Деревья перед ними убегали, снег скрипел, лошади фыркали, и они были счастливы.

- Я хотел бы так ехать до скончания веков, – воскликнул Кмициц.
- Да ведь то, что мы делаем, грешно, – прошептала Оленька.
- Какой грех. Позволь еще грешить.
- Нельзя, Митруны близко.
- Близко, далеко, не все ли равно.

И Кмициц встал, вытянул вверх руки и стал кричать, точно выплескивая из груди избыток счастья:

- Гей, га, гей!
- Гей, гоп, гоп! – отозвались товарищи.
- Чего вы так кричите? – спросила девушка.
- Так, от радости! Крикните и вы.
- Гей! – раздался тонкий мелодичный голосок.
- Королева ты моя! Я готов сейчас упасть к твоим ногам.

И ими овладело какое-то безумное веселье. Кмициц стал петь, а молодая девушка долго слушала его со вниманием и наконец спросила:

- Кто вас выучил таким прекрасным песням?
- Война, Оленька. Мы так пели от скуки.

Дальнейший разговор прервали товарищи, кричавшие изо всех сил: «Стой, стой».

Кмициц повернулся к ним, разозлившись и удивившись тому, что они осмелились его останавливать; вдруг на расстоянии нескольких десятков шагов он увидел мчавшегося к нему во весь опор верхового.

– Да ведь это мой вахмистр Сорока, – должно быть, что-нибудь случилось! – воскликнул Кмициц.

В это время вахмистр подъехал и с такой силой осадил коня, что тот присел на задние ноги; затем он проговорил, задыхаясь:

- Пане ротмистр!
- Что случилось, Сорока?
- Упита горит; дерутся!
- Иезус, Мария! – воскликнула Оленька.
- Не бойся, дорогая. Кто дерется?
- Солдаты с мещанами. На рынке пожар. Мещане послали за помощью в Поневеж, а я примчался к вашей милости. Все еще отдышаться не могу.

Во время этого разговора подъехали задние сани, и Кокосинский, Раницкий, Кульвец, Углик, Рекуц и Зенд, выскочив на снег, окружили разговаривающих.

- Из-за чего это произошло? – спросил Кмициц.
- Мещане не хотели давать без денег припасов ни людям, ни лошадям. Мы окружили бургомистра и всех, кто заперся в рынке; потом подожгли два дома; поднялась страшная суматоха, стали бить в колокол.

Глаза Кмицица метали искры гнева.

- Значит, и нам нужно идти на помощь! – крикнул Кокосинский.

– Лапотники войску сопротивляются! – кричал Раницкий, и все его лицо покрылось белыми и багровыми пятнами. – Шах, шах, Панове!

Зенд засмеялся так громко, что лошади испугались, а Рекуц закатил глаза и пищал:

– Бей, кто в Бога верует! Поджечь этих лапотников!

– Молчать, – крикнул Кмициц так, что лес дрогнул, а стоявший ближе других Зенд покачнулся, как пьяный. – Вы там не нужны. Садитесь все в сани и поезжайте в Любич, а третьи оставьте мне. Там и ждите моих распоряжений.

– Как же так? – возразил Раницкий.

Но Кмициц положил ему руку на плечо, и глаза его еще больше засверкали.

– Ни слова! – сказал он грозно.

Все замолчали; его, видно, боялись, хотя обыкновенно обращались с ним очень фамильярно.

– Возвращайся, Оленька, в Водокты, – сказал Кмициц, – или поезжай за теткой в Митруны. Не удалось нам катание. Я знал, что они там не усидят спокойно. Но сейчас все успокоится, только несколько голов слетит. Будь здорова и покойна, я постараюсь вернуться как можно скорее.

Сказав это, он поцеловал ей руку, окутал полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру:

– В Упиту!

IV

Прошло несколько дней, а Кмициц не возвращался, но зато в Водокты приехало трое из ляуданской шляхты, чтобы что-нибудь разузнать у своей панны о Кмицице. Приехал Пакош Гаштофт из Пацунелей, тот, у которого гостил пан Володыевский, – славившийся своим богатством и шестью дочерьми, из которых три были замужем за тремя Бутрымами, и каждая получила в приданое по сто чеканных талеров кроме недвижимости. Другой был Касьян Бутрым, самый старший из ляуданцев, прекрасно помнивший Батория, а с ним Юзва Бутрым, зять Пакоша. Он хотя и был полон сил, так как ему было не более пятидесяти лет, но не пошел в Россиены, ибо во время войн с казачеством ему пулей оторвало ступню, почему его и прозвали Юзвой Безногим.

Это был шляхтич необыкновенной силы и ума, но резкий и суровый. Его побаивались даже в столицах, ибо он не спускал ни себе, ни другим. В пьяном виде он был даже страшен, но это случалось с ним очень редко.

Молодая девушка приняла их очень радушно и сразу догадалась о причине их приезда.

– Мы хотели к нему ехать, но говорят, он еще не вернулся из Упиты, – говорил Пакош, – мы и приехали к тебе узнать, когда он будет.

– Думаю, что он вернется очень скоро, – ответила девушка. – Он вам будет очень рад, так как слышал о вас много хорошего как от дедушки, так и от меня.

– Лишь бы только он не принял нас так, как Домашевичей, когда они приехали к нему с известием о смерти полковника, – проворчал Юзва.

– Не упрекайте его в этом. Может быть, он и недостаточно любезно их принял, в чем и сознался предо мной, но нужно помнить, что он возвращался с войны, где ему пришлось испытать немало трудов и огорчений. Не нужно удивляться, если воин и прикрикнет на кого-нибудь: у них обращение такое же острое, как и их сабли.

Пакош Гаштофт, который желал бы с целым миром жить в дружбе, махнул рукой и сказал:

– Мы и не удивились. Зверь на зверя огрызается, если увидит его вдруг, почему бы и человеку этого не сделать. Мы поедем в старый Любич поклониться пану Кмицицу и просить, чтобы он жил с нами и ходил на войну так же, как и покойный подкоморий.

– Скажи только нам, дорогая, понравился ли он тебе? – спросил Касьян Бутрым. – Ведь мы обязаны знать об этом.

– Да наградит вас Бог за ваши заботы обо мне. Он очень достойный кавалер, пан Кмициц, но хотя бы я и заметила в нем какие-нибудь недостатки, то не стала бы о них говорить.

– Но ты их не заметила, сокровище наше?

– Нет. Впрочем, никто здесь не имеет права судить его, а уж тем более выказывать недоверие. Нам следует Бога благодарить.

– Зачем раньше времени благодарить? Когда будет за что, то и поблагодарим, а пока не за что, – ответил угрюмый Юзва, который, как истый жмудин, был очень осторожен и проницателен.

– А о свадьбе говорили вы? – спросил опять Касьян. Панна опустила глаза.

– Пан Кмициц хочет как можно скорей.

– Вот как, еще бы ему не хотеть, – пробормотал Юзва. – Ведь не дурак он. Какой медведь от меду откажется! Но зачем спешить, лучше сначала узнать, что он за человек. Отец Касьян, скажи, что надо. Что ты дремлешь, как заяц в полдень?

– Я не дремлю. Я думаю, как бы это сказать, – ответил старичок. – Иисус Христос сказал: как Яков Богу, так и Бог Якову. Мы тоже пану Кмицицу дурного не желаем, пусть же и он к нам будет добр.

– Только бы он жил с нами в согласии, – прибавил Юзва.

Молодая девушка насупила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью:

– Попомните, панове, что мы не слугу принимаем. Он здесь будет хозяин, и мы должны подчиняться его воле, а не он нашей. Ему вы должны уступить и опеку надо мной.

– Это значит, что мы не должны ни во что вмешиваться? – спросил Юзва.

– Это значит, что вы должны быть его друзьями так же, как он хочет быть вам другом. Ведь он здесь оберегает свою собственность, которой каждый волен распоряжаться, как ему угодно. Не так ли, отец? – обратилась она к Пакошу.

– Это – святая истина, – ответил миролюбивый старичок. А Юзва снова обратился к старому Бутрыму:

– Да проснись же ты, Касьян!

– Я не сплю, я думаю.

– Ну так скажи, что ты думаешь.

– Вот что я думаю: пан Кмициц – настоящий пан, а мы – лапотники; притом он знаменитый воин, он один решился идти против неприятеля тогда, когда все уже руки опустили. Дай Бог таких побольше. Но товарищей он выбрал себе плохих. Ведь ты сам слышал, сосед, от Домашевичей, что все они негодяи, каиновы дети, и у каждого на душе немало преступлений. Они жгли, грабили, насильничали. Если бы они только кого-нибудь зарубили или переехали, это бы еще туда-сюда, это со всяким может случиться, но они только и занимаются грабежом, и давно бы им сгнить в тюрьме, если бы не протекция пана Кмицица. Он их взял под свою защиту, а они пристали к нему, как овода к лошади. А теперь приехали сюда, и уже всем ведомо, кто они такие! В первый же день своего приезда в Любич они в портреты покойных Биллевичей из пистолетов стреляли! Пан Кмициц не должен был этого допускать, так как Билевичи его благодетели.

Оленька закрыла лицо руками.

– Этого быть не может, – сказала Оленька, заткнув уши.

– Может, потому что было. В своих благодетелей и будущих родственников он стрелять позволил. А потом натащили в дом девок и развратничали. Тьфу, такого безобразия еще у нас не бывало! И все это в первый же день приезда.

При этом старый Касьян до того рассердился, что начал стучать палкой об пол; на лице Оленьки выступили красные пятна, а Юзва прибавил:

– А войско пана Кмицица, оставшееся в Упите, разве лучше? Каковы офицеры, таковы и солдаты. У Соллогуба они увели скот; мейзагольских крестьян, везших смолу, избили. Соллогуб поехал к пану Глебовичу искать защиты, а теперь в Упите все вверх дном. У нас до сих пор все было спокойно, а теперь держи ружье наготове. А почему? Потому что пан Кмициц со своей компанией пожаловал.

– Не говорите так, отец Юзва, не говорите!

– Как же не говорить? Если пан Кмициц не виноват, то зачем же он держит таких людей и зачем с ними живет? Вы должны ему сказать, чтобы он их прогнал, иначе нам покоя не будет. Слыханная ли это вещь – позволить стрелять в портреты и на глазах у людей развратничать? Ведь об этом говорят во всем околотке.

– Что же мне делать? – спросила Оленька. – Может быть, они и дурные люди, но ведь он с ними ходил на войну, и ради меня он их не прогонит.

– А если не прогонит, значит, и сам не лучше, – проворчал Юзва.

– Впрочем, пусть будет по-вашему! – сказала девушка, в которой все сильнее накалилась злоба против этих развратников и забияк. – Он должен их выгнать. Пусть выбирает меня или их. Если правда все, что вы говорите, то я им не прошу. Я сирота и беззащитна, но не побоюсь этой вооруженной шайки.

– Мы тебе поможем, – промолвил Юзва.

– Пусть они делают что хотят, но не здесь, не в Любиче, – воскликнула Оленька, волнуясь все более. – За свои поступки они сами и будут отвечать, но пусть не подстрекают к разврату пана Кмицица... Ведь это стыд, позор... Я думала, что они только невоспитанны, но оказывается, что это негодяи, позорящие и себя, и его. Спасибо вам, отцы, что вы мне открыли глаза. Теперь я знаю, как мне поступить.

– Вот это я понимаю, – ответил старый Касьян. – Сама добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем.

Гнев все больше накопал в сердце Оленьки против товарищей Кмицица. Они заставили страдать ее самолюбие, они оскорбили ее святое чистое чувство. Ей стыдно было и за него, и за себя, и она искала виновных, на ком бы можно было выместить свой гнев.

Шляхта, наоборот, радовалась, видя свою барышню такой грозной и готовой дать решительный отпор этим оршанским буянам.

Она продолжала со сверкающими глазами:

– Они должны убраться не только из Любича, но и из его окрестностей.

– Мы и не виним пана Кмицица, сокровище наше, – говорил старый Касьян. – Мы знаем, что это они его подзадоривают. И нет у нас никакой злобы к нему, а недовольны мы тем, что он держит у себя таких негодяев. Он еще молод, ну и... глуп. И староста Глебович был смолоду глуп, а теперь нас еще наставляет.

– Вот, к примеру, собака, – сказал взволнованным голосом миролюбивый пацунельский старичок, – пойдешь с молодой в поле, она, глупая, вместо того чтобы зверя гонять, вертится около твоих ног да за полы дергает.

Оленька хотела что-то сказать, но вдруг разрыдалась.

– Не плачь, – сказала Юзва Бутрым.

– Не плачь, не плачь, – повторяли оба старика.

Они употребляли все усилия, чтобы утешить ее, но безуспешно. После их отъезда ею овладела тревога и невыразимая тоска, но больше всего страдала эта гордая девушка оттого, что принуждена была защищать и оправдывать Кмицица перед своими опекунами.

А эта компания? И маленькие ручки молодой девушки сжались при одном воспоминании о ней. Перед ее глазами встали, как живые, лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвеца и других; и вдруг она поняла и увидела то, чего не видела прежде. Разврат и преступление наложили на них свою печать. Чуждое ей до сих пор чувство ненависти начало овладевать ею все более и более.

Но вместе с этим чувством возрастала и обида против Кмицица.

– Стыд, позор, – шептала девушка побелевшими губами. – Каждый вечер он возвращался от меня к дворовым девкам.

И она почувствовала себя оскорбленной. Невыносимая тяжесть сдавливала ей грудь.

На дворе уже стемнело, а панна Александра все ходила, волнуясь, по комнате, и в душе у нее бушевала целая буря. Она не принадлежала к тем натурам, которые могут только страдать, а защищаться не могут. В этой девушке текла рыцарская кровь. Она хоть сейчас же готова была вступить в борьбу с этими злыми духами. Но что ей остается? Только слезы и просьбы, чтобы Кмициц разогнал их на все четыре стороны? А если он не согласится?

Если не согласится...

И она не смела даже думать об этом.

Мысли ее были прерваны появлением казачка, который внес охапку еловых поленьев и, положив их у камина, стал выгребать из-под пепла еще не погасшие уголья. В эту минуту у нее мелькнула вдруг новая мысль.

– Константин, – окликнула она его, – поезжай сейчас же верхом в Любич. Если пан вернулся, то попроси его сейчас же ехать ко мне, а если его еще нет, то пусть вместе с тобою едет старый Жникис, только живо.

Казачок бросил на угли смоляных щепок и можжевельника и скрылся за дверью.

В камине загорелось яркое пламя. На душе у Оленьки стало как-то спокойнее.

– Может быть, Бог еще все переменит к лучшему, а может, это и не так было, как говорили опекуны.

И через несколько минут она пошла в людскую, чтобы, по давнему обычаю, следить за работавшими там девушками и петь божественные песни. Спустя два часа вернулся продрогший казачок.

– Жникис ждет в сенях, – сказал он. – Пана нет в Любиче.

Девушка быстро вскочила. Старый слуга поклонился ей до земли.

– Все ли в добром здоровье, благодетельница вы наша?

Они перешли в столовую; Жникис остановился у дверей.

– Что слышно? – спросила девушка.

Мужик махнул только рукой и промолвил:

– Пана нет дома.

– Я знаю, что он в Упите. Но дома что?

– Эх...

– Слушай, Жникис, говори смело, тебе ничего за это не будет. Говорят, что пан добрый, только товарищи его повесы.

– Если бы только повесы...

– Говори всю правду.

– Мне нельзя говорить... Не велено, да и боюсь.

– Кто не велел?

– Пан.

– Верно? – спросила молодая девушка.

Наступила минута молчания. Она быстрыми шагами ходила по комнате, а он следил за нею глазами. Вдруг она остановилась.

– Чей ты?

– Билевичей, но из Водокт, а не из Любича.

– Ты больше не вернешься в Любич, ты останешься здесь. Теперь приказываю тебе говорить все, что ты знаешь.

Мужик бросился перед нею на колени.

– Панна, драгоценная, я не хочу туда возвращаться, там светопреставление. Это настоящие разбойники, там ни минуты нельзя быть спокойным.

Девушка покачнулась, как бы пораженная стрелой, побледнела, но спросила спокойно:

– Правда ли, что они стреляли в портреты?

– И стреляли, и девок таскали в комнаты, да и до сих пор там то же самое. В деревне – плач, в доме – содом. Волон и баранов без счету режут. Людей истязают. Вчера избili конюха.

– Конюха избili?

– Да, а хуже всего девкам. Им уже мало дворовых, они по деревне за ними гоняются.

Снова наступило молчание. Щеки девушки покрылись ярким румянцем.

– Когда ожидают пана?

– Они и сами не знают, да слышал я вчера, что они все завтра собираются в Упиту. Уж и лошадей велели приготовить. Верно, заедут и к вашей милости просить порошу и людей.

– Они заедут ко мне?.. Прекрасно. Ступай на кухню. Больше ты не вернешься в Любич.

– Пошли тебе Господи счастья и здоровья! Панна Александра решила, как ей нужно поступить.

На другой день было воскресенье. Утром, прежде чем дамы из Водокт успели уехать в костел, явились паны: Кокосинский, Углик, Кульвец, Раницкий, Рекуц и Зенд, а за ними

вооруженная любичская дворня, ибо вся компания собиралась идти на помощь Кмищицу в Упиту.

Панна вышла к ним навстречу спокойная и гордая, совсем непохожая на ту, которая встречала их несколько дней тому назад; она едва кивнула головою в ответ на их низкие поклоны. Они подумали, что это с ее стороны осторожность, вызванная отсутствием Кмищица.

Первым выступил Кокосинский, но на этот раз он был уже смелее и проговорил:

– Ясновельможная панна ловчанка. Мы заехали сюда по дороге в Упиту выразить вам свое почтение и попросить порошу и оружия. Прикажете ехать с нами и вашим людям. Мы возьмем штурмом Упиту, а всем этим лапотникам слегка пустим кровь.

– Дивлюсь я, – ответила молодая девушка, – что вы едете в Упиту. Я сама слышала, как пан Кмищиц велел вам сидеть в Любиче, и думаю, что вы, как подчиненные, должны исполнять его приказания.

Услышав эти слова, молодые люди переглянулись в изумлении. Зенд вытянул губы, точно собираясь свистнуть по-птичьи, а Кокосинский стал почесывать затылок.

– Право, можно подумать, что вы говорите с крепостными пана Кмищица. Правда, мы должны были сидеть дома, но вот уже четвертый день, как Ендрек уехал, и мы решили, что там что-то происходит, и наши сабли могут пригодиться.

– Пан Кмищиц поехал не на войну, а усмирить и наказать солдат, что могло бы случиться и с вами, если бы вы его послушались. Кроме того, с вашим появлением там прибавилось бы еще больше бесчинств и кровопролития.

– Трудно с вами спорить. Не откажите снабдить нас порохом и людьми.

– Ни людей, ни порошу я вам не дам, слышите?

– Так ли я понял? – ответил Кокосинский. – Неужто вы пожалеете таких пустяков даже ради спасения Кмищица, Ендрека? Неужто вы предпочитаете, чтобы с ним случилось какое-нибудь несчастье?

– Самое плохое, что может с ним случиться, – это быть в вашей компании!

При этих словах глаза молодой девушки метнули искры, и, гордо подняв голову, она направилась к буянам, а те с изумлением попятились назад.

– Бездельники, – сказала она, – это вы, как злые духи, подстрекаете его ко всему дурному. Я знаю вас, вашу развращенность и ваши бесчестные поступки. Закон преследует вас, люди от вас отворачиваются, а на кого это ложится пятном? Все на него.

– Вы слышите, товарищи? Слышите? Что это такое? Не сон ли это? – крикнул Кокосинский.

Девушка подошла еще ближе к ним и, указывая рукой на дверь, сказала:

– Вон отсюда!

Все побледнели, но не ответили ни слова. Лишь зубы их заскрежетали, руки схватились за сабли, а глаза метали молнии. Но через минуту ими овладел страх. Ведь этот дом под опекой могущественного Кмищица, а эта надменная девушка его невеста. И они побороли свой гнев, а она стояла с блестящими глазами и указывала на дверь.

Наконец Кокосинский заговорил прерывающимся от сдерживаемого бешенства голосом:

– После такого радушного приема... нам ничего не остается... как поклониться любезной хозяйке и... и... поблагодарить за гостеприимство...

Сказав это, он с преувеличенной почтительностью поклонился до земли, а за ним поклонились остальные и все поочередно вышли из комнаты. Когда дверь затворилась за последним, Оленька в изнеможении упала в кресло.

А они собрались у крыльца, чтобы посоветоваться, как им быть, но никто не решался заговорить первым.

Наконец Кокосинский сказал:

– Ну что же, милые барашки?

– А что?

– Как вы себя чувствуете?

– А ты?

– Эх, если бы не Кмициц, – сказал Раницкий, – мы бы расправились по-своему с панной.

– Попробуй тронь только Кмицица, – запищал Рекуц. Лицо Раницкого все покрылось багровыми пятнами.

– Не боюсь я Кмицица, а тебя тем более. Становись хоть сейчас!

– Прекрасно, – ответил Рекуц.

Оба схватились за сабли, но в эту минуту между ними очутился Кульвец-Гиппоцентавр.

– Видели вы это? – сказал он, потрясая огромным кулачищем. – Видели? Первому, кто поднимет саблю, я размозжу голову.

Сказав это, он посмотрел сначала на одного, потом на другого, точно спрашивая, кто из них первый захочет отведать, но они сейчас же успокоились.

– Кульвец прав, – заметил Кокосинский. – Теперь, больше чем когда-либо, нам нужно согласие. Я советовал бы вам как можно скорее ехать к Кмицицу, чтобы она не успела вооружить его против нас. Хорошо, что мы сдержали себя, хотя, сознаюсь, у меня и язык, и руки чесались. Едемте к Кмицицу. Она будет на нас жаловаться, так мы тоже зевать не будем. Сохрани Бог, если он нас оставит. На нас сейчас же сделают облаву, как на волков.

– Пустяки, – сказал Раницкий. – Ничего с нами не сделают. Теперь война: мало ли таких же бесприютных, как мы, шатается по свету. Наберем себе товарищей, и тогда пусть нас ищут. Дай руку, Рекуц, я тебя прощаю.

– Я бы тебе уши обрезал, – пропищал Рекуц, – но так и быть, помиримся. Общая у нас обида!

– Указать на дверь таким кавалерам, как мы! – воскликнул Кокосинский.

– И мне, в чьих жилах течет сенаторская кровь! – прибавил Раницкий.

– Нам, доблестным людям и шляхте!

– Заслуженным солдатам!

– Беднякам!

– Невинным сиротам!

– Хоть я еще и не совсем без подметок, а ноги у меня начинают мерзнуть, – сказал Кульвец. – Что мы здесь будем стоять, как нищие? Нам пива не поднесут. Мы здесь не нужны. Сядемте и поедем, а людей лучше всего отправить назад, – без оружия и пороху они для нас бесполезны.

– В Упиту?

– К Ендреку, нашему дорогому приятелю. Ему мы пожелаем.

– Как бы только с ним не разъехаться.

– На коней, Панове, трогайте.

Все сели на лошадей и отправились в путь, сдерживая свой гнев и стыд. За воротами Раницкий повернулся и погрозил кулаком по направлению к дому.

– Эх, крови мне, крови!..

– Если только мы когда-нибудь поссоримся с Кмицицем, мы еще вернемся сюда и расправимся как надо.

– Это возможно.

– Бог нам поможет, – прибавил Углик.

– Иродова дочь, тетерька проклятая!

Осыпая такими проклятиями молодую девушку, а порою браня и друг друга, они доехали до леса. Только миновали они несколько деревьев, как огромная стая ворон закружилась над их головами. Зенд начал пронзительно каркать, и тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади начали пугаться шума крыльев.

– Замолчи ты, – крикнул на Зенда Раницкий. – Еще накличешь какую-нибудь беду. Каркает над нами это воронье, точно над падалью.

Но другие смеялись: Зенд не переставал каркать. Вороны опускались все ниже, и шум их крыльев смешивался с пронзительным карканьем. Глупые, они не поняли этого дурного предзнаменования.

Проехав лес, они увидели Волмонтовичи и прибавили шагу; был сильный мороз, и они очень озябли; до Упиты было еще далеко. Но по деревне им пришлось ехать медленнее, так как вся дорога была запружена людьми, возвращавшимися из церкви. Шляхта поглядывала на незнакомцев, отчасти догадываясь, кто они и откуда. Молодые девушки, слышавшие обо всем, что творилось в Любиче, и о том, каких грешников привез с собой Кмициц, присматривались к ним с еще большим любопытством. А они ехали, гордо подняв головы, приняв воинственные позы, в бархатных кафтанах, в рысьих шапках и на прекрасных лошадях. Видно было, что это действительно храбрые солдаты. Они ехали в ряд, никому не уступая дороги, и лишь по временам покрикивая: «Прочь с дороги!» Некоторые из Бутрымов посматривали на них исподлобья, но уступали; а они говорили между собой о шляхте.

– Обратите внимание, Панове, – говорил Кокосинский, – какие здесь все рослые мужики – настоящие зубры, и каждый волком смотрит.

– Если бы не рост и не эти громадные сабли, их можно было бы принять за мужиков, – сказал Углик.

– А сабли-то какие, – заметил Раницкий. – Хотелось бы мне с кем-нибудь из них помериться.

И он начал размахивать руками.

– Он бы так, а я так! Он так, а я так – и шах.

– Тебе нетрудно доставить себе это удовольствие: с ними немного хлопот.

– А я предпочел бы иметь дело вот с этими девушками, – сказал Зенд.

– Елки, а не девушки! – воскликнул Рекуц.

– Не елки, а сосны. А щеки как расписные.

– Трудно усидеть на лошади, видя таких красавиц.

Выехав из «застенка», они опять пустились рысью. Через полчаса подъехали к корчме, называемой «Долы», стоявшей на полдороге между Волмонтовичами и Митрунами. Бутрымы и их жены и дочери обычно останавливались здесь, чтобы отдохнуть и согреться во время морозов. Поэтому перед постоялым двором молодые люди увидели несколько саней и несколько верховых лошадей.

– Выпьем-ка водки, а то холодно, – предложил Кокосинский.

– Не мешает, – ответили все хором.

Они сошли с лошадей и привязали их к столбам, а сами вошли в громадную темную корчму. В ней они застали множество людей. Шляхта, сидя на скамьях или стоя кучками у стойки, потягивала пиво или крупник, приготовленный из масла, меду, водки и кореньев. Здесь собрались почти одни мрачные, неразговорчивые Бутрымы, и в избе не было почти никакого шума. Все они были одеты в кафтаны из серого домашнего сукна на бараньем меху, в кожаные пояса с саблями в черных железных ножнах. Этот однообразный костюм делал их похожими на какое-то войско. По большей части это были старики лет шестидесяти или юноши, так как остальные отправились в Россиены.

Увидев оршанских кавалеров, все отошли от стойки и с любопытством стали к ним присматриваться. Их выправка и молодецкий вид понравились воинственной шляхте; временами слышались вопросы: «Это из Любича?» – «Да, это товарищи Кмицица». – «Так это они?» – «Как же».

Молодые люди принялись за водку, но вдруг Кокосинский почувствовал заманчивый запах крупника и приказал подать себе. Когда на столе появился дымящийся котелок, они усе-

лись и стали попивать, поглядывая прищуренными глазами на шляхту, так как в избе было почти совсем темно. Окна были занесены снегом, а большое отверстие в печи, где горел огонь, закрывали какие-то повернувшиеся спиной к присутствующим фигуры.

Когда крупник стал расходиться по жилам молодых людей, разливая приятную теплоту, к ним вернулось веселое настроение, испорченное приемом в Водоктах, и Зенд начал каркать по-вороньему так искусно и неподражаемо, что все лица повернулись к нему.

Товарищи смеялись, а развеселившаяся шляхта, особенно подростки, стали подходить ближе. Сидевшие у печки фигуры повернулись лицом к избе, и Рекуц первый заметил, что это были женщины.

А Зенд закрыл глаза и продолжал каркать; вдруг он замолчал, и через минуту все услышали голос травленного собаками зайца; заяц пищал, как в агонии, все тише, все слабее, наконец, умолк навеки.

Бутрымы стояли в изумлении и все еще прислушивались, хотя заяц умолк уже; в это время раздался пискливый голос Рекуца:

– У печи сидят девки.

– Правда, – ответил Кокосинский, прикрывая глаза рукой.

– Верно, – повторил Углик, – но в избе так темно, что их нельзя рассмотреть.

– Любопытно, что они здесь делают?

– Может, для танцев пришли.

– Погодите, я сейчас спрошу, – сказал Кокосинский. – Что вы там делаете около печи, милые?

– Ноги греем, – ответили тонкие голоса.

Тогда молодые люди встали и подошли к огню. На длинной скамье сидело несколько молодых женщин, вытянувших ноги на лежавшее у огня бревно, а с другой стороны сушились их промокшие сапоги.

– Значит, ноги греете? – спросил Кокосинский.

– Да, озябли.

– Хорошенькие ножки, – запищал Рекуц, нагибаясь над бревном.

– Оставьте нас, ваць-пане! – ответила одна из шляхтянок.

– Я бы охотнее пристал, чем отстал, тем более что я знаю лучшее средство согреть озябшие ножки, чем огонь; вам надо потанцевать, и вы мигом согреетесь.

– Потанцевать так потанцевать, – сказал Углик. – Нам не нужно ни скрипки, ни контрабаса, я вам сыграю на чекане.

И, вынув из кожаного футляра свой неразлучный инструмент, он стал играть; молодые люди начали подходить к девушкам и стаскивать их со скамьи. Они будто и сопротивлялись, но более криком, чем руками, так как на самом деле они и сами были не прочь от этого. Может быть, и мужчины пустились бы в пляс, ведь ничего нельзя было иметь против танцев в воскресенье после обедни, особенно во время Масленицы, но репутация этой компании была слишком известна в Волмонтовичах, и потому старший, Юзва Бутрым, тот, у которого не было ступни, встал со скамьи и, подойдя к Кульвецу-Гиппоцентавру, схватил его за грудь и сказал:

– Если вы хотите танцевать, так не угодно ли со мной?

Кульвец прищурил глаза и стал усиленно шевелить усами.

– Я предпочитаю с девушкой, а с вами уж потом.

В это время подбежал Раницкий с лицом, покрытым пятнами, так как уже чуял скандал.

– Ты кто такой? – спросил он, хватаясь за саблю.

Углик перестал играть, а Кокосинский крикнул:

– Эй, товарищи, сюда, сюда!

Но на помощь Юзве бросились все Бутрымы, старики и подростки; они подходили ворча, как медведи.

– Что вам нужно? Хотите отведать наших кулаков? – спросил Кокосинский.

– Да что тут с вами разговаривать, пошли прочь! – ответил флегматично Юзва.

Раницкий, больше всего беспокоившийся, как бы не обошлось без драки, толкнул Юзvu в грудь рукояткой сабли, так что эхо разнеслось по всей корчме, и крикнул:

– Бей!

Заблестели, зазвенели сабли, раздался крик женщин, шум и замешательство. Вдруг Юзва вскочил, схватил стоявшую около стола огромную скамью и, подняв ее, как щепку, крикнул:

– Рум, рум!

С полу поднялась страшная пыль, так что не видно было сражающихся, и лишь порою слышались стоны.

V

В этот же день вечером в Водокты приехал Кмициц в сопровождении ста с лишним человек, которых он привел из Упиты, чтобы отправить их в Кейданы к гетману, ибо сам убедился, что в таком маленьком местечке негде поместить такое большое количество людей, и от голода солдаты поневоле должны прибегать к насилию, особенно такие, которых только страх перед начальством мог удержать в повиновении. Стоило только взглянуть на волонтеров Кмицица, чтобы видеть, что худших людей трудно найти во всей Речи Посполитой. Но Кмицицу неоткуда было достать других. После поражения гетмана неприятель запрудил всю страну. Остатки регулярных литовских войск вернулись в Биржи и Кейданы. Смоленская, витебская, полоцкая, Мстиславская и минская шляхта или ушла за войском, или скрылась в не занятые неприятелем воеводства. Наиболее воинственная и храбрая шляхта съезжалась в Гродну к Госевскому, где назначен был сборный пункт, но, к несчастью, ее было немного, да и та, что последовала голосу своей совести, собиралась так неохотно и медленно, что неприятель безнаказанно наводнял страну, и никто не давал ему отпора, кроме Кмицица, который действовал самостоятельно, побуждаемый скорее рыцарским призыванием, чем патриотизмом. Нетрудно понять, что, за недостатком войска, он набирал людей, каких только можно было найти, а именно: тех, которые не считали себя обязанными идти на помощь к гетману и которым нечего было терять. А потому отряд его состоял из бродяг, людей низкого происхождения, беглых солдат, мещан или преследуемых законом преступников, которые надеялись найти у Кмицица защиту да, кроме того, чем-нибудь и поживиться. В руках Кмицица они превратились в смелых, до безумия, солдат, и, если бы сам Кмициц был более степенным человеком, они могли бы оказать Речи Посполитой неоспоримые услуги. Но у него была неугомонная натура, душа его вечно жаждала приключений, да кроме того, ему неоткуда было брать лошадей и оружие, ибо, как волонтер, он не мог рассчитывать на помощь казны. И он брал насильно, не только у неприятеля, но часто и у своих. Сопrotивления он не выносил и строго за него наказывал.

В постоянных сражениях и стычках с неприятелем он одичал и привык к кровопролитию, хотя по природе у него было очень доброе сердце. Он полюбил этих бесшабашных, ни перед чем не останавливавшихся людей. Имя его вскоре прославилось. Мелкие неприятельские отряды не решались показываться там, где действовал страшный партизан. Но и разорившиеся во время войны местные помещики боялись его людей не меньше чем неприятеля, особенно если они были под командой не Кмицица, а его офицеров. Самым бесчеловечным из них был Раницкий. Где он ни появлялся, там, поневоле, являлось сомнение: враги ли это или защитники отечества. Кмициц иногда наказывал и своих людей нещадно, но это случалось довольно редко; чаще же всего он становился на их сторону, не обращая внимания ни на закон, ни на слезы, ни на человеческую жизнь.

Подстрекаемый своими товарищами, кроме Рекуца, на котором не тяготела невинная кровь, он все более и более разнуждывал свои дикие наклонности.

Теперь он собрал свой сброд, чтобы его отправить в Кейданы. Когда они остановились перед домом в Водоктах, панна Александра даже испугалась, увидев их в окно. Каждый из них был вооружен по-разному: одни – в отнятых у неприятеля шлемах, другие – в казацких шапках, иные в полинявших бархатных кафтанах, в тулупах, с ружьями, луками или бердышами, на лохматых лошадях в польской, московской и турецкой сбруе. Она успокоилась лишь тогда, когда в комнату вбежал веселый и оживленный, как всегда, Кмициц и стал целовать ее руки.

Она хоть и решила встретить его холодно, но не могла скрыть своей радости. Может быть, в этом случае играла роль и женская хитрость. Она должна была рассказать Кмицицу о своем столкновении с его товарищами и потому хотела его задобрить. Впрочем, он приветствовал ее так искренне и с такой любовью, что если и осталась в ее сердце еще капля недовольства, то

она должна была растаять, как снег на огне. «Он любит меня – в этом нельзя сомневаться», – подумала она.

А он говорил:

– Я так по тебе стосковался, что готов был сжечь всю Упиту, лишь бы скорее вернуться к тебе. Пусть они пропадут, эти лапотники.

– Я тоже очень беспокоилась, как бы там не дошло до битвы. Слава богу, что вы приехали.

– Какая битва! Солдаты потрепали малость лапотников.

– Но вы их усмирили?

– Я сейчас тебе все расскажу, мое сокровище, как все было, дай мне только сесть, я очень устал. Как тепло, как хорошо в этих Водоктах, совсем как в раю. Я хотел бы здесь сидеть всю жизнь, глядеть в эти чудные глаза и... но не мешало бы выпить чего-нибудь теплого, на дворе изрядный мороз.

– Я велю согреть вам вина и сама принесу.

– Дай и моим висельникам бочонок водки и прикажи их пустить в сарай, пусть они обогреются хоть около скотины, а то они совсем окоченели.

– Я ничего для них не пожалею, ведь это ваши солдаты.

Сказав это, она так улыбнулась, что у Кмицица сердце забилось от радости, и выскользнула, как кошечка, чтобы сделать нужные распоряжения.

Кмициц ходил по комнате и, то поглаживая свои кудри, то покручивая усы, обдумывал, как ему рассказать о том, что произошло в Упите.

– Нужно сознаться во всем, – пробормотал он, – делать нечего. Пусть товарищи смеются, что я под башмаком.

И он снова начал ходить по комнате и обдумывать, но наконец ему надоело так долго оставаться одному.

В это время казачок внес свечи, поклонился в пояс и вышел, а следом за ним вошла и молодая хозяйка, с блестящим цинковым подносом в обеих руках, на котором стоял горшочек с дымящимся венгерским и резной хрустальный стакан с гербом Кмицицев. Старый Билевич получил его когда-то от отца Андрея в память своего пребывания у него в гостях.

Увидев хозяйку, Кмициц подбежал к ней с распростертыми объятиями.

– Ага, – закричал он, – обе ручки заняты, теперь ты не вырвешься у меня. И он нагнулся через поднос, а она отвернула свою русую головку, защищенную только паром, выходящим из горшочка.

– Да перестаньте же, я уроню поднос.

Но он не испугался этой угрозы, а потому воскликнул:

– Клянусь Богом, можно с ума сойти от таких прелестей!

– Вы уж давно с него сошли. Ну садитесь, садитесь. Он повиновался, а она налила ему в стакан вина.

– Говорите теперь, как вы судили в Упите виновных?

– В Упите? Как Соломон.

– Ну и слава богу! Мне бы хотелось, чтобы все в окрестности считали вас человеком степенным и справедливым. Ну рассказывайте, как все было...

Кмициц хлебнул вина и начал:

– Я должен рассказать все по порядку. Дело было так: мещане, во главе с бургомистром, требовали бумаги от великого гетмана или от пана подскарбия⁴ на выдачу провианта. «Вы, – обратились они к солдатам, – волонтеры и не имеете права ничего требовать от нас даром. Квартиры мы вам даем из любезности, а провизии дадим тогда, когда будем знать, кто нам за нее заплатит».

⁴ Подскарбий – государственный казначей.

– Они были правы или нет?

– По закону правы, но у солдат были сабли, а по старой поговорке – «у кого сабля, тот и прав». Поэтому они и ответили мещанам: «Мы сейчас же выпишем разрешение на вашей шкуре». С этого и началось. Бургомистр со своими лапотниками спрятались в одной из улиц, солдаты их осадили; не обошлось, конечно, без выстрелов. Для острастки солдаты зажгли несколько амбаров, а нескольких человек отправили на покой.

– Как на покой?

– Кто получит саблей по голове, тот и идет на покой.

– Господи боже! Да ведь это разбой.

– Поэтому я и поехал. Солдаты сейчас же явились ко мне с жалобами на голод и притеснения. «В брюхе у нас пусто, – говорили они, – что же нам делать?» Я велел позвать бургомистра. Он долго раздумывал, наконец пришел, а с ним еще трое и все стали плакаться: «Пусть бы уж денег не платили, но зачем убивать людей и жечь город? Есть и пить мы бы им дали, но они требовали сала, меду и всяких лакомств, а мы – люди бедные, и у нас этого нет. Мы будем жаловаться, и вы перед судом ответите за ваших солдат».

– Господь вас не оставит, – воскликнула панна, – если вы над ними учинили суд праведный.

– Праведный?

При этом Кмициц сделал виноватое лицо, как школьник, принужденный сознаться в своих шалостях.

– Королева моя, – проговорил он наконец жалобным голосом, – сокровище мое, не сердись на меня...

– Что же вы сделали? – спросила Оленька тревожно.

– Я велел дать по сто плетей бургомистру и тем троим, – выпалил торопливо Кмициц.

Оленька ни слова не ответила, опустила лишь голову на грудь и погрузилась в молчание.

– Вели казнить меня, – воскликнул Кмициц, – но не сердись. Я еще не все сказал...

– Еще? – простонала девушка.

– Они послали в Поневеж за помощью. Оттуда прислали сотню каких-то дураков под командой офицеров. Первых я усмирив раз навсегда, а офицеров... ради бога, не сердись... велел гнать голых по снегу, как сделал это с Тумгратом в Оршанском.

Девушка подняла голову; ее суровые глаза пылали гневом, а щеки покрылись краской.

– У вас нет ни стыда ни совести! – сказала она.

Кмициц взглянул на нее с изумлением, помолчал с минуту и, наконец, спросил нетвердым голосом:

– Это правда или шутка?

– Я говорю без шуток, такой поступок достоин разбойника, но не честного офицера. Я говорю это потому, что мне дорога ваша репутация, что мне стыдно за вас; не успели вы приехать, как все соседи считают вас насильником и пальцами на вас указывают.

– Что мне ваши соседи! Одна собака десять дворов сторожит, и то ей нечего делать.

– Они бедны – это правда, но над ними не тяготеет никаких преступлений, их имя ничем не запятнано. Никого кроме вас здесь не будет преследовать закон.

– Не беспокойся об этом. У нас всяк пан, кто может держать саблю в руках и собрать кое-какую партию. Что со мной могут сделать? Кого я боюсь?

– Если вы никого не боитесь, то знайте, что я боюсь гнева Божьего и... человеческих слез! А позора ни с кем делить я не хочу. Хоть я и слабая женщина, но честь имени, видно, дороже мне, чем тому, кто называет себя мужчиной и рыцарем.

– Ради бога, не угрожай мне отказом. Ты еще не знаешь меня...

– Верю, но, должно быть, и мой дед вас не знал.

Глаза Кмицица метнули молнии, но и в ней заговорила кровь Билевичей.

– Кидайтесь, скрежещите зубами, – говорила она, – я не испугаюсь, хоть я одна, а у вас целая шайка разбойников: на моей стороне правда. Вы думаете, я не знаю, что вы в Любиче стреляли в портреты и насиловали девушек?! Вы меня не знаете, если думаете, что я всегда буду покорно молчать. Я требую от вас честности, и этого меня не может лишить никакое завещание. Напротив, дед мой поставил непременно условием, чтобы я сделалась женой только честного человека.

Кмищицу, видно, стало совестно за свои проделки в Любиче, потому что он опустил голову и спросил уже более тихим голосом:

– Кто вам рассказал об этом?

– Да вся шляхта говорит.

– Я рассчитаюсь с этими лапотниками, изменниками за их участие, – ответил мрачно Кмищиц. – Все это произошло под пьяную руку, а в таких случаях солдаты не умеют себя сдерживать. Что же касается девок, то я их не трогал.

– Я знаю, что это они, эти бесстыдники, эти разбойники, ко всему дурному вас подстрекают.

– Они не разбойники, а мои офицеры.

– Я этим вашим офицерам велела выйти вон из моего дома.

Оленька ожидала с его стороны вспышки, но, к своему великому изумлению, она заметила, что известие об изгнания его товарищей не только не произвело никакого впечатления, но, наоборот, привело его в прекрасное расположение духа.

– Ты им велела выйти вон? – спросил он.

– Да.

– И они ушли?

– Да.

– Ей-богу, ты смела и решительна, как рыцарь. С такими людьми шутить опасно. За это уж не один поплатился. Но они знают, что значит иметь дело с Кмищицем. Видишь, ушли покорно, как овечки. А почему? Потому что боятся меня!

При этом Кмищиц взглянул самодовольно на Оленьку и стал подкручивать усы; но эта перемена настроения и это неуместное самодовольство рассердило ее вконец, и она сказала решительным тоном:

– Вы должны выбрать или меня, или их – иначе быть не может. Кмищиц, казалось, не заметил ее решительного тона и ответил небрежно, почти шутливо:

– Зачем же мне выбирать, если и они, и ты принадлежите мне. Ты можешь делать себе в Водоктах все, что угодно... Но если мои компаньоны ничем тебя не оскорбили, то за что же мне их гнать? Ты не понимаешь, что значит – вместе служить. Никакое родство так не связывает людей, как совместная служба. Знай, что они чуть не тысячу раз спасли мне жизнь; а если их преследует закон, то я им обязан дать приют. Все это – шляхта и люди высокого происхождения за исключением Зенда. Но зато такого кавалериста, как он, нет во всей Речи Посполитой. Кроме того, если бы ты слышала, как он подражает голосам птиц и зверей, то он бы и тебе понравился.

При этом Кмищиц рассмеялся так, точно никакого недоразумения между ними не было, а она сжимала в отчаянии руки, видя, что все, что она говорила об общественном мнении, о необходимости исправиться, о бесчестии, пролетело мимо его ушей. Уснувшая совесть этого солдата не могла понять ее отвращения к каждой несправедливости, к каждому бесчестному поступку. Как говорить с ним, чтобы он наконец понял?

– Да будет воля Божья! – сказала она наконец. – Если вы от меня отказываетесь, то идите своей дорогой... Бог не оставит сироты.

– Я от тебя отказываюсь? – спросил с изумлением Кмищиц.

– Если не словами, то поступками; и если не вы, то я... Я не выйду за человека, на чьей совести лежат слезы и невинная кровь, на кого показывают пальцами и зовут разбойником и изменником.

– Как изменником? Не доводи меня до бешенства, не то сделаю что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть! Пусть меня молния разразит, пусть черти возьмут мою душу, если я изменник, я, защищавший отчизну даже тогда, когда все уже опустили руки!

– Вы ее защищаете, а в то же время делаете то же самое, что и неприятель, – вы ее бесчестите, вы истязаете людей, презрев законы Божеские и человеческие. Пусть у меня сердце разорвется от боли, но я не хочу иметь такого мужа, не хочу!

– Не говори мне об отказе – я с ума сойду. Спасите меня, святые угодники! Не захочешь по доброй воле, я тебя силой возьму, хотя бы у тебя на страже стоял не только этот ляуданский сброд, но Радзивиллы и даже сам король, хотя бы для этого пришлось продать дьяволу свою душу...

– Не призывайте злого духа, не то он вас услышит, – воскликнула Оленька, протягивая вперед руки.

– Чего ты от меня хочешь?

– Будьте честны.

Оба замолчали, и наступила тишина. Слышны были только тяжелые вздохи Кмицица. Последние слова Оленьки прорвали кору, покрывавшую его совесть. Он чувствовал себя униженным, но не знал, что ей ответить, как защищаться. Начал быстрыми шагами ходить по горнице, а она сидела неподвижно. Над ними точно нависла черная туча. Им было тяжело друг с другом, и долгое молчание становилось все нестерпимее.

– Будь здорова, – промолвил вдруг Кмициц.

– Уезжайте, – ответила Оленька, – и пусть Господь вас наставит на путь истинный!

– Я уеду. Горько было твое питье, горек твой хлеб. Желчью меня здесь напоили...

– А вы думаете, что мне сладко? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы. –

Будьте здоровы!

– Будь здорова!

Кмициц направился было к дверям, но вдруг повернулся, подбежал к ней и, схватив ее за обе руки, сказал:

– Не отталкивай меня, ради Христа, неужто ты хочешь, чтобы я умер по дороге?!

При этих словах девушка зарыдала, а он держал ее в своих объятиях и повторял сквозь стиснутые зубы:

– Бейте меня, кто в Бога верует, бейте! Наконец воскликнул:

– Не плачь, Оленька, ради бога, не плачь! Я сделаю все, что хочешь. Тех отправлю... в Упите все улажу... буду жить иначе... я люблю тебя... Ради бога не плачь, у меня сердце разрывается. Я сделаю все, только не плачь и люби меня.

И он продолжал ее ласкать и успокаивать, а она, наплакавшись, сказала:

– Поезжайте! Господь водворит между нами мир и согласие. Я не сержусь на вас, мне только больно...

Луна уже высоко поднялась над снежными полями, когда Кмициц возвращался в Любич, а за ним, растянувшись длинной цепью по широкой дороге, следовали его солдаты. Они ехали через Волмонтовичи, но более кратким путем, был сильный мороз, и можно было безопасно ехать через болота.

К Кмицицу подъехал вахмистр Сорока.

– Пане ротмистр, – спросил он, – а где нам остановиться в Любиче?

– Иди прочь, – ответил Кмициц.

И он поехал вперед, ни с кем не разговаривая. Это была первая ночь в его жизни, когда в нем заговорила совесть, и он стал сводить с нею счеты, и счеты эти были для него тяжелее

его панциря. Вот, например, он приехал сюда с запятнанной уже репутацией, а что он сделал, чтобы ее исправить? В первый же день позволил стрелять в портреты и развратничать, потом солгал, что сам не принимал в этом участия; потом позволял повторять это каждый день. Затем солдаты избили и обидели мешан, а он не только не наказал виновных, а бросился на понеужское войско, перебил солдат, офицеров погнал голыми по снегу. Они пожалуются на него, и он, конечно, будет присужден к лишению чести, состояния, а может быть, и жизни... Ведь нельзя же ему будет, как прежде, собрать шайку кое-как вооруженного сброда и смеяться над законом. Ведь он хочет жениться и поселиться в Водоктах. Ему придется служить под начальством гетмана, а там его легко могут найти и наказать по заслугам. Но даже если допустить, что все пройдет безнаказанно, то все-таки поступки останутся бесчестными, недостойными рыцаря, и воспоминание о них не изгладится ни в сердцах людей, ни в сердце Оленьки.

И когда он вспомнил, что она его все-таки не оттолкнула, что, уезжая, он прочел в ее глазах прощение, она показалась ему доброй, как ангел. Ему захотелось вернуться не завтра, а сейчас же, упасть к ее ногам, молить о прощении и целовать эти чудные глаза, которые плакали сегодня из-за него.

Он готов был разрыдаться и чувствовал, что так любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Клянусь Пресвятой Богородицей, – думал он, – что сделаю все, чего она от меня потребует; награжу щедро моих товарищей и отправлю их на край света: действительно, они подстрекают меня ко всему дурному».

Тут ему пришла в голову мысль, что, приехав в Любич, он, вероятно, застанет их пьяными или с девками, и им овладела такая злоба, что он готов был броситься на кого попало, хотя бы на этих солдат, и рубить их без милосердия.

– Задам я им! – бормотал он, теребя свои усы. – Они меня еще таким никогда не видели.

И он начал с ожесточением вонзать свои шпоры в бока лошади, дергать за узду и хлестать ее, так что она взвилась на дыбы, а вахмистр Сорока сказал солдатам:

– Наш ротмистр взбесился. Не дай бог теперь попасться ему под руку.

Кмициц действительно бесился. Кругом царила полнейшая тишина. Луна светила ярко, небо горело тысячами звезд, только в сердце рыцаря бушевала буря. Дорога в Любич казалась ему бесконечно длинной. И мрак, и лесная глубина, и поля, в зеленоватом свете луны, наполняли его сердце незнакомым до сих пор страхом. Наконец Кмициц почувствовал страшную усталость, что, впрочем, было и не странно, так как накануне он всю ночь кутил. Но быстрой ездой и утомлением он хотел стряхнуть с себя беспокойство и потому повернулся к солдатам и скомандовал:

– В галоп.

И помчался, как стрела, а за ним помчался весь отряд. Они неслись по лесам и пустынным полям, как адский отряд рыцарей-крестоносцев, которые, по преданию жмудинов, появляются иногда в ясные лунные ночи и летят по воздуху, предвещая войну и несчастья; и лишь когда показались покрытые снегом любичские крыши, они убавили шаг.

Ворота были раскрыты настежь. Кмицица удивляло, что, когда двор наполнился людьми и лошадьми, никто не вышел навстречу. Он рассчитывал увидеть освещенные окна, услышать звуки чекана, скрипок или громкие голоса своих товарищей, а между тем везде было темно, тихо, и лишь в окнах столовой мерцал слабый огонек. Вахмистр Сорока соскочил с лошади, чтобы поддержать ротмистру стремя.

– Ступай спать, – сказал Кмициц. – Часть поместится в людской, остальные в конюшнях. Лошадей тоже разместите, где можно, и принесите им сена.

– Слушаю, – ответил вахмистр.

Кмициц сошел с лошади, дверь в сени была открыта настежь.

– Эй, вы! Есть здесь кто-нибудь? Никто не откликнулся.

– Эй, вы! – повторил он еще громче. Молчание.

– Перепились, – пробормотал Кмициц. И он стиснул зубы от овладевшего им бешенства. Дорогой его охватывал неописанный гнев при мысли, что он застанет здесь пьянство и разврат, теперь эта тишина раздражала его еще больше.

Он вошел в столовую. На огромном столе горела красноватым светом сальная свеча. Ворвавшийся из сеней воздух заколебал пламя, и в течение нескольких секунд Кмициц ничего не мог рассмотреть. Лишь когда свеча перестала мерцать, он заметил ряд фигур, лежавших рядом вдоль стены.

– Перепились насмерть, что ли? – пробормотал он с беспокойством.

С этими словами он быстро подошел к первой фигуре с краю. Лица ее нельзя было рассмотреть, так как оно лежало в тени, но по белому поясу он узнал Углика и стал толкать его ногой.

– Вставайте вы, такие-сякие, вставайте!

Но Углик лежал неподвижно, с руками, вытянутыми вдоль туловища, а за ним и остальные; никто из них не зевнул, не дрогнул, не проснулся, не издал ни звука. Только теперь Кмициц заметил, что все они лежат на спине, в одинаковых позах, и сердце его сжалось от какого-то страшного предчувствия.

Он подбежал к столу и, схватив дрожащей рукой свечу, поднес ее к лицам лежащих.

Волосы дыбом встали у него на голове при виде страшной картины. Углика он узнал лишь по белому поясу, лицо и голова его представляли одну бесформенную, окровавленную массу, без глаз, носа и губ, и лишь огромные усы торчали в этой луже крови. Кмициц подошел к следующему: это лежал Зенд с оскаленными зубами и вышедшими из орбит глазами; в них отражался предсмертный ужас. Третьим был Раницкий; глаза у него были полузакрыты, а лицо покрыто белыми, кровавыми темными пятнами. Четвертый был Кокосинский, его любимец. Он, казалось, спокойно спал, и лишь сбоку на шее у него зияла большая рана, должно быть нанесенная кинжалом. За ним лежал громадный Кульвец-Гиппоцентавр с разорванным на груди кафтаном и с изрубленным сабельными ударами лицом. Кмициц снова поднес свечу ко всем лицам по очереди, и когда он подошел к Рекуцу, то ему показалось, что веки несчастного дрогнули.

Он сейчас же поставил свечу на пол и стал его слегка шевелить.

– Рекуц, Рекуц, – кричал он, – я Кмициц.

Лицо Рекуца дрогнуло, глаза и рот то открывались, то закрывались.

– Это я, – повторил Кмициц.

Глаза Рекуца открылись совсем, – он узнал друга и простонал.

– Ендрек... ксендза...

– Кто вас перебил? – кричал Кмициц, хватаясь за волосы.

– Бутрымы... – послышался едва внятный голос.

Затем Рекуц вытянулся, открытые глаза закатились, и он скончался.

Кмициц молча подошел к столу, поставил на нем свечу, а сам сел в кресло и стал ощущать себе лицо, как человек, который, проснувшись, еще не знает, проснулся ли он на самом деле или продолжает спать.

Потом он снова взглянул на лежащие в полумраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы поднялись дыбом, и он крикнул с такой страшной силой, что стекла задрожали:

– Все, кто жив, ко мне!

Солдаты, разместившиеся в людской, первые услышали его голос и мигом сбежались в комнату. Кмициц указал им рукой на трупы.

– Убиты, убиты! – повторял он хриплым голосом.

Они бросились туда, куда он указывал, и остолбенели; но через несколько минут поднялся шум и суматоха. Прибежали и те, что спали в сараях. Дом наполнился светом и людьми, раздавались вопросы, восклицания, угрозы, и одни лишь убитые лежали тихо, равнодушные ко

всему вокруг и, вопреки своей натуре, спокойные. Душа их улетела, а тел не могли разбудить уже ни призывы к битве, ни даже звон стаканов.

Между тем среди этого шума и говора все чаще и чаще слышались крики угроз и бешенства. Кмициц, смотревший на все до сих пор блуждающими глазами, вдруг вскочил и крикнул:

– На лошадей!

Все бросились к дверям. Не прошло и получаса, как сто с лишком человек мчалось во весь дух по широкой снежной дороге, а впереди летел, как безумный, Кмициц без шапки, с обнаженной саблей в руках. В ночной тишине раздавались от времени до времени восклицания:

– Бей, режь!

Луна дошла уже до предела своего небесного пути, и ее свет смешался с розовым светом, выходявшим точно из-под земли. Небо все больше алело, точно от утренней зари, и, наконец, кровавое зарево залило всю окрестность. Целое море огня бесновалось над огромным бутрымовским «застенком», а разъяренные солдаты среди дыма и огня резали без пощады растерявшееся и обезумевшее от страха население.

Жители соседних «застенков» тоже поднялись. Госцевичи, Домашевичи, Гапштофты и Стакьяны, собравшись кучками около своих домов, указывали в сторону пожара и говорили: «Должно быть, ворвался неприятель и поджег Бутрымов, это не простой пожар».

Звуки выстрелов, раздававшиеся по временам, подтверждали их предположения.

– Идемте на помощь, – говорили более смелые, – не дадим братьям погибнуть.

Пока старики это говорили, молодежь, оставшаяся дома из-за молотьбы, садилась уже на лошадей. В Кракинове и Упите ударили в набат. В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.

– Оленька, встань, – звала панна Кульвец.

– Войдите, тетя. Что случилось?

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Выстрелы даже здесь слышны, там битва. Господи, смилуйся над нами!

Оленька вскрикнула, потом вскочила с постели и стала торопливо одеваться. Она вся дрожала, как в лихорадке: сразу догадалась, какой неприятель напал на несчастных Бутрымов.

Несколько минут спустя в комнату прибежали все находящиеся в доме женщины, плача и рыдая. Оленька упала перед образом на колени, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву за умирающих.

Но не успели они прочесть молитву и до половины, как в сенях раздался сильный стук в двери. Женщины в испуге вскочили, и снова их рыдания огласили комнату.

– Не отпирайте! Не отпирайте!

Стук повторился с еще большей силой. В это время в комнату вбежал казачок.

– Панна, – кричал он, – какой-то человек стучит, отпереть или нет?

– Он один?

– Один.

– Иди отопри.

Казачок побежал исполнить приказание, и она со свечой пошла в столовую, а за нею пошла панна Кульвец и все девушки.

Но едва она успела поставить свечу на стол, как в сенях послышался лязг железного засова, скрип отворяемых дверей, и перед женщинами предстал Кмициц; страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с помутневшими глазами.

– У меня близ леса лошадь пала, – воскликнул он, – меня преследуют. Панна Александра впила в него глазами.

– Это вы сожгли Волмонтовичи? – Я... я...

Он хотел еще сказать что-то, но вдруг со стороны дороги и леса послышались крики и топот лошадей, который приближался с невероятной быстротой.

– Это черти за моей душой... Хорошо!.. – крикнул он точно в бреду. Панна Александра тотчас же бросилась к девушкам:

– Если будут спрашивать, сказать, что здесь никого нет, а теперь уходите в людскую.

Затем она указала рукой на соседнюю комнату и сказала Кмицицу:

– Спрячьтесь там, – и почти насильно втокнула его в открытую дверь и тотчас ее заперла.

Между тем двор наполнился вооруженными людьми, и в один миг Бутрымы, Госцевичи, Домашевичи и другие вбежали в дом. Увидев свою панну, они остановились в столовой. А она со свечой в руках загораживала дорогу в следующую дверь.

– Скажите, что это? Чего вы хотите? – спрашивала она, не моргнув глазом перед их грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.

– Кмициц сжег Волмонтовичи, – крикнула хором шляхта, – замучил мужчин, женщин и детей. Это Кмициц все сделал!

– Мы перерезали его людей, – раздался голос Юзвы Бутрыма, – а теперь ищем его самого!

– Крови его, крови! Растерзать его, разбойника!

– Ищите его! – закричала девушка. – Чего же вы здесь стоите, бегите за ним.

– Да разве он не здесь скрылся? Мы его лошадь нашли около леса.

– Здесь его нет. Дом был заперт. Ищите в конюшнях, сараях.

– Он убежал в лес! – крикнул какой-то шляхтич. – Айда за ним, братцы.

– Молчать! – крикнул мощным голосом Юзва Бутрым. – А вы не скрывайте его, – обратился он к девушке. – На нем Божье проклятие!

Оленька подняла обе руки над головой.

– Проклинаю его, вместе с вами.

– Аминь! – воскликнула шляхта. – Скорее в лес. Отыщем его, живей, живей!

– Айда!

Снова раздался звон сабель и топот шагов. Шляхта выбежала на крыльцо и стала торопливо садиться на лошадей. Несколько человек бросились к постройкам и стали искать в конюшнях, в амбарах, потом голоса их стали доноситься все слабее и, наконец, удалились в сторону леса.

Панна Александра долго прислушивалась; когда все утихло, она постучала в дверь той комнаты, где скрылся Кмициц.

– Выходите, никого нет.

Кмициц вышел, шатаясь как пьяный.

– Оленька! – воскликнул он.

Она встряхнула распущенными волосами, закрывавшими, как плащ, ее плечи и сказала:

– Я ни знать, ни видеть вас не хочу! Берите лошадь и уезжайте отсюда.

– Оленька! – простонал Кмициц, протягивая к ней руки.

– Кровь на вас, как на Каине! – воскликнула она, отшатнувшись от него, как от змеи. – Прочь навеки!

VI

Бледный день осветил в Волмонтовичах развалины домов и хозяйственных построек и обгорелые или разрубленные мечами трупы людей и лошадей. В пепле, среди догоравших углей, кучки бледных, истомленных людей искали тел убитых родственников или остатков своего достояния. Это был страшный день для всей Ляуды. Правда, шляхта одержала победу над людьми Кмицица, но победа эта была не легкая и кровавая. Кроме Бутрымов, которых пало больше всего, не было деревни, где бы вдовы не оплакивали своих мужей, родители сыновей или дети отцов. Шляхте стоило больших усилий одолеть неприятеля, так как взрослые и самые сильные из мужчин отсутствовали, и в этой битве могли принимать участие только старики и юноши. Несмотря на это, никто из людей Кмицица не уцелел. Одни пали в Волмонтовичах, других поймали на следующий день в лесу и били без пощады. Но сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что с ним могло случиться. Некоторые утверждали, что он добрался до пуши Зеленки, а оттуда скрылся в Роговской пуше, где его могли найти разве Домашевичи. Многие утверждали, что он убежал к Хованскому и оттуда приведет неприятеля, но эти опасения были по меньшей мере преждевременны.

Между тем те из Бутрымов, которые уцелели от побоища, направились к Водоктам и расположились там как бы лагерем. Дом был полон женщин и детей. Те, что не могли поместиться, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около ста вооруженных людей, сменившихся по очереди, стояли в Водоктах на страже: все ждали, что Кмициц не успокоится и со дня на день может явиться, чтобы силой взять панну. Наиболее значительные в округе дома, как Соллогубы, Шиллинги и другие, прислали на подмогу своих дворовых казаков и гайдуков. Водокты были похожи на укрепленный город, ожидавший осады. Среди этих вооруженных людей, шляхты и женщин ходила панна Александра, бледная, скорбная, слушала проклятия и жалобы на Кмицица, которые, как кинжалом, пронзали ее сердце, так как и она была косвенной причиной всех несчастий. Из-за нее прибыл сюда этот безумный человек, который нарушил здесь покой и оставил по себе кровавую память, попрал законы, перебил людей, а деревни истребил огнем и мечом. Трудно было поверить, чтобы один человек и в такое недолгое время мог причинить столько зла, тем более что он по натуре был вовсе не злой и не вконец испорченный. Это панна Александра знала лучше, чем кто-нибудь другой. Целая пропасть лежала между Кмицицем и его поступками. Но именно поэтому мысль, что человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, обладал качествами, которые могли бы его сделать образцом гражданина и рыцаря и возбудить вместо презрения любовь и уважение, а вместо проклятий вызвать благословение, убивала ее.

Минутами ей казалось, что это какое-то роковое несчастье, какая-то нечистая сила толкала его на все преступления, совершенные им, и ей становилось невыразимо жаль этого несчастного, и неугасшая любовь вспыхивала с новой силой в ее сердце.

Против него были возбуждены сотни жалоб, а староста Глебович послал людей в погоню за преступником.

Закон его обвинит.

Но от приговоров до их исполнения было далеко, так как волнения в Речи Посполитой усиливались все более и более. Стране угрожала страшная война, которая приближалась кровавыми шагами к Жмуди. Правда, могущественный биржанский Радзивилл мог дать отпор неприятелю, но он был занят всецело политикой, и более всего замыслами, касающимися его дома, и решил привести их в исполнение, хотя бы ценой общественного блага. Другие магнаты тоже больше думали о себе, нежели о Речи Посполитой.

Богатая, населенная, славившаяся храбрыми рыцарями страна стала добычей неприятеля, а произвол и самоуправство безнаказанно попирали законы, чувствуя за собой силу.

Единственную защиту угнетаемые могли найти лишь в саблях, и потому вся Ляуда не удовлетворилась жалобами на Кмицица и долго еще продолжала его выслеживать, чтобы лично учинить над ним суд и расправу.

Но прошел уже месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Все вздохнули свободнее. Более богатая шляхта отозвала дворовых, высланных на помощь в Водокты, а мелкая братия соскучилась по работам и понемногу тоже стала разъезжаться. Когда воинственный пыл постепенно стал слабеть, шляхта решила вознаградить себя за понесенные убытки судом. Правда, обвиняемый отсутствовал, но оставался Любич, большое и богатое имение, которое могло с избытком возместить их потери. Старшие из ляуданцев дважды приезжали к панне Александре за советом, и она поражала всех своими здравыми суждениями и недюжинным умом. Сначала ляуданцы хотели было самовольно занять Любич и отдать его Бутрымам, но девушка решительно отсоветовала им это делать.

– Не платите злом за зло, – говорила она. – Он человек богатый, со связями, и если вы дадите хоть малейший повод, то можете пострадать еще больше. Вы должны поступать так, что если бы суд состоял из родных его братьев, то чтобы и тогда он решил бы дело в вашу пользу. Убедите Бутрымов не брать из Любича ни скота, ни хлеба. Все, что им будет нужно, они получают из Митрун, а там всякого добра больше, чем было в Волмонтовичах. Если бы Кмициц вернулся, пусть они его не трогают и предоставят все решению суда. Помните, что, только пока он жив, вы можете надеяться на возмещение ваших убытков.

Умная девушка говорила все это с умыслом, а они прославляли ее мудрость, не думая о том, что проволочка может принести пользу и Кмицицу или, по крайней мере, спасти ему жизнь. Но шляхта послушала ее, так как привыкла с давних пор беспрекословно повиноваться всякому слову Биллевичей, и Любич остался нетронутым; если бы и появился Кмициц, он мог бы спокойно жить в Любиче.

Но он не появлялся. Лишь месяца через полтора к девушке пришел какой-то неизвестный человек и подал ей письмо. Оно было от Кмицица:

«Дорогая моя, любимая, бесценная Оленька. Всякому созданию, а особенно человеку, свойственно желание отомстить за обиды, и Бог свидетель, что я перебил эту дерзкую шляхту не для удовлетворения своих зверских наклонностей, а единственно потому, что она, вопреки законам Божеским и человеческим, невзирая на молодость и высокое происхождение, подвергла товарищей моих такой позорной и жестокой смерти, какая не могла бы их встретить даже у татар или казаков. Не стану отрицать, что мной овладел нечеловеческий гнев, но кто бы мог устоять против гнева? Души Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убитых в расцвете лет и славы, вооружили мою руку именно тогда, когда – клянусь Богом! – я единственно и думал о согласии и дружбе со всей ляуданской шляхтой, решив последовать твоему доброму совету и совершенно изменить свою жизнь. Ты выслушиваешь их жалобы, выслушай и мое оправдание и суди по справедливости. Мне жаль теперь этих людей, ибо многие из них пострадали невинно, но солдат, мстя за братскую кровь, не может отличать невинных от виновных. О, если бы не случилось всего этого, что столь повредило мне в твоих глазах! За чужие грехи, за справедливый гнев я так жестоко наказан, ибо, утратив тебя, я сплю с отчаянием в сердце и просыпаюсь в отчаянии. Пусть суд меня приговорит к какому угодно наказанию, пусть меня заключат в тюрьму, пусть земля разверзнется у меня под ногами – только бы ты не вычеркнула меня из своего сердца. Я сделаю все, что от меня потребуют, отдам Любич, отдам оршанские имения, отдам деньги, зарытые в лесах, – лишь ты сдержи свое слово, как это тебе велел и покойный дедушка. Ты спасла мне жизнь, спаси

же и мою душу, дай мне заглазить все нанесенные людям обиды, изменить свою жизнь. Если ты меня оставишь, то меня оставит и Бог, и отчаяние толкнет меня к еще худшим поступкам».

Кто отгадает, кто опишет, сколько голосов сострадания поднялось в душе Оленьки в защиту Кмицица. Любовь, как лесное семя, гонимое ветром, летит быстро, и если вырастет в сердце, то только с сердцем и можно ее вырвать. Панна Александра принадлежала именно к числу таких натур, любящих всем сердцем. Но не могла же она все забыть и все простить по первому слову. Раскаяние Кмицица было, конечно, искренне, но характер и дикие наклонности его не могли так скоро измениться, чтобы можно было думать о будущем без опасений. А главное, как могла она сказать человеку, который залил кровью всю округу и имени которого никто во всей Ляуде не произносит без проклятия: «Приди ко мне. За убийства, разорение, кровь и человеческие слезы я отдаю тебе свою любовь и свою руку».

И она ответила ему:

«Я вам уже сказала, что не хочу вас ни видеть, ни знать, и сдержу свое слово, хотя бы сердце мое разорвалось на части. Обид, которые вы причинили людям, нельзя заглазить деньгами, ибо мертвые не воскреснут. Вы потеряли не имущество ваше, а честное имя. Пусть шляхта, которую вы замучили и сожгли, простит вас, тогда прошу и я; пусть она примет вас, тогда приму и я; пусть она вступится за вас, и я ее выслушаю и не откажу. Но так как этого никогда не будет, то ищите себе счастья где-нибудь в другом месте; а прощения вам прежде всего нужно вымолит у Бога».

Окончив письмо, панна Александра запечатала его старинным перстнем Билевичей и сама вынесла его посланному.

– Откуда ты? – спросила она, разглядывая смешную фигуру полумужика-полуслуги.

– Из лесу, панночка.

– А где твой пан?

– Этого мне нельзя сказать. Но он отсюда далеко: я ехал пять дней.

– Вот тебе талер, – сказала Оленька. – А твой пан не болен?

– Здоров, как тур.

– А он ни в чем не нуждается?

– Он – богатый пан.

– Ну, иди с Богом.

– Прощайте, панночка.

– Скажи... постой... скажи пану, что я желаю ему всякого счастья...

Мужик ушел, и снова шли дни и недели, а о Кмицице не было ни слуху, зато известия о положении дел в Речи Посполитой приходили одни за другими, и все они были одно хуже другого. Московские войска Хованского все больше наводняли страну. Не считая Украины, в самом княжестве Литовском были заняты воеводства: Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское; лишь часть Виленского воеводства, Брест-Литовское, Трокское и староство Жмудское еще дышали свободно, да и то со дня на день ожидали гостей.

Должно быть, Речь Посполитая дошла до последней степени бессилия, если не могла дать отпора тем силам, которым доселе не придавала никакого значения и которые всегда побеждала. Правда, эти силы поддерживал вечно возрождавшийся, как стоглавая гидра, бунт Хмельницкого; но, по словам опытных солдат, несмотря на бунт и истощенные предшествующими войнами силы, одно Великое княжество Литовское могло не только дать отпор, но и одержать блестящую победу. К несчастью, этой возможности мешали внутренние раздоры, которые парализовали усилия даже тех граждан, которые готовы были ради родины жертвовать имуществом и жизнью.

Между тем в землях, еще не занятых, скрывались тысячи беглецов как из шляхты, так и из простонародья. Города, местечки и деревни на Жмуди были полны людей, доведенных

войной до нищеты и самого отчаянного положения. Местные жители не могли ни поместить их, ни прокормить; поэтому они часто умирали от голоду или брали силой то, в чем им отказывали, стычки и разбои повторялись все чаще и чаще.

Стояла необычно суровая зима. Наступил апрель, а поля и леса были еще покрыты толстым слоем снега. Прошлогодние запасы истощились, новых еще не было – и голод, брат войны, стал свирепствовать все сильнее и сильнее. Выезжая из дому, приходилось постоянно наткаться на лежавшие на дорогах и полях трупы людей, окоченевшие и обглоданные волками, которые так размножились, что целыми стаями подходили к деревням. Вой их смешивался со стонами бездомных. В лесах и на полях тут же, около деревень, ночью горели костры, около которых эти несчастные согревали свои иззябшие члены; а если кто-нибудь проезжал мимо, они бежали за ним, умоляя дать денег или хлеба, а в случае отказа проклинали и угрожали. Всеми овладел какой-то суеверный страх. Многие утверждали, что все эти неудачные войны и небывалые несчастья имеют связь с королевским именем. Объясняли, что буквы I. S. R., вырезанные на монетах, обозначают не только *Ioannes Casimirus Rex*⁵, но еще и *Initium Calamitatis Regni*⁶. Вся Речь Посполитая делилась на партии и находилась в положении человека при смерти. Предсказывали и внутренние, и внешние войны. И действительно, причин для них было достаточно. Все влиятельные дома Речи Посполитой охватил вихрь раздоров, и они посматривали друг на друга, точно неприятельские государства, а за ними делились на враждебные лагеря и целые области и уезды. Так было и на Литве, где вражда великого гетмана Януша Радзивилла с Госевским, полевым гетманом и подскарбием Великого княжества Литовского, перешла в открытую войну. На стороне последнего были Сапеги, для которых уже с давних пор могущество радзивилловского дома было бельмом на глазу. Их сторонники упрекали великого гетмана в том, что он, думая лишь о личной славе, погубил войско под Шкловом, а страну отдал в жертву неприятелю, что он больше добивался права заседать в сеймах немецкого государства, чем счастья своей родины, что он даже мечтал об удельной короне и преследовал католиков.

Между приверженцами обеих сторон дело не раз доходило до битв, якобы без ведома патронов; а патроны посылали друг на друга жалобы в Варшаву, и раздор их отражался и на сеймах; на месте же он усиливал волнение и обеспечивал безнаказанность. Поэтому такой человек, как Кмициц, мог быть вполне уверен в своей безопасности, если бы только он пожелал примкнуть к одной из этих партий.

Между тем неприятель свободно подвигался вперед, наткаясь лишь кое-где на укрепленные замки.

При таком положении дел ляуданцы должны были быть постоянно настороже, особенно потому, что поблизости не было гетманов, оба сражались с неприятельскими войсками, и если не могли вытеснить их совсем, то, по крайней мере, не пускали их в не занятые еще воеводства. В отдельности и Павел Сапега давал им отпор и окружил свое имя славой, а Януш Радзивилл, знаменитый воин, чье имя до Шкловского поражения приводило в страх и трепет неприятеля, одержал даже несколько значительных побед. Госевский старался удержать напор неприятеля то стычками, то перемириями; оба вождя собирали войска с зимних квартир и вообще отовсюду, откуда было возможно, зная, что с началом весны война разгорится снова. Но войск было мало, казна была пуста, а на помощь занятых уже воеводств нельзя было рассчитывать, так как их удерживал неприятель. «Нужно было об этом подумать до шкловского сражения, – говорили сторонники Госевского, – а теперь поздно».

И действительно, было поздно. Королевские войска тоже были отосланы на Украину против Хмельницкого, Шереметева и Бутурлина.

⁵ Ян Казимир, государь (*лат.*).

⁶ Начало гибели государства (*лат.*).

И вот лишь слухи о геройских подвигах, о захваченных городах, о небывалых походах, доходившие из Украины, немного подкрепляли упавших духом ляуданцев. Прославились имена гетманов, а наряду с ними имя Стефана Чарнецкого повторялось все чаще и чаще, но слава не могла заменить недостатка в войске, и литовские гетманы понемногу отступали, не переставая по дороге ссориться друг с другом.

Наконец вернулся Радзивилл, а вместе с ним на Ляуде настало и временное спокойствие. Лишь кальвинисты, пользуясь близостью своего покровителя, стали нападать на церкви и учинять много других бесчинств, но зато предводители различных волонтерских шаек бог весть чьих партий, разорвавших страну, скрылись в леса, разбрелись, и люди вздохнули свободнее.

А так как от сомнения к надежде всего один шаг, то и ляуданцы вдруг воспрянули духом. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Володыевский, живший еще в Пацунелях, говорил, что весной придет король с войском, и тогда война примет другой оборот. Успокоенная шляхта стала приниматься за полевые работы. Снега растаяли, и березы стали покрываться свежей листвой.

Ляуда широко разлилась. Небо прояснилось. Ко всем вернулась обычная бодрость.

Вдруг произошли события, которые снова нарушили тишину, оторвали людей от работ и не дали саблям покрыться ржавчиной.

VII

Пан Володыевский, славный и опытный воин, хотя и молодой еще, жил пока в Пацунелях у Пакоша Гаштофта, пацунельского патриарха, пользовавшегося репутацией первого богача из всей ляуданской мелкой шляхты. Действительно, своим трем дочерям, вышедшим замуж за Бутрымов, он дал по сто талеров деньгами и столько серебра и всякого добра, что многие девушки, принадлежащие к значительным домам, не могли бы пожелать большего. Остальные три дочери были дома и ходили за Володыевским, здоровье которого то поправлялось, то ухудшалось. Вся шляхта очень беспокоилась о его руке, ибо видела ее в деле под Шкловом и Шепелевом и вывела заключение, что лучшую трудно найти во всей Литве. Поэтому молодой полковник пользовался необыкновенным уважением и любовью. Гаштофты, Домашевичи, Госцевичи, Стакьяны, а за ними и все другие то и дело посылали в Пацунели рыбу, грибы, дичь, сено для лошадей и деготь для экипажей, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не нуждались. Когда ему становилось хуже, то все наперебой скакали в Поневеж за фельдшером, – словом, все хотели оказать ему какую-нибудь услугу.

Володыевскому было так хорошо, что хотя в Кейданах он мог бы пользоваться большими удобствами и лечиться у знаменитого врача, но он предпочитал жить у Гаштофта, чему тот был несказанно рад и чуть не сдувал с него каждую пылинку, ибо пребывание в его доме такого знаменитого гостя, который мог бы оказать честь и самому Радзивиллу, усиливало его значение на Ляуде.

После изгнания Кмицица шляхта, очарованная Володыевским, решила его женить на панне Александре. «Зачем нам искать по свету мужа для нее, – говорили старики на состоявшемся с этой целью совещании. – Раз тот изменник опозорил себя такими бесчестными поступками, то и панна наша должна выбросить его из своего сердца, ибо об этом говорится и в завещании. Пусть на ней женится Володыевский. Как опекуны, мы можем разрешить ей такое замужество, ибо она приобретает достойного мужа, а мы – вождя».

Когда вопрос этот был решен, старики поехали сначала к Володыевскому; тот, недолго думая, согласился на все; потом они поехали к панне, которая, не раздумывая, решительно отказала. «Любичем, – сказала она, – мог распоряжаться только покойный дедушка, и имение это может быть отнято у Кмицица лишь по решению суда, а что касается моего замужества, то о нем и не говорите. У меня слишком тяжело на душе, чтобы думать о чем-нибудь подобном. От того я отказалась, а этого лучше не привозите, я к нему даже не выйду».

Услышав такой решительный отказ, шляхта вернулась домой опечаленная; гораздо меньше огорчился сам Володыевский, а еще меньше молодые дочери Гаштофта: Тереза, Мария и София. Это были высокие, сильные, румяные девушки, с волосами как лен и глазами как незабудки. Вообще, пацунельки славились своей красотой; когда они шли вместе в церковь, их можно было сравнить с цветами на лугу. Старик Гаштофт ничего не пожалел для их образования. Органист из Митрун научил их читать, петь церковные песни, а старшую даже играть на лютне. Добрые по природе, они взяли под свою опеку больного Володыевского и прилагали все старания, чтобы облегчить его страдания. Говорили даже, что Мария влюбилась в молодого рыцаря, но этот слух был не совсем верен, ибо все три были в него по уши влюблены. Он их тоже очень любил, особенно Марию и Софию, так как Тереза постоянно упрекала мужчин в измене и непостоянстве.

Бывало, в длинные зимние вечера старый Гаштофт, выпив лишний ковшик крупника, ляжет спать, а они сядут с Володыевским у камина: Тереза прядет, Марыня щиплет перья, а Зося наматывает нитки. Но только лишь Володыевский начинал рассказывать о войнах, в которых он принимал участие, или о диковинках, которые ему случалось видеть в разных магнатских домах, работа сейчас же прекращалась, и молодые девушки слушали, не спуская с него

глаз, а по временам вскрикивали от удивления: «Ну, и чудеса же бывают на свете, милые вы мои!» А другая прибавит: «Всю ночь я глаз не сомкну».

Володыевский чем больше выздоравливал, тем становился все веселее и все охотнее рассказывал о своих приключениях. Однажды вечером они, по обыкновению, сидели у камина, яркое пламя которого освещало темную комнату, но не прошло и минуты, как молодые люди начали спорить. Девушки хотели, чтобы он им что-нибудь рассказал, а он просил Терезу спеть.

– Вы сами спойте, ваша милость, – ответила девушка, отталкивая инструмент, который ей принес Володыевский, – у меня работа. Бывая в свете, вы должны были научиться всяким песням.

– Конечно, научился. Ну хорошо. Сперва спою я, а вы после меня. Работа не пропадет. Если бы вас просила какая-нибудь женщина, вы бы, наверно, не стали спорить.

– С вами так и надо.

– Разве вы и меня презираете?

– Вы – другое дело. Да уж пойте, ваша милость.

Володыевский состроил смешную гримасу и запел фальшивым голосом:

В сих краях живу далеких
Я, несчастлив и уныл...
Ни одной из чернооких
В сих краях не стал я мил...

– Это неправда! – прервала Марыся, покраснев, как вишня.

– Это наша солдатская песенка; мы ее пели на зимних квартирах, чтоб тронуть чье-нибудь доброе сердце.

– Я бы первая сжалилась.

– Спасибо вам, ваць-панна! Если так, то нечего мне продолжать, а лучше передать инструмент в более достойные руки.

Тереза на этот раз не оттолкнула инструмента, так как ее тронула песня Володыевского, в которой на самом деле было более хитрости, нежели правды; она тотчас же ударила по струнам и запела:

Эй, панна, смотри не ходи на свиданье,
Эй, панна, мужчине не верь до венчанья...

Володыевский так развеселился, что хватился за бока и воскликнул:

– Неужели все мужчины изменники? А военные, ваць-панна?

Тереза надула губки и запела с удвоенной энергией:

Эти хуже всех, эти хуже всех.

– Не обращайтесь на Терезу внимания, она уж всегда такая, – сказала Мария.

– Как же мне не обращать внимания, если панна Тереза оскорбила все воинское сословие, и я не знаю, куда деться от стыда.

– Вы просили, чтобы я пела, а теперь смеетесь надо мной, – ответила Тереза обиженным тоном.

– Я не пеняю касаясь, но смысла вашей песни, ибо в ней задета честь всех военных; что же касается вашего голоса, то лучшего я не слышал даже в Варшаве. Вас бы только одеть в панталончики, и вы могли бы с успехом петь в кафедральном костеле Святого Иоанна, где бывают их величества.

– А для чего же ей одевать панталончики? – спросила с любопытством панна Зося.

– Там в хоре женщины не поют, а лишь мужчины и мальчики, одни поют такими грубыми голосами, как ни один бык не зарычит, а другие – так тонко, точно скрипка. Я их не раз слышал, когда мы с незабвенным воеводой русским⁷ ездили на коронацию теперешнего нашего короля. Просто дух захватывает. Там музыкантов много, например: Форстер, Капула, Джан Батиста, Элерт, Марк и композитор Мельчевский. Как они запоют все вместе, то кажется, будто слышишь наяву хор серафимов.

– Это верно, клянусь Богом, – воскликнула Марыся, всплеснув руками.

– А короля вы много раз видели? – спросила Зося.

– Я разговаривал с ним так, как вот теперь с вами. После одного удачного сражения он меня обнял. Он так добр и милостив, что, увидев его однажды, нельзя его не полюбить.

– Мы и не видели любим его. А что, он всегда носит на голове корону?

– Нужно бы иметь железную голову, чтобы носить ее постоянно. Корона хранится в костеле, чем усиливается и значение ее, а его королевское величество носит черную шляпу с бриллиантами, блеск коих точно озаряет весь замок...

– Говорят, что королевский замок лучше даже кейданского.

– Что кейданский? Его и сравнивать с кейданским нельзя. Это огромное здание, все из камня, дерева нигде и не увидишь. Кругом два ряда покоев, один другого лучше... Стены расписаны масляными красками; на них изображены сцены из различных войн и победы королей, как то: Сигизмунда Третьего и Владислава. Глаз оторвать нельзя: они – точно сама действительность. Удивляешься, что все это не двигается и не говорит. Но этого не может представить даже самый лучший художник. Иные покои сплошь из золота; стулья и скамейки вышиты бисером или покрыты тафтой, столы из мрамора и алебаstra... А зеркал, часов, показывающих время и днем, и ночью, – всего и на воловьей шкуре не выписать. Вот король с королевой по этим комнатам ходят и радуются, глядя на свои богатства, а вечером для развлечения идут в театр.

– Что такое театр?

– Как это вам объяснить?.. Такое место, где танцуют разные итальянские танцы и представляют комедии. Комната так велика, как церковь, и вся украшена колоннами. С одной стороны зрители, а с другой расставлены размалеванные полотна. Одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз; иные на винтах поворачиваются в разные стороны; перед собой вы видите тьму, тучи, то свет приятный, а наверху небо, и на нем солнце или звезды, внизу же страшный ад.

– О господи! – воскликнули девушки.

– И с чертями. Иногда безмерное море, а на нем корабли и сирены. Одни фигуры спускаются с неба, другие выходят из земли.

– А вот я ад не хотела бы видеть, – воскликнула Зося, – и дивлюсь, какая охота людям смотреть на такие ужасы.

– Они не только смотрят, но еще и в ладоши плещут от удовольствия, – продолжал Володыевский, – ибо все это не настоящее и от креста не исчезает. Здесь не злые духи представляют, а люди. Кроме их величеств бывают там епископы и разные другие лица, которые потом вместе с королем садятся за стол.

– А утром и днем они что делают?

– Это зависит от их настроения. Утром они ходят в ванну. Это такая комната – нет пола, а только блестящий, как серебро, цинковый ящик, а в нем вода.

– Вода в комнате... Да слыхано ли это?

⁷ Воеводой русским в 1646–1651 гг. был князь Иеремия Вишневецкий.

– Да, вода. Ее можно, по желанию, прибавить или убавить; воду можно сделать горячей или холодной, ибо там проведены трубы с кранами. Вывернешь кран и наливай воды, какой хочешь и сколько хочешь. Можешь налить столько, что будешь плавать, как в озере. Ни у одного короля нет такого дворца, как у нашего, – это говорят и послы заграничные. Кроме того, ни один король не царствует над таким красивым народом, ибо хоть на свете и много есть разных красивых наций, но нашу Господь, по милосердию своему, больше всех одарил красотой.

– Счастлив наш король, – вздохнув, сказала Тереза.

– Конечно, он был бы счастлив, если бы не эти неудачные войны, которые губят Речь Посполитую за наши грехи и раздоры. За все отвечает король, и его же за наши грехи упрекают. А чем он виноват, если его не слушают? Тяжелые времена настали для нашей отчизны, столь тяжелые, каких еще никогда не бывало. Какой-нибудь ничтожный неприятель и тот смеет теперь идти против нас, которые до сих пор побеждали турецкого царя. Так-то Бог наказывает за гордость! Слава Ему, что моя рука уже действует, ибо пора, уже давно пора вступить за дорогую отчизну. Грешно в такое время сидеть сложа руки.

– Вы только не вспоминайте о своем отъезде.

– Не может быть иначе. Хорошо мне здесь с вами, но в то же время и плохо. Пусть там умные на сеймах спорят, а солдату скучно, когда он не на войне. Поколе жив, он должен служить отчизне. А после смерти Бог, читающий в сердцах людей, больше всего наградит тех, кто не только ради одной славы служил отчизне... Но теперь уже таких мало, ибо настали для нас черные дни.

На глазах у Марыси показались слезы и наконец потекли по румяным щекам.

– Вы уедете и забудете нас, а мы здесь высохнем с тоски. Кто же будет здесь защищать нас в случае опасности?

– Уеду, но сохраню в сердце благодарность. Не часто встречаются такие люди, как в Пацунелях. А вы все еще боитесь Кмицица?

– Конечно, боимся. Им матери детей пугают, точно упырем.

– Он уже не вернется больше, а если и вернется, то не с теми шалопаями, что, по словам всех, были гораздо хуже его. Жаль, что такой хороший солдат так опозорил себя и утратил честь и состояние.

– И невесту.

– И невесту. Много хорошего говорят о ней.

– Она, несчастная, по целым дням теперь все плачет и плачет.

– Да ведь не Кмицица же она оплакивает, – возразил Володыевский.

– Кто знает? – сказала Марыся.

– Тем хуже для нее, ибо он уже не вернется; часть ляуданцев гетман отправил домой, – значит, и силы здесь есть. Они бы здесь и без суда с ним покончили. Он, верно, знает об их возвращении и носу сюда не покажет.

– Да, кажется, наши опять скоро уйдут, ибо их отпустили на очень короткий срок.

– Гетман их распустил потому, что у него денег нет, – ответил Володыевский. – Горе, да и только! В такое время, когда люди всего более нужны, их приходится вдруг отсылать... Ну, доброй ночи, ваць-панна, пора спать. Желая вам увидеть во сне Кмицица с огненным мечом.

Сказав это, Володыевский встал со скамейки и пошел было в спальню, но едва он сделал несколько шагов, как из сеней донесся отчаянный крик:

– Ради бога, откройте, скорее.

Девушки перепугались, а Володыевский побежал за саблей, но не успел он еще вернуться, как в комнату вбежал незнакомый человек и бросился перед рыцарем на колени.

– Спасите, помогите, пане полковник... Нашу панну похитили...

– Какую панну?

– Из Водокт.

- Кмициц! – воскликнул Володыевский.
- Кмициц! – закричали девушки.
- Кмициц! – повторил посланный.
- Кто же ты? – спросил Володыевский.
- Слуга из Водокт.
- Мы его знаем, – сказала Тереза, – он привозил вам лекарство.

В это время из-за печки вылез заспанный старик Гаштофт, а в дверях появилось двое слуг Володыевского, которые, услышав шум, прибежали в комнату...

– Лошадей, – крикнул Володыевский. – Один из вас пусть сейчас же бежит к Бутрымам, а другой пусть седлает мне лошадь.

– У Бутрымов я уже был, – ответил старик, – они ближе всего. Они меня к вашей милости и послали.

- Когда панну похитили? – спросил Володыевский.
- Только что. Там теперь бьют дворовых... а я вскочил на лошадь...

Старый Гаштофт спросил, очнувшись:

- Что? Панну похитили?
- Кмициц ее похитил, – сказал Володыевский. – Едемте на помощь.

Сказав это, он обратился к посланному:

- Ступай к Домашевичам и скажи им взять оружие и ехать в Водокты.

– Ну же, вы, козы! – вдруг крикнул Гаштофт дочерям. – Бегите на деревню и будите шляхту, пусть берутся за сабли. Панну похитил Кмициц... А?.. Господи помилуй!.. Разбойник, злодей... А?..

– Давайте и мы будить, – сказал Володыевский, – это будет скорее... Идемте. Лошади, кажется, уже поданы.

Через минуту они сели на лошадей, а с ними двое слуг: Огарек и Сыруц. Все поехали по дороге, между изб, стучали в двери, в окна и кричали что есть мочи:

- За сабли, за сабли! Панну похитили! Кмициц в Водоктах!

Услышав крик, все выбегали из избы и, поняв, в чем дело, сами начинали кричать: «Кмициц в Водоктах! Панну похитили!» – и с этим бежали седлать лошадь или в избу искать саблю. Все большее количество голосов повторяло: «Кмициц в Водоктах». Поднялась суматоха; в окнах замелькал свет, раздавался плач женщин, лай собак. Наконец шляхта тронулась в путь, кто на лошадях, кто пешком. Над массой человеческих голов в темноте блестели сабли, пики, рогатины и даже железные вилы.

Пан Володыевский, окинув глазами весь этот отряд, сейчас же разослал несколько человек в разные стороны, а сам с остальными отправился вперед.

Верховые ехали впереди, а за ними шли пешие. Все они направлялись к Волмонтовичам, чтобы присоединиться к Бутрымам. Те из шляхты, что вернулись от воеводы, сейчас же построились в ряды; другие, особенно пешие, шли не так исправно, шумели оружием, болтали, громко зевали и, наконец, ругали на чем свет стоит Кмицица, нарушившего их покой. Так они дошли до Волмонтовичей, где встретились с вооруженным отрядом.

- Стой! Кто едет? – слышались оттуда голоса.
- Гаштофты.
- А мы Бутрымы. Домашевичи тоже здесь.
- Кто вами командует? – спросил Володыевский.
- Юзва Безногий... К услугам вашей милости.
- Имеете известия?

– Он ее увез в Любич, куда проехал по болотам, чтобы миновать Волмонтовичи.

– В Любич? – спросил с удивлением Володыевский. – Неужели он там считает себя в безопасности? Ведь Любич не крепость.

– Вероятно, рассчитывает на свои силы. С ним двести человек. Верно, хочет увезти из Любича имущество, с ним много телег и лошадей. Нужно полагать, что он не знал о нашем возвращении, иначе не решился бы так смело действовать.

– Наше счастье! – сказал Володыевский. – Теперь он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?

– У нас, Бутрымов, ружей тридцать, а у Домашевичей вдвое больше.

– Хорошо. Возьмите пятьдесят человек и закройте проход к болотам. Только живее! Остальные пойдут со мной. Не забудьте захватить топоры.

– Все будет исполнено!

Началось движение: маленький отряд под командой Юзвы Безногого пошел к болотам.

В это время приехали и остальные Бутрымы, которых Володыевский послал созывать шляхту.

– Госцевичей не видно? – спросил Володыевский.

– А, это вы, пане полковник? Слава богу! – воскликнули Бутрымы. – Госцевичи уже идут; они теперь должны быть в лесу. Вам ведомо, что он увез барышню в Любич?

– Да. Недалеко он уйдет.

Действительно, Кмициц не предвидел одной опасности: он не знал о том, что большая часть шляхты вернулась, и думал, что вся округа пуста, как во время его первого приезда в Любич. Но оказалось, что, не считая Стакьянов, которые не могли подойти вовремя, Володыевский вел против него около трехсот опытных в военном деле людей.

Шляхты в Волмонтовичи прибывало все больше и больше. Наконец пришли и Госцевичи, которых давно ждали. Володыевскому не стоило никакого труда привести их в надлежащий порядок, и это ему доставило большое удовольствие. С первого же взгляда в них можно было узнать настоящих солдат, а не обыкновенную беспорядочную шляхту. Это радовало Володыевского особенно потому, что ему вскоре предстояло идти с ними на серьезное дело.

Они пошли к Любичу тем же лесом, через который проезжал Кмициц. Было уже далеко за полночь. Взошла луна и осветила лес, дорогу и отряд, шедший по ней, бросала свои бледные лучи на острия пик, отражалась на блестящих саблях. Шляхта переговаривалась потихоньку о необыкновенном событии, заставившем ее покинуть свои дома.

– Здесь шатались всякие люди, – говорил один из Домашевичей, – мы думали, что это беглые, а это, верно, были его разведчики.

– Конечно. Каждый день какие-то незнакомые нищие приходили в Водокты, будто за милостыней, – прибавил другой.

– А что за люди у Кмицица?

– Дворовые из Водокт говорят, что казаки. Он, верно, снюхался с Хованским или Золотаренкой. До сих пор был только разбойником, а теперь стал изменником...

– Как же он мог привести сюда казаков?

– Первый попавшийся отряд мог их остановить.

– Во-первых, они могли идти лесом, а во-вторых, мало ли наших магнатов со своими казаками разъезжает... Кто их отличит от неприятеля?

– Он будет защищаться до крайности; это храбрый, решительный человек, но наш полковник сумеет с ним справиться.

– Бутрымы тоже поклялись, что он не уйдет отсюда живым, хоть бы для этого им пришлось всем лечь костью.

– Если мы его убьем, то с кого требовать вознаграждения за убытки? Лучше поймать его живым и отдать в руки правосудия.

– Не время теперь о судах думать, когда все потеряли голову. Разве вы не слышали, что нам предстоит еще война со шведами?

– Господи, спаси и сохрани! Московская сила, Хмельницкий! Шведов только недоставало, тогда уж придут последние дни для Речи Посполитой.

Вдруг Володыевский, ехавший впереди, повернулся к ним и сказал:

– Тише, Панове!

Шляхта умолкла, вдали показался Любич. Через четверть часа они подъехали не дальше чем на полверсты. Все окна были освещены, а на дворе виднелась масса вооруженных людей и лошадей. Нигде не было стражи, не было принято никаких предосторожностей. По-видимому, Кмициц был слишком уверен в своей силе. Подъехав ближе, Володыевский сразу узнал казаков, с которыми ему пришлось не раз воевать, сначала при жизни великого Еремии, а потом под начальством Радзивилла, и пробормотал:

– Если это неприятельские казаки, то этот бездельник хватил уж через край.

Он остановил свой отряд и стал присматриваться. На дворе была страшная суета. Одни казаки держали зажженные факелы, другие бегали во все стороны: то входили в дом, то опять выходили, выносили вещи, укладывали тюки на телеги; другие выводили лошадей из конюшен, скот из сараев; со всех сторон раздавались крики, приказания. Вся эта картина напоминала переезд арендатора в новое имение.

Христофор, старший из Домашевичей, подъехал к Володыевскому.

– Пан полковник, – сказал он, – похоже на то, что они хотят весь Любич уложить на телеги.

– Не вывезут, – ответил Володыевский, – не только Любича, но и своей шкуры. Я совершенно не узнаю Кмицица: ведь он опытный солдат, а нигде не поставил стражи.

– Он уверен в своей силе; у него, должно быть, будет более трехсот человек. Если бы мы не вернулись, то он мог бы среди бела дня проехать с возами через все деревни.

– Хорошо! – сказал Володыевский. – А есть ли еще другая дорога к дому или только эта одна?

– Только эта, а дальше пруд и болота.

– Это хорошо! Сойдите с лошадей!

Шляхта поспешила исполнить приказание; затем, образовав длинную цепь, она окружила дом со всех сторон.

Володыевский с главным отрядом подошел к воротам.

– Ожидать команды! – сказал он тихо. – Не стрелять, пока не прикажу!

Лишь несколько десятков шагов отделяли шляхту от ворот, когда их заметили со двора. Несколько человек сейчас же вскочили на забор и, перегнувшись через него, стали всматриваться в темноту, а грозные голоса спросили:

– Эй, что за люди?

– Стой! – крикнул Володыевский. – Огня!

Из всех имевшихся у шляхты ружей грянули выстрелы, а вслед за ними снова раздался голос Володыевского:

– Бегом!

– Бей, режь! – крикнули ляуданцы, бросившись вперед, как поток.

Казаки тоже ответили выстрелами, но зарядить во второй раз уже не успели. Шляхта налегла на ворота, и под ее могучим напором они рухнули. Впереди стеной шли великаны Бутрымы, самые опасные в рукопашном бою. Шли, как стадо разъяренных буйволов, ломая, давя, уничтожая и рубя все на своем пути, а за ними следовали Домашевичи и Госцевичи.

Солдаты Кмицица храбро защищались; из-за телег и тюков, из окон дома и с крыши раздалась выстрелы, но редкие, потому что факелы погасли, и трудно было отличить своих от неприятелей. Несколько минут спустя казаков отеснили к дому и к конюшням. Раздались крики о пощаде. Шляхта торжествовала.

Но когда она осталась на дворе одна, во всех окнах показались дула ружей, и град пуль посыпался на двор. Большая часть казаков спряталась в доме.

– К дому, к дверям! – крикнул Володыевский.

Действительно, у стен выстрелы не могли им причинить никакого вреда. Но положение их было довольно тяжелое. О штурме окон нечего было и думать, так как их встретили бы выстрелами в упор, и Володыевский велел рубить двери.

Но это было нелегко исполнить, так как двери были сделаны из толстых Дубовых крестовин, покрытых сплошь огромными гвоздями, от которых зазубривались топоры, прежде чем успевали вонзиться в дерево. Самые сильные мужики напирали время от времени, плечами, но напрасно. Двери с внутренней стороны были заперты железными болтами, да, кроме того, их подперли колыями. Но Бутрымы рубили бешено. Кухонную дверь штурмовали Домашевичи и Госцевичи.

После часа тщетных усилий их сменили другие. Некоторые крестовины вывалились, но на их месте показались ружейные дула. Снова раздались выстрелы. Двое Бутрымов упали с простреленной грудью. Но остальные не растерялись и стали рубить с еще большим ожесточением.

Образовавшиеся отверстия, по команде Володыевского, заткнули кафтанам. В это время со стороны дороги раздались голоса: это Стакьяны спешили на помощь своим братьям, а за ними вооруженные мужики из Водокт.

Прибытие новых подкреплений, очевидно, встревожило осажденных – из-за двери послышались голоса:

– Стой, не руби, слушай! Да постой же, черт... Поговорим.

Володыевский велел прекратить работу и спросил:

– Кто говорит?

– Оршанский хорунжий Кмициц, – послышался ответ. – А вы кто?

– Полковник Михал-Юрий Володыевский.

– Челом вам, – отозвался голос из-за дверей.

– Не время любезничать... Скажите, что нужно?

– Мне бы следовало вас об этом спросить. Вы не знаете меня, а я вас. С какой стати вы на меня нападаете?

– Изменник! – крикнул Володыевский. – Со мной вернувшиеся с войны ляуданцы, а у них с тобою счеты за разорение, за безвинно пролитую кровь и ту панну, которую ты сейчас похитил. Знаешь, что тебя ожидает? Ты не уйдешь отсюда живым.

Наступило минутное молчание.

– Ты бы меня не назвал во второй раз изменником, – заговорил опять Кмициц, – если б не дверь, которая нас отделяет.

– Так отопри ее... я тебе не запрещаю.

– Не одна ляуданская собака ноги протянет, прежде чем вы возьмете меня живым.

– Так мы тебя мертвого за ноги вытащим. Нам все равно.

– Слушайте, ваць-пане, и запомните то, что я вам скажу. Если вы нас не оставите в покое, у меня наготове бочонок пороху: я взорву дом, а с ним и всех, кто здесь. Клянусь Богом, что я это сделаю. А теперь берите меня, если хотите.

На этот раз воцарилось долгое молчание. Володыевский напрасно искал ответа. Шляхта с испугом переглядывалась. Столько было дикой энергии и решимости в словах Кмицица, что они ни на минуту не усомнились в их правдивости. Вся победа могла рухнуть от одной искры, а вместе с тем и панна будет потеряна навсегда.

– Что нам делать? – пробормотал один из Бутрымов. – Это сумасшедший человек. Он готов исполнить свою угрозу.

Вдруг у Володыевского явилась счастливая, как ему казалось, мысль.

– Есть еще способ, – воскликнул он. – Выходи, изменник, на поединок со мной. Убьешь меня, – уезжай себе с Богом, никто тебя не тронет.

Некоторое время ответа не было. Сердца ляуданцев тревожно бились.

– На саблях? – спросил наконец Кмициц. – Можно!
– Можно, если ты не трусишь.
– И вы дадите честное слово, что я уеду свободно?
– Даю.
– Этого никак нельзя! – крикнул Бутрым.
– Тише, черт вас дери! – крикнул Володыевский. – А если вы не хотите, то пусть он взрывает и себя, и вас.

Бутрымы замолчали, а минуту спустя один из них сказал:

– Пусть будет по-вашему.

– А что, – спросил насмешливо Кмициц, – лапотники согласны?

– И поклянутся на мечях, если угодно.

– Пусть поклянутся.

– Ко мне, Панове, ко мне! – крикнул Володыевский шляхте, стоявшей под стенами дома.

Через несколько минут все собрались у входной двери, и весть, что Кмициц хочет взорвать дом, так их ошеломила, что они как будто окаменели и не могли произнести ни слова; вдруг среди этой гробовой тишины раздался голос Володыевского:

– Всех вас, панове, беру в свидетели, что я вызвал оршанского хорунжего пана Кмицица на поединок с условием, что если он одолеет меня, то может беспрепятственно уехать отсюда, в чем вы поклянетесь на рукоятках сабель всемогущим Богом и святым его Евангелием.

– Погодите, – крикнул Кмициц, – уеду беспрепятственно со всеми людьми и панной.

– Панна останется, а люди пойдут в плен к шляхте.

– На это я не согласен.

– Ну так взрывай дом! Панну мы уже оплакали, а что касается людей, то спросите их, что они предпочитают.

Снова наступила тишина.

– Пусть и так будет, – сказал наконец Кмициц. – Не удалось похитить ее сегодня, удастся – в другой раз. Вы ее даже и под землей от меня не скроете. Клянитесь!

– Клянитесь! – повторил Володыевский.

– Клянемся всемогущим Богом и святым его Евангелием. Аминь.

– Выходите же наконец! – сказал Володыевский.

– Вы торопитесь на тот свет?

– Хорошо, хорошо, только скорей.

Лязгнули железные болты, подпиравшие двери изнутри.

Пан Володыевский отодвинулся, а за ним и вся шляхта, чтобы очистить место. Дверь тотчас отворилась, и в ней показался пан Андрей высокий, стройный, как тополь. На дворе уже светало, и первые бледные лучи дня упали на его молодое, воинственное, гордое лицо. Остановившись в дверях, он смело взглянул на шляхту и сказал:

– Я верю вам, ваць-панове. Бог знает, хорошо ли я делаю, но не в этом дело. Который тут пан Володыевский?

Маленький полковник выступил вперед.

– Я, – ответил он.

– Хо-хо, а вы таки непохожи на великана, – сказал Кмициц, намекая на рост рыцаря, – я думал, что вы подороднее, а все ж видно, что вы опытный солдат.

– О вас я этого не скажу, ваць-пане: вы даже забыли расставить стражу. Если вы и деретесь так, то мне недолго придется трудиться.

– Где станем? – быстро спросил Кмициц.

– Здесь... двор гладок, как стол.

– Согласен, приготовьтесь к смерти.

– Вы так уверены, ваць-пане?

– Видно, вы в Оршанском не бывали, если в этом сомневаетесь. Я не только уверен, но мне жаль даже вас, пане: о вас я наслышан как о славном солдате. Потому я в последний раз говорю: оставьте меня в покое. Мы не знаем друг друга, к чему нам друг другу мешать? Чего вы от меня хотите? Девушка принадлежит мне по завещанию, как и имение, и Бог свидетель, что я только отстаиваю свое право. Правда, что я изрубил шляхту в Волмонтовичах, но Бог рассудит, кто кого раньше обидел. Были мои офицеры сорванцами или не были, это все равно, довольно того, что они здесь никому не сделали зла, а их перерезали всех до одного, как собак, из-за того, что они хотели потанцевать в корчме с девушками. Пусть же будет кровь за кровь. Потом еще перебили солдат. Клянусь Богом, что я ехал сюда не с дурными намерениями, а как меня приняли? Но пусть же будет обида за обиду. А убытки я вознагражу, еще своего прибавлю... по-соседски... Лучше так, чем иначе...

– А что за люди пришли теперь с ваць-паном? Откуда вы взяли таких помощников? – спросил Володыевский.

– Откуда взял, откуда взял! Я их привел не против отчизны, а ради своего личного дела.

– Так вот как? Ради личного дела вы соединились с неприятелем... А чем же заплатите за эту услугу, как не изменой? Нет, братец, я не мешал бы тебе поладить со шляхтой, но звать неприятеля на помощь – это другое дело. Теперь пустяками не отделаешься. Становись-ка, становись, я знаю, что трусишь, хотя и выдаешь себя за оршанского рубаку.

– Ты сам хочешь, – сказал Кмициц, становясь в позицию.

Но пан Володыевский не спешил и, не вынимая еще сабли, посмотрел на небо. Уже светало. Золотисто-голубая лента опоясала восток, но на дворе было еще довольно темно, особенно перед домом, там царил совершенный мрак.

– Хорошо начинается день, – сказал Володыевский, – но солнце взойдет еще не скоро. Может быть, вы хотите, чтобы нам принесли огонь?

– Мне все равно.

– Мосци-панове, – обратился Володыевский к шляхте, – сбегайте-ка за лучинами и факелами, нам будет светлее плясать этот оршанский танец.

Шляхта, которую очень ободрил шутливый тон полковника, живо побежала на кухню; некоторые стали собирать брошенные во время битвы факелы, и через несколько минут в бледном утреннем полумраке засверкало около пятидесяти огней. Пан Володыевский указал на них саблей Кмицицу.

– Смотрите, ваша милость, – настоящие похороны. А Кмициц ответил сразу:

– Полковника хоронят, без почестей нельзя...

– Ишь как кусается!

Между тем шляхта молча окружила рыцарей, все подняли вверх зажженные лучины, дальше разместились любопытные; посредине стали противники и смерили друг друга глазами. Наступила страшная тишина, и только угольки с обгорелых лучин падали с шипением на снег. Пан Володыевский был весел, как щегленок в погожее утро.

– Начинайте, – сказал Кмициц.

Первый звон сабель отозвался эхом в сердцах всех зрителей. Пан Володыевский взмахнул как бы нехотя. Кмициц отбил удар и тоже ударил. Володыевский снова отбил. Сухой лязг слышался все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с бешенством, пан Володыевский заложил левую руку за спину и стоял спокойно, делая небрежные, почти незаметные движения рукой; казалось, что он хочет только защитить себя и вместе с тем щадит противника; порой он отступал на шаг, порою делал шаг вперед, – он, видно, изучал искусство Кмицица. Тот волновался, этот был холоден, как учитель, который испытывает ученика, и становился все спокойнее; наконец, к величайшему изумлению шляхты, он заговорил:

– Поболтаем, чтобы не было скучно. Ага, это оршанские приемы; видно, вы там сами горох молотите, размахиваете саблей, как цепом. Ну и устанете вы. Неужели вы лучший рубака

в Оршанском?.. Такой удар только у писарей в моде... Это курляндский... им хорошо от собак отмахиваться. Присматривайте за концом сабли. Не выгибайте так ладони, не то смотрите, что может случиться... Поднимите...

Последние слова Володыевский произнес отчетливо, и в то же время, описав дугу, он притянул саблю к себе и прежде, чем присутствующие могли понять, что значит «поднимите», сабля Кмицица, как выдернутая из нитки игла, сверкнула над головой Володыевского и упала за его спиной, а он сказал:

– Это называется вышибать саблю!

Кмициц стоял бледный, с блуждающими глазами, пораженный не менее ляуданской шляхты; а маленький полковник отошел в сторону и, указывая на лежащую на земле саблю, повторил:

– Поднимите!

Была минута, когда казалось, что Кмициц бросится на него.

Он уже готовился сделать прыжок, но Володыевский, прижав к груди рукоятку, вытянул вперед острие; Кмициц схватил саблю и бросился на страшного противника.

Среди шляхты послышался громкий шепот, круг суживался все более и более, за ним образовался второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между головами шляхты, точно жили с ними всегда в вечной дружбе. Невольные крики восторга и удивления срывались с уст зрителей; порой раздавался неудержимый взрыв нервного хохота, все узнали мастера своего дела.

А тот играл со своим противником, как кот с мышью, и делал все более небрежные движения саблей; левую руку засунул в карман штанов. Кмициц метался, скрежетал зубами, наконец, сквозь стиснутые зубы у него вырвались хриплые слова:

– Кончайте... пане... Спасите от позора...

– Хорошо, – ответил Володыевский.

Послышался короткий, страшный свист, потом сдавленный крик... Кмициц распростер руки, сабля упала на землю... и он рухнул лицом вниз, к ногам полковника.

– Жив, – сказал Володыевский, – не на спину упал.

Шляхта зашумела, и в этих криках все чаще слышалось:

– Добить изменника... Добить... Зарубить...

И несколько Бутрымов бросились с обнаженными саблями. Вдруг произошло что-то необыкновенное; казалось, будто маленький полковник вырос на глазах, сабля одного из Бутрымов вылетела у него из рук, точно подхваченная ветром, а Володыевский крикнул со сверкающими глазами:

– Не трогать! Прочь!.. Теперь он мой, а не ваш... Прочь!..

Все умолкли, боясь гнева этого человека, а он сказал:

– Я резни не допущу... Как шляхта, вы должны знать рыцарский обычай – лежачего не бьют. Так не поступают даже с неприятелем, а тем более с противником, побежденным на поединке.

– Он – изменник! – пробормотал один из Бутрымов. – Такого надо бить.

– Если он изменник, то должен быть отдан в руки пана гетмана и будет наказан по заслугам. Наконец, я вам сказал, он теперь мой, а не ваш. Если он останется жив, то вы можете требовать с него судом вознаграждения за убытки и обиды. Кто из вас умеет перевязывать раны?

– Христофор Домашевич. Он с давних пор всех лечит.

– Пусть он сейчас же сделает перевязку, потом вы перенесете его на постель, а я пойду успокоить несчастную панну.

И Володыевский, сунув саблю в ножны, вошел через изрубленную дверь в дом. Шляхта начала ловить и вязать казаков, которые с сегодняшнего дня должны были пахать у них землю. Они даже не сопротивлялись; лишь несколько человек выскочили в противоположные окна

дома, но и те попали в руки карауливших там Стакьянов. Вместе с тем шляхта принялась грабить нагруженные телеги, на которых было немало всякого добра, некоторые советовали разграбить и дом, но боялись Володыевского, а может быть, и присутствие панны Александры Билевич заставило их отказаться от этой мысли. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, положили на возы, чтобы похоронить по христианскому обряду, а для казаков велели вырыть одну большую могилу за садом.

Володыевский искал девушку по всему дому и наконец нашел ее в кладовой, куда вела маленькая дверь из спальни. Это была небольшая квадратная комната с узкими решетчатыми окнами и такими толстыми стенами, что если б Кмициц и взорвал дом, то эта комната, без сомнения, уцелела бы. Это заставило его быть лучшего мнения о Кмицице. Панна сидела на сундуке, недалеко от двери, опустив голову, с лицом, почти совсем закрытым волосами. Услышав шаги рыцаря, она не пошевелилась, – должно быть, думала, что это Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыевский остановился в дверях, снял шапку, откашлялся раз, другой, но, видя, что это не помогает, произнес:

– Вы свободны, ваць-панна!

Тогда из-под волос на него взглянули синие глаза, а затем поднялось и чудное, хоть очень бледное и точно безумное, лицо. Володыевский ожидал благодарности и проявления радости, но вместо этого девушка оставалась неподвижной и смотрела на него блуждающими глазами, и рыцарь сказал снова:

– Опомнитесь, ваць-панна, Бог сжалился над вами! Вы свободны и можете возвращаться в Водокты.

На этот раз взгляд панны Билевич был более сознательным. Встав с сундука, она откинула назад волосы и спросила:

– Кто вы, ваць-пане?..

– Михал Володыевский, драгунский полковник виленского воеводы.

– Я слышала звуки битвы... выстрелы... Скажите...

– Да. Это мы пришли на помощь ваць-панне.

Девушка совсем пришла в себя.

– Благодарю вас, – ответила она тихим голосом, в котором слышалась тревога. – А что с тем случилось?

– С Кмицицем? Не беспокойтесь, ваць-панна, лежит без дыхания на дворе... Это, не хвастаясь, сделал я.

Володыевский произнес это с оттенком самодовольства, но если ожидал удивления, то сильно ошибся. Девушка не ответила ни слова, пошатнулась слегка и стала искать руками опоры, наконец, опустилась на тот же сундук, с которого только что поднялась. Рыцарь быстро подбежал к ней:

– Что с вами, ваць-панна?

– Ничего, ничего... Погодите... позвольте... Пан Кмициц убит?

– Что мне Кмициц! – перебил ее Володыевский. – Тут все дело в вас.

Вдруг силы ее вернулись, она опять встала и, взглянув ему прямо в глаза, крикнула с гневом, нетерпением и отчаянием:

– Ради бога, отвечайте: он убит?

– Пан Кмициц ранен, – ответил Володыевский с изумлением.

– Жив?

– Жив!

– Хорошо! Благодарю вас...

И, все еще шатаясь, она пошла к дверям. Володыевский простоял с минуту, шевеля усиками и качая головой, наконец пробормотал:

– Благодарила ли она меня за то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив? И пошел вслед за нею. Она стояла посреди спальни, как в оцепенении.

В эту минуту четыре шляхтича внесли Кмицица. Двое передних, шедших боком, показались в дверях, а между их рук свешивалось бледное лицо пана Андрея с закрытыми глазами и с запекшейся черной кровью в волосах.

– Осторожнее, – говорил шедший за ними Христофор Домашевич, – осторожнее через порог! Пусть кто-нибудь поддержит голову. Осторожнее!

– А как же мы будем держать, если у нас руки заняты? – ответили шедшие впереди.

В эту минуту к ним подошла панна Александра, такая же бледная, как Кмициц, и положила обе руки под его безжизненную голову.

– Это паненка! – сказал Домашевич.

– Я... осторожнее... – ответила она чуть слышно.

Пан Володыевский смотрел на нее и усиленно шевелил усиками. Между тем Кмицица уложили в постель. Домашевич стал обмывать ему голову водой и, приложив к ране приготовленный пластырь, сказал:

– Теперь пусть он только лежит спокойно. Эх, железная, должно быть, у него голова, если от такого удара не раскололась надвое! Может, и выздоровеет, молод! Ну и досталось ему!

Потом обратился к Оленьке:

– Дайте, панна, я вам вымою руки. Вот вода! Доброе у вас сердце, если вы для такого человека не побоялись запачкать руки в крови.

Он вытирал ей руки, а она так страшно побледнела, что Володыевский снова подбежал к ней:

– Вам здесь нечего более делать, ваць-панна. Вы проявили христианское милосердие к врагу, а теперь возвращайтесь домой.

И он предложил ей руку; но она даже не взглянула на него, а, обратившись к Домашевичу, сказала:

– Пане Христофор, проводите меня!

И они вышли, за ними пошел и Володыевский. На дворе шляхта стала восторженно ее приветствовать, а она шла бледная, шатаясь, со сжатыми губами и сверкающими глазами.

– Да здравствует наша панна, да здравствует наш полковник! – раздавалось со всех сторон.

Час спустя Володыевский, во главе ляуданцев, возвращался домой. Солнце уже взошло. Утро было радостное, настоящее весеннее утро. Ляуданцы в беспорядке рассыпались по дороге, болтая о событиях прошлой ночи и восхваляя до небес Володыевского, но он ехал задумчивый и молчаливый. Из головы у него не выходили эти глаза, глядевшие на него из-под спадавших на лоб волос, не выходила ее стройная и величавая, хоть и согбенная горем и страданием фигура.

– Чудо как хороша! – бормотал он. – Настоящая княжна! Гм... я спас ее честь, а может быть, и жизнь: ведь если б дом и уцелел, она могла бы умереть от одного страха. Она должна мне быть благодарна... Но кто поймет женщину... Смотрела на меня, как на слугу; не знаю, от гордости ли это или от смущения.

VIII

Эти мысли не давали ему спать и всю следующую ночь. Прошло несколько дней, а он все не переставал думать о панне Александре и наконец понял, что она слишком глубоко запала ему в сердце. Ведь ляуданская шляхта хотела его женить на ней. Правда, она ему наотрез отказала, но ведь тогда она еще не видела его и не знала. Теперь другое дело. Он, как истый рыцарь, вырвал ее из рук насильника, подвергая опасности свою жизнь; просто взял ее с бою, как крепость. Кому же она принадлежит, как не ему? Может ли она в чем-нибудь отказать ему? Хотя бы даже в руке? А что, если попробовать? А что, если благодарность превратилась в другое чувство? Часто бывает, что спасенная девушка отдает руку и сердце своему спасителю. Если, наконец, она и не питает еще к нему такого чувства, ему тем более следует этого добиваться.

«А если она не забыла еще того и любит?»

– Не может быть! – повторял Володыевский. – Если бы она его не прогнала от себя, зачем же было ее похищать?

Правда, она проявила по отношению к нему необыкновенное сострадание, но женщины всегда жалеют раненых, даже врагов.

Она молода, некому о ней позаботиться, да и замуж ей пора. В монастырь, видно, она не собирается, не то давно могла уйти. Времени было достаточно. Такую красивую панну всегда будут атаковать разные поклонники: одни ради ее богатства, другие из-за красоты или высокого происхождения. Ей приятно будет иметь защитника, которого она видела уже в деле!

«Да и тебе пора остепениться, Михал! – говорил про себя Володыевский. – Ты еще молод, но годы идут. Богатства ты не наживешь, разве только получишь больше ран на шкуре. А всем шалостям пора положить конец».

Тут перед глазами Володыевского встал целый ряд девушек, по которым он вздыхал в своей жизни. Были между ними и красивые, и высокого рода, но красивее и милее ее не было. Ведь эту девушку и ее род славят по всей окрестности. Дай Бог всякому такую жену.

Володыевский чувствовал, что в руки к нему само идет счастье, какое в другой раз может и не встретиться, особенно раз он оказал девушке такую необыкновенную услугу.

«Что тут откладывать? – говорил он про себя. – Чего я дождусь? Надо действовать!»

Но ведь война на носу! Рука здорова. Стыдно рыцарю думать о любви, когда отчизна простирает руки и молит о спасении. Володыевский был честный солдат и, хотя чуть не с детских лет служил в военной службе и участвовал во всех тогдашних войнах, знал, чем он обязан родине, и об отдыхе не думал.

Но именно потому, что он служил родине не из-за каких-нибудь расчетов или выгод, а из преданности, и в этом отношении у него была чистая совесть, он знал себе цену, и это ободряло его.

«Другие бездельничали, а я дрался с врагами! – думал он. – Бог вознаградит солдата и поможет ему».

Наконец он решил, что если теперь некогда ухаживать, то нужно спешить ехать, сделать предложение, а потом или обвенчаться, или остаться с носом.

– Я уж не раз оставался с носом, останусь и теперь! – бормотал Володы – евский, шевеля желтыми усиками.

Но была одна сторона в этом быстром решении, которая ему не совсем нравилась. Не будет ли его предложение, тотчас же после оказанной им услуги, похоже на назойливость кредитора, который хочет как можно скорее получить свой долг с процентами.

«Может быть, это будет не по-рыцарски?»

Но за что же тогда требовать благодарности, если не за услуги? А если такая поспешность будет ей не по сердцу, ей можно сказать: «Мосци-панна, я бы охотно целый год ездил к вам и смотрел бы в ваши чудные глаза, но я солдат, и долг мой зовет меня на войну!»

«Неприменно поеду!» – говорил себе Володыевский.

Но минуту спустя ему пришло в голову другое. А вдруг она скажет: «Ну так идите на войну, пан солдат, а когда она кончится – ездите целый год и смотрите мне в глаза, потому что я незнакомому человеку не отдам ни души, ни тела».

Тогда все пропало!

Что все пропадет, Володыевский знал прекрасно, потому что, уж не говоря о девушке, которую за это время может у него отнять кто-нибудь другой, он не был уверен и в своем постоянстве. Совесть подсказывала ему, что чувство в нем загоралось так же быстро, как солома, но так же, как солома, оно и гасло.

Тогда все пропало! Тогда уж скитайся опять, солдат, из лагеря в лагерь, из битвы в битву, без родного крова, без близкого человека!

В конце концов он и сам не знал, на что решиться.

Ему стало тесно и душно в пацунельском домике, он взял шапку и пошел подышать весенним солнечным воздухом. На пороге он наткнулся на одного из пленных казаков Кмицица, который по разделу достался Пакошу. Он сидел на пороге и брэнчал на бандуре.

– Что здесь делаешь? – спросил Володыевский.

– Граю, пане, – ответил казак, поднимая исхудалое лицо.

– Откуда ты? – продолжал спрашивать пан Михал, обрадовавшись, что может хоть на минуту прервать свои размышления.

– Издалека, пане, из-под Вягла.

– Отчего ж ты не убежал, как остальные твои товарищи? О, чертовы дети! Вам шляхта даровала жизнь в Любиче, думая, что вы будете на нее работать, а вы удрали, как только вас выпустили на свободу.

– Я не удеру! Я здесь издохну, как собака.

– Так тебе здесь понравилось?

– Кому в поле лучше, тот удрал, а мне тут лучше. У меня была нога прострелена, а тут шляхтянка, дочь старика, перевязала ее, да еще ласковое слово молвила. Такой красавицы я еще никогда не видывал. Зачем мне уходить?

– Которая тебе так приглянулась?

– Марыся.

– И ты тут останешься?

– Если издохну, так вынесут, а нет, так останусь.

– Надеешься выслужить у Пакоша дочь?

– Не знаю, пане.

– Скорее он такого голыша убьет, чем отдаст за него дочь.

– У меня червонцы зарыты в лесу, две горсти.

– Награбил?

– Награбил, пане.

– Будь у тебя хоть гарнец, все ж ты – мужик, а Пакош – шляхтич.

– Я из боярских детей.

– Если ты из боярских детей, так это еще хуже, ты, значит, изменник. Как же ты мог служить неприятелю?

– Я ему и не служил.

– А откуда вас Кмициц взял?

– С большой дороги. Я у гетмана польного служил, потом полк разбрелся, нечего было есть. Домой мне незачем было возвращаться, сожгли его. Люди пошли на большую дорогу грабить, и я с ними пошел.

Пан Володыевский очень удивился – до сих пор он думал, что Кмициц ворвался в Водокты с силами, взятыми у неприятеля.

– Значит, пан Кмициц взял вас не у Трубецкого?

– Было между нами много таких, что раньше служили у Трубецкого и у Хованского, но тоже сбежали от них на большую дорогу.

– А почему вы за паном Кмицицем пошли?

– Он славный атаман. Нам говорили, что кого он только кликнет, тот за ним и пойдет, точно он ему мешок золота насыпал. И мы пошли! Да не посчастливилось.

Пан Володыевский покачал головой и подумал, что слишком уж очернили Кмицица: потом взглянул на исхудалого боярского сына и опять покачал головой.

– Так ты ее любишь?

– Да, пане.

Володыевский отошел и подумал, уходя: «Вот решительный человек, он долго не раздумывает, полюбил и остается. Так всего лучше! Если он в самом деле из боярских детей, то это ведь то же самое, что шляхта. Как откопает свои червонцы, может, старик и отдаст ему дочь. А почему? Потому, что он решил добиться своего. Буду добиваться и я!»

С такими мыслями Володыевский шел по дороге; порой он останавливался и то опускал глаза в землю, то смотрел на небо; вдруг увидел стаю диких уток и по ним стал гадать: ехать или не ехать? Вышло – ехать!

– Поеду, не может иначе быть.

Сказав это, он повернул к дому, но по дороге зашел в конюшню, перед которой два его конюха играли в кости.

– Сыруц, – спросил Володыевский, – заплетена грива у Басёра?

– Заплетена, пане полковник.

Пан Володыевский вошел в конюшню; лошадь, услышав его шаги, радостно заржала; он подошел к ней и похлопал ее по шее, а потом стал считать косички и опять загадал:

– Ехать... не ехать... ехать... Вышло опять – ехать.

– Седлать лошадей и самим одеться получше! – скомандовал Володыевский.

Затем быстро пошел к дому и стал наряжаться. Надел высокие желтые сапоги с золочеными шпорами и новый красный мундир, а к поясу привесил рапиру в стальных ножнах, с золотым эфесом, верхнюю часть груди покрывал стальной полупанцирь; была у него и рысья шапка с пером, но она не подходила к остальному костюму, и он предпочел надеть шведский шлем и вышел на крыльцо.

– Куда это вы едете, ваша милость? – спросил его старый Пакош, сидевший на завалинке.

– Куда еду? Да вот надо проведать вашу панну и о здоровье спросить ее, а то она меня невежей сочтет.

– Ваша милость так и горит! Нужно панне слепой быть, чтобы сразу не влюбиться.

В это время подошли две младшие дочери Пакоша. Каждая из них держала в руках подойник с молоком; увидев Володыевского, они остановились как вкопанные.

– Король – не король... – сказала Зося.

– Вы нарядились как на свадьбу! – прибавила Марыся.

– Может, и будет скоро свадьба, – пошутил Пакош, – пан полковник едет к нашей панне.

Едва старик сказал это, как из рук Марыси выпал подойник, и молочный ручей побежал к ногам Володыевского.

– Смотри, что держишь! – крикнул старик. – Вот коза!

Марыся ничего не ответила и, подняв подойник, тихо ушла.

Пан Володыевский вскочил на лошадь, а за ним его двое слуг, и все втроем поехали в Водокты. День был прекрасный. Майское солнце весело играло на блестящем нагруднике и шлеме Володыевского, так что издали, из-за деревьев, казалось, будто по дороге движется другое солнце.

– Интересно знать, вернусь ли я с обручальным кольцом или с носом? – пробормотал про себя рыцарь.

– Что прикажете, ваша милость? – спросил Сыруц.

– Дурак!

Слуга осадил лошадь, а Володыевский продолжал:

– Счастье, что для меня это не новость. Эта мысль ободрила его.

Когда он приехал в Водокты, панна Александра сразу не узнала его, так что он должен был назвать себя. Тогда она приняла его очень любезно, но с некоторою принужденностью; он, почтительно поклонившись, положил руку на сердце и проговорил:

– Я приехал узнать о вашем здоровье, ваць-панна, что мне следовало сделать на другой же день после того происшествия, но я не осмелился вас беспокоить.

– Это очень любезно со стороны ваць-пана, что, избавив меня от столь великой опасности, вы все-таки не забыли меня. Садитесь, прошу, будьте Дорогим гостем.

– Мосци-панна, – ответил Володыевский, – если бы я вас забыл, то недостоин был бы великой милости, ниспосланной мне Богом, – приветствовать столь прекрасную особу.

– Нет, это я должна прежде всего благодарить Бога, а потом – вас.

– Если так, то возблагодарим его оба, ибо я ни о чем его более не прошу, как лишь о том, чтобы и на будущее время мог защищать вас всегда, когда в этом будет нужда.

Сказав это, пан Володыевский пошевелинул от удовольствия своими нафабранными усами. Он был доволен, что сразу выложил на стол свое чувство, а она сидела, смущенная и молчаливая, но прекрасная, как весенний день. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза были прикрыты длинными ресницами.

«Это смущение – хороший знак», – подумал Володыевский и, откашлявшись, продолжал:

– Ваць-панне известно, что после смерти вашего дедушки я командовал ляуданской шляхтой?

– Я это знаю, – ответила молодая девушка, – покойный дедушка не мог сам участвовать в последней войне и был очень рад, узнав, кому князь, воевода виленский, передал команду. Он говорил, что знает вас как опытного и славного солдата.

– Он говорил так обо мне?

– Я сама слышала, как он перевозносил вас до небес, то же делала и шляхта после похода.

– Я простой солдат и недостоин не только того, чтобы меня перевозносили до небес, но даже ставили выше других. Но я очень рад, что не совсем неведом вам. Вы не подумаете теперь, что ваш гость прямо с неба свалился. Всегда приятнее знать, с кем имеешь дело. По свету шатается немало людей, которые причисляют себя к знатным родам, а на самом деле они бог весть кто, и часто даже не шляхтичи.

Пан Володыевский умышленно перевел разговор на эту тему, чтобы иметь возможность сказать о своем происхождении, но Оленька перебила его:

– Ваць-пана в этом никто не может заподозрить, ибо и здесь, на Литве, есть шляхта того же племени.

– Но у них герб «Оссория», а я Корчак-Володыевский. Мы родом из Венгрии и ведем свое начало от некоего дворянина Атиллы, который, будучи преследуем неприятелем, дал обет Пресвятой Деве, что если благополучно уйдет от неприятеля, то примет католичество. Этот обет он и исполнил, переплыв через три реки, те самые, которые мы носим в нашем гербе.

– Значит, вы не здешний родом?

– Нет, мосци-панна, из Украины, из русских Володыевских, где и до сих пор у меня есть деревушка, которую теперь занял неприятель. Но я с молодых лет служу в войске и больше забочусь о достоянии отчизны, нежели о своем собственном. Я служил под знаменами русского воеводы, незабвенного князя Еремии, с коим участвовал во всех войнах. Был я и под Махновкой, и под Константиновом, и выдержал збаражский голод. Бог свидетель, что я приехал к вам не хвастать своими доблестями, но говорю это только для того, чтобы вы знали, ваць-панна, что я не лежебок какой-нибудь, щадящий свою кровь, но что вся жизнь моя прошла в честном служении отчизне, где я стяжал и кое-какую славу, не запятнав совести. Клянусь Богом, я не лгу! Об этом, впрочем, могут засвидетельствовать и другие.

– Если бы все были на вас похожи! – сказала со вздохом молодая девушка.

– Ваць-панна, верно, вспомнила того насильника, который осмелился поднять на вас руку?

Панна Александра опустила глаза и не ответила ни слова.

– Поделом ему! – продолжал Володыевский. – Хоть мне и говорили, что он выживет, но кары ему не миновать. Все честные люди его осудили, и даже слишком, ибо он и не сносился с неприятелем. Все, кто были с ним, взяты с большой дороги, а не от неприятеля.

– Откуда вы это знаете? – спросила с живостью панна, поднимая на Володыевского свои чудные глаза.

– От его же людей. Станный человек этот Кмициц! Когда я перед поединком упрекнул его в измене, он не стал оправдываться, хотя я и упрекнул его несправедливо. Должно быть, у него чертовская гордость!

– И вы всем говорите, что он не изменник?

– Не говорил, потому что сам не знал, но теперь буду говорить. Ведь негоже взводить такое обвинение даже на врага.

Глаза панны Александры во второй раз остановились на Володыевском с симпатией и благодарностью.

– Вы такой прекрасный человек, ваць-пане, как редко бывает!

Володыевский от удовольствия зашевелил усиками. «Ну, к делу, пан Михал!» – мелькнуло у него в голове, и он продолжал:

– Скажу более! Я не хвалю способ Кмицица, но не удивляюсь, что он так добивался руки ваць-панны, ибо сама Венера едва достойна прислуживать вам! Это отчаяние толкнуло его на такой поступок и, несомненно, толкнет снова, если представится случай. Как же вы, при такой необычайной красоте, останетесь одна, без защитника? Ведь таких Кмипицев много на свете, и ваша добродетель может не раз подвергнуться опасности. Бог явил мне милость и позволил вас защитить, но вот уже меня зовут военные трубы. Кто же о вас будет заботиться? Мосци-панна, нас, военных, обвиняют в легкомыслии, но это несправедливо! И у меня сердце не из камня, и оно не могло остаться равнодушно к таким прелестям...

И пан Володыевский упал перед нею на колени.

– Мосци-панна! Я наследовал полк вашего дедушки, позвольте мне унаследовать и его внучку! Поручите мне опеку над собою, дайте вкусить сладость взаимного чувства, позвольте мне быть вашим опекуном, и вы будете спокойны. Ибо, хотя я и уйду на войну, вас будет охранять одно мое имя.

Панна вскочила со стула и с изумлением слушала Володыевского, который продолжал:

– Я бедный солдат, но шляхтич и честный человек. Клянусь вам, что ни на моем щите, ни на моей совести вы не найдете ни единого пятна. Быть может, я согрешил своей поспешностью, но поймите, что меня зовет отчизна, а от нее я не отрекусь даже ради вас. Неужели вы не утешите меня? Не ободрите? Не скажете доброго слова?

– Вы требуете от меня невозможного, ваць-пане! – ответила со страхом Оленька. – Это невозможно!

- Это зависит от вашей воли.
- Потому-то я вам прямо говорю: нет! Тут панна нахмурила брови.
- Мосци-пане, я многим вам обязана и готова вам отдать все, кроме руки.

Пан Володыевский поднялся.

- Вы не хотите быть моею, ваць-панна?
- Не могу!
- И это ваше последнее слово?
- Последнее и неизменное!
- А может быть, вам не нравится только поспешность моя? Дайте мне хоть надежду!
- Не могу, не могу...

– Значит, мне нет счастья, как не было его нигде... Мосци-панна, не предлагайте мне уплаты за услугу, я не за ней приехал, а если я просил руки, то не как уплаты, а по доброй воле. Если бы вы сказали мне, что отдаете ее, потому что должны отдать, я бы ее не принял. Насильно мил не будешь! Вы пренебрегаете мной – дай вам Бог найти лучшего. Я выхожу из этого дома, как и пришел, и только... Больше я не вернусь! Меня здесь считают ничем! Пусть будет так. Будьте же счастливы, хотя бы с этим самым Кмицицем. Если он лучше, то вы, конечно, не для меня.

Оленька схватилась руками за голову и несколько раз повторила:

- Боже! Боже! Боже!

Но ее страдание не смягчило пана Володыевского, и, раскланявшись, он вышел из комнаты злой и гневный, затем вскочил на лошадь и уехал.

- Ноги моей здесь больше не будет! – произнес он громко.

Сыруц, ехавший позади, подъехал и спросил:

- Что изволите говорить, ваша милость?
- Дурак! – ответил пан Володыевский.
- Это вы мне уж изволили сказать, когда мы ехали в Водокты.

Настало молчание, а затем пан Михал снова забормотал:

– Мне отплатили неблагодарностью. На чувство ответили презрением. Видно, придется умереть холостяком. Так уж на роду написано. Что ни попытка, то отказ... Нет на этом свете справедливости. Что она имеет против меня?

Тут пан Володыевский нахмурился, потом вдруг хлопнул себя рукой по колену.

- Теперь знаю, – крикнул он, – она любит еще того, иначе и быть не может!

Но это не обрадовало его.

– Тем хуже для меня, – прибавил он после минутного молчания. – Если она после всего, что произошло, любит его, то и не перестанет любить. Самое плохое, что он мог сделать, он уже сделал. Он пойдет на войну, прославится, исправит свою репутацию... И в этом ему нельзя мешать, а даже помочь надо, ибо это отчизне на пользу. Правда, он прекрасный солдат... Но чем он ее так взял? Кто угадает? Впрочем, бывают такие счастливцы, что как только взглянут на женщину, она уж готова за ними в огонь и воду. Если бы знать, как это делается, или достать какой-нибудь талисман, – может быть, что-нибудь и вышло бы. Заслугами женщину не прельстишь. Правду сказал Заглоба, что женщина и гусеница самые неверные создания. Но жаль, что все пропало! А уж как она красива, притом и добродетельна, говорят... А и горда, должно быть, как дьявол! Кто знает, пойдет ли она за него, хотя и любит: слишком он ее оскорбил. Она готова совсем отказаться и от замужества, и от детей. Мне тяжело, да и ей, бедняжке, может быть, еще тяжелее.

Тут пан Володыевский расчувствовался над долей Оленьки и закачал головой.

– Пусть Бог ей поможет! Я на нее не в обиде. Это ведь не первый отказ! Бедняжка едва дышит от забот, а я ее еще попрекнул этим Кмицицем. Этого не следовало делать, и нужно во

что бы то ни стало это исправить. Я поступил, как грубиян! Напишу сначала письмо с извинением, а потом буду помогать, по мере сил.

Дальнейшие размышления Володыевского прервал подъехавший к нему Сыруц.

– Ваша милость, там, на горе, пан Харламп едет, а с ним еще кто-то.

– Где?

– Да вон там.

– Правда, два всадника... но ведь пан Харламп остался при князе-воеводе виленском. А как ты его издала узнал?

– Я по его буланке. Ведь ее все войско знает.

– Действительно, и я буланку вижу!.. А может, это кто-нибудь другой.

– Я и ход ее знаю. Это, наверно, пан Харламп.

Они прищпорили лошадей, ехавшие им навстречу сделали то же, и вскоре Володыевский убедился, что это был действительно пан Харламп, поручик пятигорского полка и старый знакомый Володыевского, прекрасный солдат. Когда-то они часто ссорились между собою, но, служа вместе, полюбили друг друга; Володыевский подъехал к нему с распростертыми объятиями и воскликнул:

– Как живешь, Носач? Откуда ты взялся?

Товарищ, который благодаря своему огромному носу действительно заслуживал название Носача, бросился в объятия полковника и после радостных приветствий сказал:

– Я приехал к тебе нарочным, с поручением и деньгами.

– С поручением и деньгами? От кого же?

– От князя-воеводы виленского, нашего гетмана. Он прислал тебе письмо и приказ набирать полк; второе письмо пану Кмицицу, который находится где-то в этих краях.

– Пану Кмицицу? Как же мы вместе будем набирать в одной и той же местности?

– Он должен ехать в Троки, а ты останешься здесь.

– От кого ты узнал, где меня искать?

– Гетман сам спрашивал о тебе, и ему здешние люди, которые у него еще служат, сказали, где тебя искать, и я ехал наверняка. Ты пользуешься большим расположением князя. Я сам слышал, как он сказал, что не рассчитывал получить от русского воеводы никакого наследства, между тем как получил лучшего рыцаря.

– Пусть Бог ему поможет унаследовать и военное счастье! Великая честь для меня – такое поручение, и я тотчас же примусь за дело. В людях здесь не будет недостатка, были бы лишь средства их на ноги поставить. А денег много ты привез?

– Как приедешь к Пацунелям, так и сосчитаешь.

– Так ты и у Пацунелей побывал? Берегись, там красивых девушек – что маку в огороде.

– Потому-то ты и гостишь здесь, но постой, у меня есть к тебе еще и частное письмо от гетмана.

– Давай.

Поручик вынул из кармана письмо, с малой радзивилловской печатью, вскрыл его и начал читать.

«Мосци-пане полковник Володыевский!

Зная искреннее желание ваше служить отчизне, посылаю вам это письмо и поручаю собрать войско, но не так, как это делается обычно, а с величайшей поспешностью, ибо медлить опасно. Если хотите нас порадовать, то пусть полк будет готов в июле, а самое позднее – в половине августа. Нас больше всего беспокоит, откуда вы возьмете хороших лошадей, тем более что и денег мы посылаем мало, ибо по-прежнему нерасположенный к нам подскарбий не пожелал дать больше. Половину этих денег отдайте пану Кмицицу, которому пан Харламп тоже везет письмо. Надеемся, что и он нам поможет. Но так

как до слуха нашего дошли вести об его шалостях в Упите, то лучше всего прочтите предназначенное ему письмо и сами решите, можно ли ему его отдать. Если вы найдете, что он совершил поступки, позорящие его, то не отдавайте ему письма; мы опасаемся, как бы враги наши, пан подскарбий и пан воевода витебский⁸, не могли упрекнуть нас, что мы даем такие поручения недостойным людям. Если же вы ничего особенного не найдете, то пусть Кмищиц постарается усердной службой искупить все провинности и не является ни в какие суды, ибо он всецело подлежит нашей гетманской инквизиции, и мы сами будем его судить по окончании войны. Поручение это примите в знак особого нашего к вам доверия, каковое мы питаем к вашему уму и верности.

Януш Радзивилл. Князь на Биржах и Дубинках, воевода виленский».

– Гетман сильно беспокоится насчет лошадей, – сказал Харлам, когда маленький рыцарь окончил чтение письма.

– Да, на этот счет будет трудновато, – ответил Володыевский. – Шляхты явится много по первому же слову, но у них есть только жмудские лошади, а они не особенно годны для службы. Их бы непременно нужно заменить другими.

– Это хорошие лошади и, насколько я слышал, очень выносливые.

– Да, – ответил Володыевский, – но они слишком малы, а здешний народ рослый. Если его посадить на таких лошадей, то полки будут казаться сидящими на собаках. Но я возьмусь тотчас же за дело. Передай мне письмо к Кмищицу, как гетман приказывает, я сам ему отвезу. Письмо это как нельзя более кстати.

– Почему?

– Он тут по-татарски жить начал и девушек в полон брал. У него нет столько волос на голове, сколько тяготеет над ним обвинений. Несколько дней тому назад я дрался с ним на саблях.

– Ну раз на саблях дрались, – сказал Харлам, – значит, он теперь болен.

– Поправляется, через неделю, а много через две и совсем выздоровеет... Ну, что там слышно у вас?

– По-прежнему плохо. Пан подскарбий Госевский постоянно не в ладах с нашим князем, а где гетманы в ссоре, там не может быть порядка. Впрочем, теперь немного тверже стали на ноги, и если так и впредь будет, то авось мы и справимся с неприятелем. Всему виной пан подскарбий.

– А другие говорят, что именно гетман виноват.

– Это говорят изменники. Утверждает это и воевода витебский, который уже давно снюхался с подскарбием.

– Воевода витебский – честный человек.

– Неужели и ты стоишь на стороне Сапеги против Радзивилла?

– Я стою на стороне отчизны, где и все должны стоять. То-то и плохо, что даже и солдаты делятся на партии, вместо того чтобы драться; а что Сапега честный человек, то это я скажу и самому князю, хотя и служу под его начальством.

– Пробовали добрые люди их помирить, – продолжал Харлам, – напрасно. Теперь послы от короля то и дело приезжают к нашему князю... Говорят, что там что-то новое затевается. Мы ожидали всеобщего ополчения во главе с королем, но оно не состоялось; говорят, что оно может понадобиться в другом месте.

– Разве только на Украине.

⁸ Воевода витебский – Павел Ян Сапега.

– Почем я знаю? Поручик Брохович рассказывал то, что слышал своими ушами. Тизенгауз приехал от короля, долго шептался с гетманом, запершись, а потом, когда они выходили, гетман сказал: «Из этого может возникнуть новая война». Все мы после этого терялись в догадках, что могли означать эти слова.

– Должно быть, ослышался. С кем бы теперь могла быть новая война. Император к нам расположен больше, чем к неприятелю, и, конечно, заступится за нас. Со шведом еще не кончился срок перемирия, татары нам помогают на Украине, чего бы, конечно, не сделали помимо желания Турции...

– Мы тоже не могли догадаться.

– Потому что ничего подобного и не было. Но слава богу, что у меня наконец есть дело. Я уже стосковался без войны.

– Так ты сам хочешь передать письмо Кмищицу?

– Да ведь я тебе говорил, что так приказывает гетман. По рыцарскому обычаю, мне следовало давно его навестить, теперь, кстати, есть предлог. Отдам ли я ему письмо, другое дело; об этом я еще подумаю, ибо это предоставлено на мое усмотрение.

– Это мне и на руку, я тороплюсь с третьим письмом к Станкевичу – к нему тоже есть письмо; потом поеду в Кейданы, там нужно забрать пушки; а затем заверну в Биржи, чтобы посмотреть, все ли готово к обороне.

– И в Биржи?

– Да.

– Это меня удивляет. Никаких побед неприятель не одержал, – значит, ему до Бирж, до курляндской границы, далеко. Но раз нам приказано сформировать полки, то думаю, что будет кому защищать и те местности, которые подпали под власть неприятеля. Ведь курляндцы не думают о войне с нами. Это прекрасные солдаты, но их так мало, что и Радзивилл мог бы их придушить одной рукой.

– И меня это удивляет, – ответил Харлам, – тем больше, что и мне приказали спешить и сказали, что если я найду беспорядки, то должен тотчас же донести князю Богуславу, который немедленно же пришлет инженера Петерсона.

– Что бы это могло значить? Как бы только из этого не вышло междоусобной войны. Боже, сохрани нас и помилуй от такого несчастья! Уж где только князь Богуслав вмешается, там черту будет чему радоваться!

– Не осуждай его. Это храбрый пан.

– Я не спорю, но он больше похож на француза или на немца, чем на поляка. До Речи Посполитой ему нет дела, он больше всего заботится о доме Радзивиллов – возвысить его, а всех остальных унижить. Он-то, главным образом, и возбуждает князя – воеводу виленского против Сапег и Госевского.

– Ты, вижу, большой политик; советую тебе, Михал, жениться скорее, чтобы такой ум не пропал даром.

Володыевский пристально взглянул на товарища.

– Жениться?

– Конечно! А может быть, ты уж и сам об этом подумал. Ты нарядился точно на свадьбу.

– Оставь меня в покое.

– Ну, сознайся!

– Нечего тебе в чужие дела нос совать, к тому же не время думать о женитьбе, когда война на носу.

– А справишься ли ты к июлю?

– К концу июля я буду готов, хотя бы мне пришлось добывать лошадей из-под земли. Слава богу, что работа есть, а то бы меня меланхолия заела...

Письма гетмана и предстоящее дело доставили большое облегчение Володыевскому, и не успел он еще приехать в Пацунели, как уже совсем перестал думать о полученном отказе. Известие о наборе быстро облетело всю шляхту. Шляхта сейчас же явилась к Володыевскому, и он подтвердил известие. Все изъявили свое согласие, хотя не без колебаний: была самая страда. Пан Володыевский разослал гонцов и в другие местности – в Упиту и по большим усадьбам. Вечером к нему приехали Бутрымы, Стакьяны и Домашевичи.

Шляхта шумела, подбодряла друг друга, грозила неприятелю и кричала о будущих победах. Одни только Бутрымы молчали, но никто не ставил им этого в вину – все знали, что они станут, как один человек.

На следующее утро в «застенке» зашумело, словно в улье. Все забыли уже о Кмицице и о панне Александре; всюду только и слышались толки о предстоящем походе. Пан Володыевский от души простил Оленьке ее отказ, утешаясь мыслью, что не одна она на свете и что это не первый отказ. И в то же время думал, что делать с письмом Кмицицу.

IX

Для пана Володыевского настало время тяжелого труда. На следующей же неделе он переехал в Упиту и принялся за дело. Шляхта съезжалась к нему со всех сторон, как к знаменитому полковнику, но среди нее было больше всего ляуданцев, поэтому нужно было позаботиться о лошадях. Володыевский суетился, и благодаря его энергии дело подвигалось очень быстро. В то же время он навестил и пана Кмицица, который значительно поправился, хотя еще не вставал с постели.

По-видимому, поскольку у Володыевского была тяжелая сабля, постольку легка была рука. Кмициц тотчас же узнал Володыевского и при его появлении сильно побледнел; но, видя его улыбающимся, успокоился и протянул ему свою исхудалую руку.

– Благодарю за посещение. Ваш поступок достоин такого кавалера, как вы!

– Я приехал спросить, не сердитесь ли вы на меня? – спросил пан Михал.

– Нет, не сержусь, потому что меня победил мастер, каких мало! Чуть богу душу не отдал...

– Ну а как ваше здоровье?

– Вы, вероятно, удивляетесь, что я вышел из ваших рук живым? Я и сам считаю это чудом. – Кмициц улыбнулся. – Но не отчаивайтесь, еще успеете покончить со мной.

– Я вовсе не затем приехал.

– Вам, верно, дьявол помогает! – прервал Кмициц. – Я далек от хвастовства, но до сих пор я считал себя если не первым, то, по крайней мере, одним из лучших рубак во всей Речи Посполитой; между тем – неслыханная вещь! – вы могли бы покончить со мной с первого же удара, если бы захотели. Скажите, где вы так выучились?

– Отчасти природные способности, – ответил маленький рыцарь, – затем отец, твердивший мне с детства: «Бог не одарил тебя ростом, и если люди не будут тебя бояться, то будешь посмешищем». Наконец, служа у русского воеводы, я завершил свои знания. У него было несколько человек, которые с успехом могли состязаться со мной.

– Разве могли быть такие?

– Не только могли, но и были. Был пан Подбипента, литовец, которого убили под Збаражем, – упокой, Господи, его душу! Это был человек такой необычайной силы, что его удары невозможно было отражать; был еще Скшетуский, мой друг и приятель, о котором вы, без сомнения, слышали.

– Как же! Ведь это он из Збаража пробрался к королю сквозь неприятельские войска. Кто о нем не слышал! Так вы из их числа? Челом, челом! Постойте, я слышал о вас от воеводы виленского. Вас зовут Михалом?

– Собственно, я Юрий-Михал; но так как святой Михаил предводительствует всеми небесными силами и одержал столько побед над нечистыми духами, то я его и выбрал своим патроном.

– Конечно, Юрию не сравняться с Михаилом. Так вы тот Володыевский, который зарубил Богуна.

– Я!

– Ну от такого необидно и в лоб получить. Дай Бог, чтобы мы остались друзьями. Вы меня назвали изменником, но в этом вы ошиблись.

При этом Кмициц поморщился, точно снова почувствовал боль в ране.

– Признаюсь – ошибся, – ответил Володыевский, – об этом я узнал от ваших людей. Иначе я бы не приехал сюда, знайте, ваць-пане!

– Уж и точили на меня здесь зубы, – сказал с горечью Кмициц. – Но будь что будет! Не одно пятно лежит на моей душе, это правда, но и здешняя шляхта приняла меня далеко не любезно.

– Вы больше всего повредили себе сожжением Волмонтовичей и похищением девушки.

– Потому-то они меня и душат судом. Уже пришли повестки. Не дадут больному и выздороветь! Перед сожжением Волмонтовичей я дал обет жить со всеми в дружбе и любви, и что же я нашел, когда вернулся в Любич: все мои товарищи были зарезаны, как быки на бойне. Когда я узнал, что это сделали Бутрымы, в меня бес вселился, и я отомстил жестоко. А знаете ли вы, за что их зарезали?.. Я сам это узнал от одного из Бутрымов: за то, что они хотели потанцевать в корчме со шляхтянками. Кто бы тут не стал мстить?!

– Мосци-пане, – ответил Володыевский, – они поступили с вашими товарищами дурно, но виной всему их репутация: если бы на их месте были учтивые солдаты, то, наверно, шляхта не тронула бы их.

– Бедняги! – продолжал Кмициц. – Когда я теперь лежал в горячке, каждый вечер видел я их, они входили вот из той двери. Подходили к кровати синие, израненные и молили: «Ендрек, вели отслужить панихиду, ибо муки терпим». У меня просто волосы становились дыбом. Я уже заказал панихиду. Дай Бог, чтобы это облегчило их страдания.

Несколько мгновений длилось молчание.

– А что касается похищения, – продолжал Кмициц, – то вы не знаете, и вам никто не мог сказать, что *она* спасла мне жизнь, когда шляхта гналась за мной, а затем выгнала меня и запретила показываться на глаза. Что же мне оставалось делать?

– Все-таки это татарский способ.

– Вы, вероятно, не знаете, что такое любовь и до какого отчаяния она может довести человека, когда он теряет то, что для него дороже всего на свете.

– Я не знаю, что такое любовь?! – воскликнул Володыевский. – С тех пор как я саблю ношу, я всегда был влюблен... Правда, предметы я менял часто, но это потому, что никогда еще не пользовался взаимностью.

– Ну какая это любовь, когда предметы менялись!

– Ну так я вам расскажу другое, что видел собственными глазами. В начале восстания Хмельницкого тот самый Богун, который теперь пользуется среди казаков необычайным уважением, похитил возлюбленную моего друга Скшетуского, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, видя его отчаяние: на двадцать пятом году жизни у него борода побелела, как у старика; и угадайте, что он сделал?

– Почем я знаю.

– Видя, что отчизна в опасности, что Хмельницкий торжествует, он так и не пошел разыскивать невесту. Принес свои муки в жертву Господу. Он бился во всех сражениях под командой князя Еремии и стяжал себе великую славу под Збаражем... Сравните теперь этот поступок со своим – и вы поймете разницу.

Кмициц молчал, закусив губу, а Володыевский продолжал:

– Господь наградил за это Скшетуского и возвратил ему невесту. По окончании войны они поженились, и в настоящее время у него уже трое детей; но он и до сих пор служит. А вы, бесчинствуя, этим самым служили неприятелю, не говоря о том, что могли навсегда потерять и невесту.

– Каким же образом? – спросил Кмициц, садясь на постели. – Что с нею было?

– Ничего с ней не случилось, только нашелся человек, который просил ее руки и хотел взять ее в жены.

Кмициц побледнел, глаза его начали метать молнии. Он захотел приподняться, что ему удалось на минуту, и крикнул:

– Кто этот вражий сын?! Скажите, ради бога!

– Я, – ответил Володыевский.

– Вы? Вы?! – спрашивал изумленный Кмициц. – Как так?

– Да, я! – ответил Володыевский.

– Изменник! Это тебе не пройдет даром. А она? Говори уж все. Она приняла предложение?

– Отказала наотрез, не задумываясь.

Наступило молчание. Кмициц впился глазами в Володыевского и тяжело дышал. А тот сказал:

– За что вы меня называете изменником? Разве я вам брат или сват? Разве я вам давал слово и не сдержал его? Ведь я победил вас в равном бою и мог делать с вами, что мне угодно.

– По старинному обычаю, один из нас должен был бы поплатиться кровью. Если я не убил бы вас саблей, то застрелил бы, и пусть бы меня потом черти взяли!

– Разве что застрелили бы, а то, если бы она приняла мое предложение, я не согласился бы на второй поединок. Зачем мне было бы драться? А знаете ли, почему она мне отказала?

– Почему? – повторил, как эхо, Кмициц.

– Потому, что любит вас!

Это было выше сил больного. Голова Кмицица упала на подушки, на лбу у него выступили крупные капли пота. Некоторое время он лежал молча.

– Я чувствую себя очень слабым. Откуда же вы знаете... что она меня любит?..

– Потому что у меня есть глаза и ум. Я все понял, когда она мне отказала. Прежде всего, когда я после поединка пришел ей сказать, что она свободна и что вы ранены, с ней сделалось дурно, и, вместо того чтобы благодарить, она как будто меня и не видела; во-вторых, когда Домашевичи вас несли, она поддерживала вашу голову, как мать; а в-третьих, когда я ей сделал предложение, то она меня приняла так, точно пощечину дала. Если этого для вас мало, то, вероятно, у вас голова еще плохо работает.

– Если бы это была правда... – ответил слабым голосом Кмициц, – тогда бы мне не нужны были никакие мази, ваши слова для меня как бальзам.

– И этот бальзам принес вам изменник?

– Простите меня, ваць-пане! Я не могу поверить, что она все еще хочет быть моей.

– Я говорил, что она вас любит, и не говорил, что хочет быть вашей. Это не одно и то же.

– Если она не согласится, то я разобью себе о стену голову. Иначе быть не может!

– Могло бы быть иначе, если бы только вы искренне желали искупить свою вину. Теперь война, вы можете оказать отчизне большие услуги, прославиться мужеством, исправить репутацию. Кто же не грешен? У кого совесть совсем чиста? У каждого есть что-нибудь... Но для покаяния и исправления всякому дорога открыта. Вы грешили против отчизны, спасайте ее; вы причиняли обиды людям, вознаградите их... Вот вам верный путь для достижения цели, а головой о стену биться нечего.

Кмициц пристально смотрел на Володыевского и сказал:

– Вы говорите, как искренний друг.

– Я не друг вам, но, во всяком случае, и не враг, и мне более всего жаль этой панны, хотя она мне и отказала. Из-за ее отказа я не повешусь: для меня это не новость – обид я долго помнить не умею; если же мне удастся навести вас на путь истины, то это будет до некоторой степени благодеянием для отчизны, ибо вы опытный и храбрый солдат.

– Неужели мне еще не поздно возвратиться на этот путь? Меня ждет правосудие. Ведь прямо с постели мне нужно идти в суд... Разве бежать? Нет, я этого не хочу. Столько процессов. И что ни процесс, то верное осуждение!

– У меня есть и против этого лекарство! – сказал пан Володыевский, вынимая из кармана приказ гетмана.

– Приказ гетмана?! – воскликнул Кмициц. – Для кого?

– Для вас. И знайте, что вы свободны ото всяких судов, ибо принадлежите лишь гетманской инквизиции. Слушайте же, что пишет мне князь-воевода.

И Володыевский прочел частное письмо Радзивилла, передохнул, шевельнул усиками и сказал:

– Как видите, от меня зависит, отдать вам письмо или нет. Неуверенность, тревога и надежда отразились на лице Кмицица.

– А что вы сделаете? – спросил он тихо.

– А я отдам его вам, – ответил Володыевский.

Кмициц опустил голову на подушки и некоторое время молчал. Вдруг глаза его сделались влажны... и незнакомые ему доселе слезы повисли на его ресницах.

– Пусть меня четвергуют, – воскликнул он наконец, – пусть с меня кожу сдерут, если я когда-нибудь встречал человека благороднее, чем вы. Если вы из-за меня получили отказ, если Оленька любит меня еще, как вы говорите, то вы должны бы были тем более мне мстить; а вы протягиваете мне руку и точно из могилы меня спасаете!

– Ибо я личной обиде не хочу приносить в жертву отчизну, а ей большие услуги может оказать такой опытный солдат, как вы; но знайте, что если бы вы казаков взяли от Трубецкого или Хованского, то я ни за что не отдал бы этого письма. Ваше счастье, что вы этого не сделали.

– С вас надо брать пример другим! – ответил Кмициц. – Дайте же мне вашу руку. Буду молить Бога, чтобы он послал мне случай отплатить вам добром, потому что вам я обязан жизнью.

– Об этом поговорим потом. А теперь слушайте. Не являйтесь ни в какие суды, а принимайтесь за дело. Если вы услужите отчизне, то и шляхта простит вас, она очень отзывчива к людям, любящим отчизну. Вы можете не только искупить ваши грехи, восстановить репутацию, но и прославиться, и я знаю одну панну, которая придумает для вас награду.

– Да разве буду я в постели гнить, когда неприятель отчизну топчет! – воскликнул Кмициц с воодушевлением. – Эй! Кто там? Подать мне сапоги! Не хочу я больше валяться в постели, разрази меня гром!

Володыевский весело улыбнулся и сказал:

– Видно, ваш дух сильнее тела.

С этими словами он стал прощаться, а Кмициц удерживал его и предлагал выпить вина. И было уже к вечеру, когда маленький рыцарь выехал из Любича и направился в Водокты.

– Нельзя лучше вознаградить ее за резкие слова, как сказать, что Кмициц встал не только с постели, но и из мрака бесславия. Он еще не совсем испорченный человек, только страшно горяч. Я ее очень обрадую и думаю, что теперь она меня лучше примет, чем тогда, когда я ей предлагал свою особу...

Тут пан Михал вздохнул и пробормотал:

– Интересно, есть ли на свете женщина, предназначенная и для меня?..

Среди подобных размышлений Володыевский приехал в Водокты. Лохматый жмудин выбежал к воротам, но не торопился их открывать и сказал:

– Панна нет дома.

– Уехала?

– Уехала.

– Куда?

– Кто ее знает.

– А когда вернется?

– Кто ее знает.

– Да говори же по-человечески! Не сказала, когда вернется?

– Вернее, что совсем не вернется: с возами уехала и с тюками. Видно, уехала далеко и надолго.

– Так! – пробормотал пан Михал. – Вот что я наделал!

X

Всегда бывает так, что лишь только теплые лучи солнца начинают выглядывать из-за зимних туч, лишь только на деревьях начинают появляться первые почки и зеленая травка покрывает поля, – в сердцах людей возрождается надежда на лучшее. Но весна 1655 года не принесла с собой обычного утешения для угнетенной Речи Посполитой. Вся ее восточная граница, до самых Диких Полей, была опоясана как бы огненной лентой, и весенние дожди не могли погасить этого пожара, – напротив, лента становилась все шире и занимала все большие и большие пространства. На небе появились зловещие знамения, предвещающие еще большие несчастья и бедствия. Тучи по временам принимали форму то бойниц, то высоких башен, которые проваливались с грохотом. Гром гремел уже тогда, когда поля были еще покрыты снегом; сосновые леса пожелтели, а ветви сосен свертывались в какие-то странные, болезненные формы; животные и птицы падали от какой-то неизвестной болезни. Наконец, и на солнце заметили какие-то необыкновенные пятна, в виде руки, держащей яблоко, в виде пронзенного сердца и креста. Умы волновались все больше – ученые монахи тщетно пытались разгадать, что означали эти небесные явления. Всеми овладела какая-то странная тревога.

Предсказывали новые войны, и вдруг, неизвестно откуда, разнеслась зловещая весть, что несчастья идут со стороны шведов. На вид ничто не подтверждало этих слухов, потому что срок перемирия истекал через шесть лет, а все же об опасности этой войны говорил и сам король на сейме, бывшем в Варшаве 19 мая.

Больше всего беспокоились люди за Великую Польшу, на которую прежде всего могла налететь буря. Лещинский, воевода ленчицкий, и Нарушевич, полевой писарь литовский, выехали в качестве послов в Швецию; но их отъезд, вместо того чтобы успокоить, еще более встревожил умы.

«Это посольство пахнет войной!» – писал Януш Радзивилл.

«Если бы опасность не грозила с этой стороны, то зачем бы и послов посылать? – говорили другие. – Давно ли вернулся из Стокгольма прежний посол Каназиль; но, видно, он ничего не мог сделать, если послали туда новых сенаторов».

Но более благоразумные люди еще не верили в возможность войны.

«Ведь Речь Посполитая не подала никакого повода к этому, – говорили они, – следовательно, перемирие должно оставаться в силе. Не может быть, чтобы шведы нарушили клятву и, как разбойники, напали на соседа. Кроме того, Швеция, верно, еще помнит раны, нанесенные ей польской саблей под Кирхгольмом. Ведь и Густав-Адольф, который во всей Европе не находил себе достойного соперника, был несколько раз побежден Конецпольским. Шведы не решатся рисковать своей славой, добытой с таким трудом в войне с противником, который их всегда побеждал. Правда, что Речь Посполитая теперь обессилена войнами, но одной Пруссии и Великопольши хватит, чтобы прогнать этот голодный народ за моря, до бесплодных скал. Не будет войны».

На это более опасливые люди отвечали, что в Гродне, еще перед варшавским сеймом, советовали укрепить великопольские границы, что после этого налагались новые подати, вербовались солдаты, а этого бы, конечно, не Делали, если бы никакой опасности не было...

Так колебались умы между опасением и надеждой, пока всему этому не положило конец воззвание Богуслава Лещинского, генерала великопольского, призывающее всеобщее ополчение шляхты Калишского и Познанского воеводств для защиты границ от шведского нашествия.

Всякое сомнение исчезло. Слово «война» раздавалось по всей Великопольше и во всех землях Речи Посполитой.

Это была не только война, это была новая война. Хмельницкий, поддерживаемый Бутурлиным, свирепствовал на юге и востоке; Хованский и Трубецкой – на севере и востоке, а шведы приближались с запада. Огненная лента превращалась в огненное кольцо.

Страна была похожа на осажденный лагерь.

В самом лагере было тоже неблагополучно. Один изменник, Радзейовский, уже бежал из этого лагеря к неприятелю, указал врагам на слабые стороны польских войск и склонял пограничные отряды к измене. Кроме того, не было недостатка и в магнатах, которые из-за личной вражды и честолюбия, из недовольства королем готовы были принести в жертву даже отчизну; немало было диссидентов, готовых праздновать свою победу хоть на могиле отчизны, но больше всего было лентяев, бездельников, заботившихся только о своих удовольствиях и богатствах. Но все же богатая и не изнуренная войнами Великопольша не жалела денег на защиту. Города и деревни доставили необходимое количество пехоты; за нею двинулась шляхта, за которой тянулись полки полевых войск во главе с полковниками, назначенными сеймиками, из числа людей опытных в военном деле.

Познанскую пехоту вел пан Станислав Дембинский, костянскую – Владислав Влостовский, а валецкой предводительствовал Гольц, славный солдат и инженер; калишскими крестьянами командовал ротмистр – пан Станислав Скшетуский, двоюродный брат Яна Скшетуского, збаражского героя. Пан Каспер Жихлинский вел конинских мельников и сотских. Изпод Пыздров шел пан Станислав Ярачевский, из Кцыни – пан Петр Скорашевский и Кослецкий – из Накла. Но опытнее всех в военном деле был Владислав Скорашевский; его советов слушали даже генералы и воеводы.

Заняв позицию в трех местах под Пилой, Устьем и Велюнем, ротмистры начали поджигать шляхту – ополченцев. В ожидании конницы пехота с утра до вечера возводила окопы и шанцы.

Между тем приехал первый из сановников, пан Андрей Грудзинский, воевода калишский, и остановился в доме бургомистра, с многочисленной свитой, одетой в голубые и белые цвета. Он рассчитывал, что его сейчас же окружит калишская шляхта, но так как никто не являлся, то он послал за ротмистром Станиславом Скшетуским, занятым устройством шанцев над рекой.

– А где же мои люди? – спросил он после первых же приветствий у ротмистра, которого знал еще с детства.

– Какие люди? – спросил пан Скшетуский.

– А всеобщее ополчение калишское?

Полупрезрительная-полускорбная улыбка показалась на смуглом лице ротмистра.

– Ясновельможный воевода, – ответил он, – ведь теперь идет стрижка овец, а плохо вымытую шерсть в Гданьске не покупают. Все они теперь на прудах за промывкой руна, справедливо полагая, что шведы не убегут.

– Как же это? – воскликнул смущенный воевода. – Неужели никого еще нет?

– Ни единой души, кроме полевой пехоты. А там и жатва близка... Хороший хозяин не уезжает из дому в такую пору.

– Что вы мне говорите?

– Шведы не убегут, а подойдут к нам еще ближе, – повторил ротмистр.

Рябое лицо воеводы побагровело.

– Что мне шведы? Мне будет стыдно перед другими, если я останусь один как перст!

Скшетуский снова улыбнулся.

– Позвольте сказать вашей милости, – возразил он, – что главное все же – шведы, а стыд – это уж не так важно. Впрочем, стыдиться вам не придется, нет не только калишской, но и никакой другой шляхты.

– Да они с ума сошли! – воскликнул Грудзинский.

– Нет, они только уверены, что если сами не пойдут на шведов, то шведы пойдут на них.

– Погодите, – сказал воевода.

И, позвав слугу, он велел принести перо и бумагу, а затем сел и стал что-то писать.

Спустя полчаса он посыпал письмо песком и, хлопнув по бумаге рукой, сказал:

– Посылаю второе воззвание – собраться не позднее двадцать седьмого, и надеюсь, что на этот раз они явятся к сроку на помощь отчизне. А теперь скажите, есть какие-нибудь известия о неприятеле.

– Есть. Виттенберг обучает свои войска под Дамой.

– Много их?

– Одни говорят, что семнадцать тысяч, другие – что больше.

– Гм! Нас столько не будет. Как вы думаете, справимся мы с ними?

– Если шляхта не явится, то не о чем и говорить.

– Конечно, явится. Ополченцы всегда мешкают! А со шляхтой мы, без сомнения, справимся.

– Нет, – ответил Скшетуский, – ясновельможный пан воевода, у нас совсем нет солдат.

– Как нет солдат?

– Вашей милости, как и мне, известно, что все наши войска на Украине. Нам оттуда не прислали ни одного полка, хотя неизвестно, какая сила грознее.

– Но... пехота... всеобщее ополчение...

– Из двадцати мужиков едва ли один видел войну, а из десяти вряд ли один умеет держать ружье в руках. Что же касается ополченцев, то спросите, ваша милость, всякого, кто понимает военное дело, можно ли ополчение сравнивать с регулярными войсками, да еще такими, как шведские, – с ветеранами, привыкшими к победам.

– Вот вы как перевозносите шведские войска!

– Нисколько не перевозношу, если бы у нас было хоть пятнадцать тысяч таких солдат, какие были под Збаражем, тогда бы я шведов не боялся, но с этими мы вряд ли что-нибудь сделаем.

Воевода опустил руки на колени и пылливо посмотрел Скшетускому в глаза, точно желал прочесть в них какую-то скрытую мысль.

– Так зачем же мы сюда пришли? Уж не думаете ли вы, что лучше просто сдаться?

На это Скшетуский, вспыхнув, ответил:

– Если бы у меня в голове зародилась такая мысль, я просил бы вас посадить меня на кол.

На вопрос, верю ли я в победу, я отвечаю как солдат: «Не верю!» А зачем мы сюда пришли – это другой вопрос, на который я отвечаю как гражданин: «Мы пришли сюда затем, чтобы хоть на время задержать неприятеля и дать время народу опомниться; мы пришли затем, чтобы удержать неприятеля, пока не падем все до последнего».

– Похвальное намерение, – ответил холодно воевода, – но вам, солдатам, легче говорить о смерти, нежели тем, на которых падет ответственность за напрасно пролитую шляхетскую кровь.

– На то и кровь у шляхты, чтобы ее проливать!

– Так-то так! Все мы готовы головы сложить, но это, впрочем, и легче всего. Но, во всяком случае, на нас, начальниках, лежит долг не только искать славы, но и приносить пользу. Война почти что начата, но ведь Карл-Густав родственник нашего государя, и я должен об этом помнить. А потому нам надо начать переговоры! Иногда словом можно сделать больше, чем оружием.

– Это меня не касается, – ответил сухо пан Скшетуский.

Воевода, очевидно, с этим согласился, потому что в знак прощания кивнул ротмистру.

Но Скшетуский был прав лишь наполовину, говоря о медлительности шляхты, призванной в ополчение. Действительно, до окончания стрижки овец их явилось очень мало, но к

сроку, назначенному во вторичном воззвании, ополченцы стали шумно съезжаться в большом количестве, со съестными припасами, с оружием, начиная с копий, ружей и сабель и кончая вышедшими из употребления молотками для разбивания доспехов.

Странное войско представляли собой эти люди – и начальники ладили с ними не легко. Приезжал, например, шляхтич с копьём в девятнадцать футов, с панцирем на груди и в соломенной шляпе «от жары». Одни из них во время учения жаловались на жару, зевали, другие звали слуг, третьи ели и пили и все считали возможным говорить в строю так громко, что не слышно было команды. И трудно было ввести в таком войске дисциплину: дисциплина оскорбляла шляхетское самолюбие. Правда, объявлены были правила, но их никто не соблюдал. Войско это до невероятности было обременено целым табором возов, запасных лошадей, скота, а главное, слуг, присматривавших за хозяйским добром и вечно поднимавших ссоры и драки.

И против такого войска со стороны Штеттина шел Арвид Виттенберг, старый вождь, прошедший свою молодость в Тридцатилетней войне, и вел с собой семнадцать тысяч ветеранов, привыкших к железной дисциплине.

С одной стороны отряд стоял беспорядочный, шумный, похожий на ярмарочное скопище – польский лагерь, где все ссорились, спорили, критиковали распоряжения начальников, выражали неудовольствие; лагерь, состоявший из простых крестьян, наскоро превращенных в пехоту, и из панов шляхты, оторванной прямо от стрижки овец; с другой – грозные, молчаливые каре, превращавшиеся по мановению вождей в линии и полукруги; войско, состоявшее из солдат, вооруженных ружьями и копьями, настоящих мужей войны, холодных, спокойных, достигших в своем ремесле совершенства. Кто же из сведущих людей мог сомневаться относительно того, на чьей стороне будет победа?

Между тем шляхты прибывало все больше, но еще раньше съехались сановники из Великопольши и других провинций, с отрядами войска и слуг. Вскоре после Грудзинского прибыл в Пилу могущественный познанский воевода, пан Криштоф Опалинский. Впереди его кареты шло триста гайдуков, одетых в желтые с красным наряды; толпа придворных и шляхты окружала его высокую особу; за ними в боевом порядке тянулись рейтары, одетые в мундиры тех же цветов, как и гайдуки; сам воевода ехал в карете со своим шутом Стахом Острожкой, на обязанности которого лежало развлекать в дороге своего мрачного пана.

Въезд такого знаменитого сановника ободрил всех; и всем, кто с благоговением смотрел на его почти монаршее величие, на его величественное лицо, на его высокий лоб, из-под которого светились умные и суровые глаза, на его властную осанку, даже в голову не могло прийти, чтобы кто-нибудь устоял перед его могуществом.

Людам, привыкшим к почитанию чинов и местничеству, казалось, что шведы даже не осмелятся поднять руку на особу такого магната. Трусы чувствовали себя под его крыльями в безопасности. И все приветствовали его с пламенной радостью; крики раздавались по всей улице, по которой шествие подвигалось к дому бургомистра. Все склоняли головы перед воеводой, видневшимся в окнах кареты; на эти поклоны вместе с ним отвечал Острожка с таким достоинством, как будто они предназначались исключительно ему.

Едва улеглась пыль после приезда воеводы познанского, как прибежали гонцы с известием, что едет его двоюродный брат, воевода полесский – Петр Опалинский со своим зятем, Яковом Роздражевским, воеводой иновроцлавским. Каждый из них привел с собой по сто пятьдесят вооруженных солдат кроме придворных и челяди. А потом дня не проходило, чтобы не приезжали новые сановники: Сендзивой Чарнковский, зять Опалинского, каштелян калишский, Максимилиан Мясковский и Павел Гембицкий. Город был так переполнен людьми, что не хватило домов для одних только придворных. Соседние луга пестрели палатками ополченцев.

Всюду мелькали красный, зеленый, голубой, синий и белый цвета, ибо кроме шляхты и ополченцев, из которых все одевались по-разному, кроме слуг и сановников пехота каждого повета имела свои отдельные цвета.

Приехали, наконец, и торговцы, построили шалаши поблизости от города и начали продавать оружие, одежду и напитки. Полевые кухни дымились днем и ночью. Перед шалашами толпилась шляхта, вооруженная не только саблями, но и ложками, ела, пила, рассуждала то о неприятеле, которого еще не было видно, то о приезжих магнатах.

Между этими группами важно прохаживался Острожка, одетый в наряд из пестрых лоскутков, с жезлом в руке, увешанным колокольчиками. Где он ни появлялся, его тотчас же окружала толпа шляхты, а он подливал масла в огонь, острил насчет сановников и задавал такие язвительные загадки, от которых все покатывались со смеху.

Однажды в полдень по базару проходил сам воевода познанский и, смешавшись со шляхтой, заговаривал милостиво то с тем, то с другим, жалуясь на короля, что, несмотря на нашествие такого многочисленного неприятеля, он не прислал им ни одного регулярного полка.

– Видно, о нас там не думают, мосци-панове, и без помощи оставляют! В Варшаве говорят, что на Украине и так войска мало и что гетманы не могут справиться с Хмельницким. Ничего не поделаешь! Видно, Украина милее Великопольши. Мы в немилости, мосци-панове! Нас прислали сюда на убой.

– А кто виноват? – спросил пан Шлихтинг, веховский судья.

– Кто виноват во всех несчастьях Речи Посполитой? – спросил воевода. – Конечно, не мы, шляхта, защищающая ее грудь!

Шляхте было очень лестно то, что «граф на Бнине и Опаленице» сравнивает себя с нею, поэтому пан Кошутский тотчас же ответил:

– Ясновельможный воевода! Если бы у короля было больше таких советников, как ваша милость, то, наверно, нас бы не пригнали сюда на убой... Но там, по-видимому, правят те, кто низко кланяется...

– Спасибо вам, Панове братья, за доброе слово! Виноват и тот, кто слушает таких советников. Им наша свобода костью в горле стала. Чем больше погибнет шляхты, тем легче им будет провести свое «*absolutum dominium*»⁹.

– Так неужели мы должны гибнуть только затем, чтобы наши дети были рабами?

Воевода ничего не ответил, а шляхта стала с недоумением поглядывать друг на друга.

– Так вот как! – кричали многочисленные голоса. – Вот зачем нас сюда призвали! Уж давно говорят об этом «*absolutum dominium*». Но если на то пошло, то и мы сумеем постоять за себя...

– И за наших детей!

– И за наше достояние, которое неприятель будет уничтожать огнем и мечом!

Воевода молчал. Странное средство избрал он для подбодрения солдат!

– Король во всем виноват! – кричала шляхта.

– А помните ли вы, Панове, деяния Яна Ольбрахта? – спросил воевода.

– При короле Ольбрахте погибла шляхта! Измена, Панове, измена!

– Король, король изменник! – раздался чей-то голос. Воевода молчал.

Вдруг Острожка, стоявший близ воеводы, захлопал в ладоши и закричал петухом так пронзительно, что глаза всех обратились на него.

– Панове, – крикнул он, – братцы родные, послушайте мою загадку!

С истинной изменчивостью весенней погоды возмущение ополченцев сменилось любопытством и желанием услышать от шута какую-нибудь новую остроту.

– Слушаем, слушаем, – отозвалось несколько голосов.

⁹ Абсолютную власть (*лат.*).

Шут заморгал глазами, как обезьяна, и продекламировал пискливо:

Подканцлера прогнав, известен тем стране,
Что сам подканцлер он – лишь при чужой жене.

– Король, король! Как есть Ян Казимир! – раздалось со всех сторон.

И смех, как гром, прокатился в толпе.

– Черт его возьми, как он это ловко сочинил! – кричала шляхта.

Воевода смеялся вместе с другими, а когда все стихли, сказал серьезно:

– И за это мы должны отвечать своей кровью! Вот до чего дошло... А ты, шут, получай червонец за хорошую загадку, – обратился он к шуту.

И оба удалились.

Воевода отправился на военный совет и занял на нем председательское место. Это был совсем особенный совет. В нем принимали участие только те сановники, которые не имели никакого понятия о войне. Великопольские магнаты и не могли следовать примеру литовских и украинских «королевичей», которые всю жизнь проводили в постоянных войнах. Там – канцлер ли, воевода ли, – все были рыцари, у которых на груди не сходили рубцы от погнутого панциря, вся молодость которых проходила в степи, в лесах, среди засад, стычек, битв... Здесь собрались сановники, знавшие войну только в теории, и хотя они, в случае нужды, становились в ряды всеобщего ополчения, но никогда во время войны не занимали ответственных должностей. Глубокое спокойствие в стране усыпило воинственный дух этих потомков рыцарей, перед железной силой которых не могли устоять некогда ряды крестоносцев: они превратились в дипломатов, ученых и литераторов. И только суровая шведская школа научила их потом тому, что они забыли.

Между тем собравшиеся сановники посматривали друг на друга, никто не решался заговорить первым, все ждали, что скажет «Агамемнон», воевода познанский.

«Агамемнон» же попросту не имел ни малейшего понятия о военном деле и начал свою речь упреками королю за то, что тот, не задумываясь, послал их на убой. Но зато как он был красноречив! Как напоминал римского сенатора: голова была высоко поднята, черные глаза метали молнии, уста – громы, а седеющая борода дрожала от волнения, когда он рисовал будущие несчастья отчизны.

– Если страдают дети отчизны, то страдает и она сама... а мы прежде всех пострадаем! По нашей земле, по нашим именьям, добытым заслугами и кровью наших предков, пройдет прежде всего нога того неприятеля, который теперь приближается, подобно буре, с моря. И за что мы страдаем? За что захватят наши стада, вытопчут наши поля, сожгут деревни, приобретенные нашими трудами? Разве мы виноваты, что невинно осужденный и преследуемый, как преступник, Радзейовский должен был искать защиты у чужих? Разве мы настаиваем на том, чтобы пустой титул короля шведского, который стоил уже столько крови, был присоединен к подписи нашего Яна Казимира? Две войны уже охватили пожаром наши границы, зачем же нам еще третья? Кто виноват в этом, пусть его Бог судит, а мы умываем руки, ибо мы неповинны в той крови, которая будет несправедливо пролита.

Воевода продолжал свою громовую речь, но когда пришлось коснуться дела, то не мог дать никакого совета.

Поэтому решили послать за ротмистрами полевой пехоты, а главным образом, за паном Владиславом Скорашевским, славным и несравненным рыцарем, знающим военное искусство как свои пять пальцев. Его советов слушались даже и опытные полководцы, тем необходимее они были теперь.

Пан Скорашевский советовал разделить войско на три отряда и расставить их под Пилой, Велюнем и Устьем неподалеку друг от друга, чтобы, в случае нападения, они могли соеди-

ниться, советовал построить окопы и траншеи вдоль всего побережья и занять главные переправы.

– Когда мы узнаем, где неприятель намерен устроить переправу, мы двинем туда все три отряда, – говорил Скорашевский, – и дадим ему сильный отпор. Тем временем я, с вашего разрешения, пройду с небольшим отрядом к Чаплинке, чтобы оттуда следить за неприятелем.

Было начало июля: дни были погожие и жаркие. Солнце пекло так сильно, что шляхта попряталась в лесах; там под тенью деревьев разбивали шатры и задавали шумные пиры. Еще больше шумела прислуга, сгонявшая три раза в день по нескольку тысяч лошадей на водопой к Нотеце и Брде и затевавшая там драки за лучшие места у берега.

Воинственный дух, несмотря на то что воевода познанский своими действиями только ослаблял его, не падал. Если бы Виттенберг подошел в первых числах июля, то, несомненно, встретил бы сильный отпор, который во время битвы превратился бы в неодолимую ярость, как тому бывали примеры и раньше. Ведь в жилах этих людей, хоть и отвыкших от войны, все же текла рыцарская кровь. Кто знает, не нашелся ли бы второй Еремия Вишневецкий, который превратил бы Устье в другой Збараж и покрыл бы себя славой. Но, к несчастью, воевода познанский умел только владеть пером.

Виттенберг, знавший не только военное дело, но и людей, может быть, нарочно не спешил. Долголетний опыт научил его, что солдат из новобранцев опаснее всего в первую минуту и что часто у него недостает не храбрости, а военной выдержки, которую вырабатывает практика. Он может, как ураган, налететь на самые опытные полки и пройти по их трупам. Это то же, что железо, которое дрожит, живет и сыплет искрами и жжет до тех пор, пока оно красно, а когда остынет, то превратится в мертвую глыбу.

И когда прошла неделя, другая, стала проходить и третья, продолжительная бездеятельность начала уже тяготить ополченцев. Жара все усиливалась. Шляхта отказывалась ходить на учение, оправдываясь тем, что «лошади от укусов оводов не могут устоять на месте и в этой болотистой местности нет никакого спасения от комаров».

Слуги стали еще больше ссориться из-за тенистых мест, отчего и среди панов дело нередко доходило до поединков. Случалось, что некоторые, свернув вечером к реке, уезжали из лагеря с тем, чтобы более не возвращаться. Не было недостатка в дурных примерах и выше.

Пан Скорашевский только что дал знать, что шведы уже близко; в это же время на военном совете решено было отпустить домой пана Зигмунта Грудзинского, старосту средзинского, о чем хлопотал его дядя, воевода калишский.

– Если я сложу здесь голову, – сказал он, – то пусть хоть племянник мой наследует после меня славу и память, чтобы мои заслуги не пропали даром.

Тут он стал говорить о молодости, о добродетелях племянника, о его щедрости, с которой он предоставил в распоряжение Речи Посполитой сто человек прекрасной пехоты. Военный совет согласился удовлетворить просьбу дяди.

Утром шестнадцатого июля, накануне осады и битвы, пан староста в сопровождении нескольких слуг открыто уезжал из лагеря. Толпа шляхты провожала его насмешками за лагерь, во главе ее шел Острожка и кричал ему вслед:

– Мосци-пане староста, я милостиво присоединяю к вашему гербу и фамилии прозвище «Deest»¹⁰.

– Да здравствует Deest-Грудзинский! – кричала шляхта.

– Да не оплакивай дядю, – продолжал кричать Острожка, – он так же не любит шведов, как и ты, и пусть только шведы покажутся, он, наверно, тотчас покажет им спину.

У молодого магната кровь бросилась к лицу, но он сделал вид, что не слышит оскорблений, и лишь прищпорил лошадь, чтобы поскорее очутиться вне лагеря и освободиться от

¹⁰ Отсутствует; здесь: дезертир (*лат.*).

своих преследователей, которые в конце концов, не обращая внимания на происхождение и сан отъезжающего, стали бросать в него комьями земли и кричать: «Ату его! Ату!»

Поднялась такая свалка, что воевода познанский прибежал с несколькими ротмистрами успокаивать шляхту, уверяя, что староста взял отпуск только на неделю по очень важным делам.

Но дурной пример подействовал; и в тот же день нашлось несколько сот человек шляхты, которые не захотели быть хуже старосты, хотя и удирали с меньшей свитой и тайком. Пан Станислав Скшетуский, ротмистр калишский, рвал на себе волосы, так как и его пехота, следуя примеру товарищей, стала удирать из лагеря. Опять собрали совет, в котором толпы шляхты обязательно хотели принять участие. Настала бурная ночь, полная криков и споров. Все подозревали друг друга в намерении сбежать. Восклицания: «Все или никто!» – переходили из уст в уста.

Поминутно возникали слухи о намерении воевод бежать, и в лагере поднялось такое волнение, что воеводы принуждены были несколько раз показываться вооруженной толпе. Наутро несколько тысяч человек сидело на конях, а между ними ездил воевода познанский с открытой головой, похожий на римского сенатора, и повторял торжественным тоном:

– С вами, мосци-панове, жить и умирать!

В некоторых местах его встречали радостными криками, в других – насмешками; он, едва успокоив толпу, возвратился на совет, уставший, охрипший, упоенный собственными словами и уверенный, что в эту ночь он оказал отечеству огромные услуги.

Но на совете он не находил слов, а в отчаянии хватался за голову и кричал:

– Советуйте, Панове, если умеете... а я умываю руки, потому что с такими солдатами невозможно защищаться!

– Ясновельможный воевода, – ответил пан Станислав Скшетуский, – сам неприятель усмирит эти волнения. Пусть только запоют пушки, пусть только начнется осада – каждый в интересах собственной жизни будет стоять на валах, а не безобразничать в лагере. Так уж не раз было!

– Да чем защищаться? У нас нет пушек, кроме двух «виватувок», из которых можно стрелять во время пиров.

– У Хмельницкого под Збаражем было семьдесят орудий, а у князя Еремии только несколько октав да гранатников.

– Но у него было войско, а не ополченцы; известные во всем мире полки, а не то что их милости, шляхта, которая только и умеет, что баранов стричь.

– Послать за паном Владиславом Скорашевским, – сказал познанский каштелян, пан Сендзивой Чарнковский, – и назначить его обозным. Он пользуется расположением шляхты и сумеет ее сдержать.

– Послать за Скорашевским! – повторил Андрей Грудзинский, воевода калишский. – Чего ему сидеть в Чаплинке!

И послали гонца за Скорашевским.

Других постановлений на совете сделано не было, зато все жаловались и сетовали на короля, на королеву, на недостаток в войске. Следующее утро принесло мало утешительного. Кто-то вдруг пустил слух, что иноверцы, а именно кальвинисты, сочувствуют шведам и при первом удобном случае намерены перейти на их сторону. Но главное, ни Шлихтинг, ни Курнатовские, Эдмунд и Яцек, которые были кальвинистами, не старались опровергнуть этого слуха, хотя были преданы отчизне. Напротив, они подтверждали, что иноверцы составили особый кружок под председательством пана Рея, который некогда служил в немецком войске и был другом шведов. Едва распространилась эта весть, как несколько тысяч человек обнажили сабли, и началась настоящая буря.

– Мы кормим изменников! Мы кормим змей, которые готовы жалить лоно матери! – кричала шляхта.

– Давайте их сюда!

– Вырезать их до одного! Измена заразительна, мосци-панове! Вырвать зло с корнем, иначе все мы погибнем!

Воеводам и ротмистрам пришлось снова успокаивать толпу, но это было еще труднее, чем вчера. Сами они были убеждены, что Рей может открыто изменить отчизне, так как это был иностранец, в котором, кроме речи, не было ничего польского. Решено было выслать его из лагеря, что сразу несколько успокоило взволнованную толпу. Но долго еще раздавались крики:

– Давайте его сюда! Измена! Измена!

Странное настроение воцарилось под конец в лагере. Одни пали духом и погрузились в печаль, другие молча ходили вдоль валов, бросая тревожные взгляды на равнины, где должен был показаться неприятель, или шепотом передавали друг другу все худшие новости. Некоторыми овладевало бешеное веселье и готовность умереть, и они устраивали пиры, чтобы весело провести остаток дней. Некоторые думали о спасении души и ночи проводили в молитвах. Никто не рассчитывал на победу, несмотря на то что силы неприятеля ничуть не превышали сил поляков; у них только было больше орудий, дисциплинированные солдаты и полководец, знавший толк в войне.

Пока польский лагерь шумел, волновался, пировал, бурлил и успокаивался, как море под ветром, пока посполитое рушение совещалось, точно перед выборами короля, по отлогим зеленым лугам спокойно подвигались полчища шведов.

Впереди всех шла бригада королевской гвардии; вел ее Бенедикт Горн, имя которого немцы приносили со страхом. Рослые, здоровые солдаты его были одеты в гребенчатые шлемы, в желтые кожаные кафтаны и вооружены рапирами и мушкетами.

Немец Карл Шеддинг вел следующую, вестготландскую, бригаду, состоявшую из двух полков пехоты и одного полка тяжелых рейтар, одетых в панцири без наплечников; у половины пехоты были мушкеты, а у другой – копья. В начале битвы мушкетеры выступали вперед, а в случае атаки их заменяли копейщики, которые, укрепив один конец копья в землю, другой подставляли навстречу коннице. Во времена Сигизмунда III под Тжцянной один полк гусар разнес саблями и лошадиными копытами эту самую вестготландскую бригаду, в которой служили, главным образом, немцы.

Две смаландские бригады вел Ирвин, прозванный Безруким, так как потерял правую руку, защищая знамя, зато в левой у него была такая сила, что одним взмахом он мог отрубить лошади голову. Это был мрачный солдат, любящий войну и кровопролитие, суровый как к себе, так и к солдатам. В то время как другие капитаны благодаря частым войнам превратились в ремесленников, он оставался фанатиком и убивал людей, распевая священные псалмы.

Вестмаландская бригада шла под командой Дракенборга, а гельсингерская, состоявшая из известнейших в мире стрелков, – под командой Густава Оксенсьерна, родственника известного канцлера, еще молодого воина, подающего большие надежды. Во главе эстготландской бригады стоял полковник Ферзен, а нерикскую и вермландскую вел сам Виттенберг, который вместе с тем был главнокомандующим всей армии.

Семьдесят два орудия взрывали борозды по сырым лугам; всего войска было семнадцать тысяч солдат, с которыми могла сравниться разве лишь французская королевская гвардия.

Лес копий торчал над массой голов, шлемов и шляп, а среди них над этим лесом развевались белые знамена с голубыми крестами посередине.

С каждым днем уменьшалось расстояние, разделявшее два войска.

Наконец двадцать седьмого июля в лесу, близ деревушки Гейнрихсдорф, шведы увидели польский пограничный столб. При виде его раздался восторженный крик; загремели трубы, загудели котлы и барабаны, развернулись все знамена; Виттенберг, окруженный великолеп-

ным штабом, выехал вперед; перед ним проходили полки, отдавая честь. Был полдень, дивная погода. Лесной воздух пахнул смолой.

Серая, залитая солнечными лучами дорога, по которой проходили шведские полки, выходя из гейнрихсдорфского леса, терялась в отдалении. Когда войска миновали лес, глазам их представились желтеющие поля, группы деревьев, зеленые луга. Там, где на лугах просвечивала вода, важно расхаживали аисты.

Какая-то тишина и сладость были разлиты по этой стране, текущей млеком и медом. Казалось, что она широко раскрывает свои объятия навстречу дорогим гостям, а не врагам.

При виде этой картины новый крик вырвался из груди этих солдат, особенно природных шведов, привыкших к дикой, бедной природе родного края. В сердцах этого хищного, бедного народа вспыхнула жажда обладания этими богатствами, которые открывались перед их глазами.

Но солдаты, закаленные в боях Тридцатилетней войны, знали, что им этого нелегко достигнуть, ибо эту благодатную страну населял храбрый народ, который умел ее защищать. Шведы еще не забыли страшного разгрома под Кирхгольмом, где три тысячи гусар под командой Ходкевича уничтожили дотла восемнадцать тысяч лучшего шведского войска. В деревнях Вестготланда, Смаланда и Далекарлии рассказывали об этих крылатых рыцарях, как о великанах из саги... Свежо еще было воспоминание о войнах Густава-Адольфа, ибо не вымерли еще люди, принимавшие в них участие. Скандинавский орел дважды поломал свои когти о войска Конецпольского.

Поэтому к радости примешивалась в шведских сердцах и некоторая доля страха, которого не был чужд и сам вождь, Виттенберг. Он смотрел на проходившие полки пехоты, как пастырь на своих овец, затем обратился к толстому человеку в шляпе с пером и в светлом парике, локоны которого спадали ему на плечи...

– Вы уверены, сударь, – сказал он, – что с этими силами можно победить войска, стоящие под Устьем?

Человек в светлом парике улыбнулся:

– Ваша милость может быть вполне спокойна. Если бы под Устьем были регулярные войска и кто-нибудь из гетманов, я первый бы посоветовал подождать, пока его королевское величество не подоспеет с армией, но против ополченцев и этих панов войска нашего более чем достаточно.

– А не пришлют ли им какого-нибудь подкрепления?

– Не пришлют по двум причинам: во-первых, потому, что все войска, которых вообще немного, заняты в Литве и на Украине; во-вторых, потому, что в Варшаве ни король Ян Казимир, ни его канцлеры, ни сенат не хотят до сих пор верить, что его королевское величество, король Карл-Густав, несмотря на перемирие и последнее посольство, начнет войну. Они надеются заключить мир, хотя бы в последнюю минуту.

Толстяк, сняв шляпу, вытер пот с красного лица, а затем прибавил:

– Трубецкой и Долгорукий на Литве, Хмельницкий на Украине, а мы входим в Великопольшу... Вот к чему привело правление Яна Казимира!

Виттенберг посмотрел на него странным взглядом и, помолчав, спросил:

– А вас это радует?

– А меня радует, что будут отомщены мои обиды и мое невинное осуждение; кроме того, я вижу как на ладони, что сабля вашей милости и мои советы возденут эту прекраснейшую в мире корону на голову Карла-Густава.

Виттенберг окинул взглядом леса, поля и луга и сказал, помолчав:

– Да, это плодородная и прекрасная страна. Вы можете быть уверены, что по окончании войны его величество никому другому не доверит управления этой страной.

Толстяк снова снял шляпу.

– И я не желаю служить другому государю! – прибавил он, подняв глаза к небу...

Небо было чисто и прозрачно; ни одна молния не грянула на голову изменника, который предавал свою отчизну, обремененную и без того двумя войнами, в руки неприятеля. Человек, разговаривавший с Виттенбергом, был не кто иной, как Радзейовский, бывший подканцлер коронный, продавшийся шведам.

Некоторое время оба молчали; между тем две последние бригады, нерикская и вермландская, прошли границу, за ними прошла артиллерия; звуки труб, гул котлов и барабанов заглушали шаги солдат и наполняли лес зловещим эхо. Наконец проехал штаб. Радзейовский ехал рядом с Виттенбергом...

– Оксенсьерна не видно, – сказал Виттенберг. – Не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья... Хорошо ли я сделал, послав его с письмами в Устье?

– Хорошо, – ответил Радзейовский, – по крайней мере, он узнает положение войск, увидит воевод, выведает их образ мыслей, а с такими поручениями нельзя было послать кого-нибудь.

– А если его узнают?

– Один Рей его знает, а он – наш; впрочем, если бы его и узнали, то ничего не сделают, даже наградят. Я знаю поляков, они готовы на все, лишь бы только в глазах других прослыть обходительным народом; поэтому вы можете быть за Оксенсьерна покойны, ни один волос не спадет у него с головы. А не вернулся он до сих пор, потому что не успел.

– А как вы думаете, принесут ли наши письма какую-нибудь пользу? Радзейовский расхохотался:

– Если вы, ваша милость, позволите мне быть пророком, то я предскажу все, что случится. Воевода познанский – прекрасный дипломат и ученый, поэтому ответит нам любезно. Но так как он любит разыгрывать роль римлянина, то и ответ его будет полон римского величия; во-первых, он ответит, что предпочитает пролить последнюю каплю крови, чем сдаться, что смерть лучше беславия и что любовь к отчизне повелевает ему лечь костями на ее границе.

Радзейовский рассмеялся громче прежнего, а мрачное лицо Виттенберга прояснилось.

– А вы не думаете, что он готов сделать так, как пишет? – спросил Виттенберг.

– Он? – ответил Радзейовский. – Правда, он любит отчизну, но любовь эта более тоща, чем его шут, который помогает ему писать стихи. Я уверен, что вслед за римским ответом последуют всякие пожелания, уверения в любви и преданности и, наконец, покорнейшая просьба, чтобы мы пощадили имения его и его родных, за что он, вместе со своими родственниками, будет вечно нам благодарен.

– А каков же будет результат наших писем?

– Тот, что они окончательно упадут духом, а паны сенаторы вступят с нами в переговоры; и затем, после нескольких выстрелов на воздух, мы займем Великопольшу.

– Дай Бог, чтобы вы были правдивым пророком.

– Я уверен, что так будет, ибо знаю этих людей. У меня есть там много сторонников и друзей, и я знаю, как приняться за дело. Я ничего не забуду, порукой в этом – оскорбление, нанесенное мне Яном Казимиром, и любовь к Карлу-Густаву. Наши больше интересуются своими поместьями, чем благом родины. Все эти земли, по которым мы будем проходить, все это поместья Опалинских, Чарнковских и Грудзинских, а они-то и стоят под Устьем и поэтому будут при переговорах поклядисты, а что касается шляхты, то она, понятно, пойдет за панами воеводами.

– Своим знанием страны и ее жителей вы, ваша милость, оказываете его королевскому величеству такие услуги, которые не могут остаться без соответственной награды. Из всего вами сказанного я прихожу к заключению, что эта страна уже наша.

– Вполне можете! Вполне! Вполне! – повторил несколько раз Радзейовский.

– А в таком случае я занимаю ее именем его королевского величества Карла-Густава, – произнес серьезно Виттенберг.

Раньше чем шведские войска за Гейнрихсдорфом вступили в великопольскую землю, восемнадцатого июля в Устье прибыл шведский трубач с письмами от Радзейовского и Виттенберга.

Пан Владислав Скорашевский сам повел трубача к воеводе познанскому, а шляхта из ополченцев с удивлением присматривалась к «первому шведу», восхищаясь его выправкой, мужественным лицом и истинно панской осанкой. Толпа провожала его до самого воеводы, знакомые подзывали друг друга, указывая на него пальцами, смеялись над его сапогами с длинными и широкими голенищами и над длинной рапирой (которую прозвали «рожном»), висевшей на расшитом серебром поясе. Швед тоже бросал любопытные взгляды из-под широкой шляпы, как бы стараясь рассмотреть и пересчитать силы поляков, то разглядывал ополченцев, восточные наряды которых были для него новинкой.

Наконец его ввели к воеводе, где находились и все сановники, бывшие в лагере.

После прочтения писем началось совещание; воевода же поручил своим придворным угостить трубача по-солдатски, потом его перехватила шляхта и стала с ним пьянствовать; Скорашевский пристально всматривался в трубача и заподозрил в нем переодетого офицера, вечером он и высказал это подозрение воеводе, но тот все-таки не позволил его арестовать.

– Будь это сам Виттенберг, – сказал он, – все же это посол и должен уехать неприкосновенным. Я прикажу еще дать ему десять червонцев на дорогу.

Трубач между тем болтал на ломаном немецком языке со шляхтой, знавшей этот язык благодаря сношениям с прусскими городами, рассказывал о победах Виттенберга в различных краях, о численности войск, стоящих под Устьем, а особенно о необыкновенных орудиях. Все эти рассказы быстро облетели весь лагерь и взволновали шляхту.

В эту ночь никто почти не спал; во-первых, в полночь пришли отряды, стоящие под Пилой и Велюнем, затем сенаторы до утра совещались о том, как ответить Виттенбергу, а шляхта провела ночь в рассказах о шведском могуществе.

Она с лихорадочным любопытством расспрашивала трубача о шведских начальниках, о вооружении, о состоянии шведских войск. Близость неприятеля возбуждала необыкновенный интерес даже к каждой подробности, и все, что они услышали, не могло их особенно ободрить.

На рассвете приехал пан Станислав Скорашевский с известием, что шведы уже под Валчем и через день могут быть здесь. Шляхта засуетилась; почти все лошади были на пастбище, пришлось за ними посылать. Полки сели наконец на лошадей. Настала самая страшная минута для этих людей, не привыкших к войне: минута перед битвой. Ротмистрам стоило немало труда водворить хоть некоторый порядок. Не было слышно ни слов команды, ни труб, только слышались со всех сторон голоса: «Ян!», «Петр!», «Онуфрий!», «Где ты?», «Давай лошадь!» Если бы в эту минуту раздался хоть один пушечный выстрел, то он вызвал бы полную панику.

Но понемногу полки выстраивались; врожденная склонность шляхты к войне возместила ее неопытность, и к полудню ополчение приняло вполне боевой вид. Пехота стояла на валах, своими разноцветными одеждами напоминая цветы, а за валами, под защитой орудий, равнина запестрела полками поветовой конницы: ржание лошадей отдавалось эхом в прилежавших лесах и волновало сердца воинов.

Между тем воевода познанский, наградив шведского трубача, отпустил его с ответными письмами, более или менее оправдавшими предсказания Радзейовского; потом он приказал послать отряд на западный берег Нотеци для разведок.

Петр Опалинский, воевода полесский, двинулся во главе отряда драгун под Устье; кроме того, ротмистрам Скорашевскому и Скшетускому приказано было выбрать охотников из шляхты и послать их поближе посмотреть в глаза неприятелю.

Оба ротмистра, объезжая ряды войск, вызывали охотников познакомиться со шведами, но объехали уже большую половину, а никто еще не выходил. Все посматривали друг на друга, как бы говоря: «Если ты пойдешь, то и я».

Ротмистры уже начали выходить из терпения, как вдруг, подъехав к шляхте Гнезненского уезда, они заметили какого-то человека, одетого в пестрый костюм, который выдвинулся вперед и крикнул:

- Панове ополченцы, я иду в охотники, а вы – в шуты!
- Острожка! Острожка! – закричала шляхта.
- Я такой же шляхтич, как и вы! – ответил шут.
- Тьфу, черт! Довольно шутить! – воскликнул судья Росинский. – Я иду!
- И я, и я! – отозвались многочисленные голоса.
- Раз родиться, раз и умереть!
- Найдутся еще кроме вас.
- Никому не запрещено. Нечего перед другими нос задирать!

И как прежде охотников не находилось, так теперь они являлись со всех сторон. В несколько минут из рядов выехало пятьсот охотников-кавалеристов, а новые все выезжали и выезжали. Скорашевский, видя это, рассмеялся своим искренним, добродушным смехом:

- Довольно, довольно, панове! Мы все идти не можем.

Потом он со Скшетуским привел людей в надлежащий порядок, и отряд тронулся.

Воевода полесский тоже присоединился к ним, и вскоре они переправились через Нотец, а затем скрылись на повороте.

Через полчаса воевода познанский велел людям разойтись по палаткам, так как невысказанно было держать их в строю даже теперь, когда неприятель был еще на расстоянии целого дня пути от лагеря. Но на всякий случай была расставлена многочисленная стража; запрещено было выгонять лошадей на пастбище и приказано садиться на коней по первому сигналу трубы.

Кончилось, наконец, ожидание, кончились и ссоры; близость неприятеля, как и предсказывал Скшетуский, вызвала подъем духа. Первое удачное сражение могло бы поднять его очень высоко; вечером произошел случай, предвещавший счастливый исход войны.

Солнце уже садилось, заливая последним ослепительным блеском Нотец и занотецкие леса, как вдруг на другом берегу реки поднялось облако пыли, и среди него задвигались какие-то люди. Все вышли на валы и с нетерпением стали всматриваться в даль. Спустя некоторое время от Грузинского прибежал гонец с известием, что отряд его возвращается назад.

- Возвращаются назад. Не съели их шведы, – раздались голоса.

Между тем отряд подходил все ближе и, наконец, переправился через Нотец.

Шляхта присматривалась к нему, держа руки над глазами, так как блеск солнца становился все сильнее, и казалось, что весь воздух пропитан пурпуром и золотом.

- Э, да отряд, кажется, увеличился, – воскликнул Шлихтинг.

– Верно, пленных ведут! – крикнул какой-то шляхтич, должно быть трус, не веря своим глазам.

- Пленных ведут, пленные ведут! – прогремело по валам.

Наконец отряд приблизился настолько, что можно было различить лица. Впереди ехал пан Скорашевский, кивая, по обыкновению, головой и весело болтая со Скшетуским; за ними шла конница, окружавшая несколько десятков пехотинцев в круглых шляпах. Это действительно были шведы, взятые в плен. При виде их шляхта побежала навстречу отряду с криком:

- Виват Скорашевский! Виват Скшетуский!

Толпа тотчас же окружила отряд. Одни с любопытством смотрели на пленных, другие расспрашивали солдат, каким образом их захватили, третьи насмеялись над шведами.

- А что? Так вам и надо, собачьи дети! С поляками захотелось воевать? Вот вам поляки!
- Давайте их нам! В сабли их! Изрубить!

– Ну что, нехристи, попробовали вы польских сабель?

– Мосци-панове, не кричите, как мальчишки, не то пленные подумают, что война для вас новинка! – сказал Скорашевский. – Это самая обыкновенная вещь, на войне ведь всегда берут в плен!

Охотники, участвовавшие в экспедиции, с гордостью посматривали на шляхту, которая забрасывала их вопросами.

– Ну как? Легко они дались вам или пришлось-таки потрудиться?.. Хорошо дерутся?

– Молодцы, – ответил пан Росинский, – защищались хорошо, но, видно, и они не из железа... Поддались наконец, не выдержали напора.

– Слышите, мосци-панове, не выдержали напора! А что? Напор – первое дело!

– Напор – лучшее средство против шведа! Помните!

Если бы этой шляхте приказали в эту минуту броситься на неприятеля, у нее хватило бы сил и для напора, но неприятеля не было видно, а вместо него около полуночи перед форпостом раздался новый звук трубы. Приехал другой шведский трубач с письмом от Виттенберга, который предлагал шляхте сдаться. Узнав об этом, толпа хотела зарубить посла, но воеводы решили обсудить письмо, хотя содержание его было попросту наглым.

Шведский генерал объявлял, что Карл-Густав посылает войска своему родственнику Яну Казимиру на помощь против казаков, и поэтому великополяки должны сдаться без сопротивления. Грузинский, читая это письмо, не мог удержаться и стукнул в ярости кулаком по столу, но воевода познанский успокоил его вопросом:

– Вы верите, ваша милость, в победу? Сколько дней мы можем защищаться? Возьмете ли вы на себя ответственность за шляхетскую кровь, которая может завтра пролиться?

После продолжительного совещания воеводы решили не отвечать Виттенбергу, а ждать, что будет дальше. Но ждать пришлось недолго. 24 июля стража дала знать, что шведские войска уже перед Пилой. В лагере зашумело, как в улье.

Шляхта садилась на коней, воеводы проезжали вдоль рядов, отдавая противоречивые приказания; наконец, Скшетуский привел все в порядок и выехал во главе нескольких сот охотников, чтобы затеять стычку с неприятелем. Конница пошла за ним довольно охотно, так как первые стычки состояли обычно из ряда отдельных столкновений и даже поединков, и шляхта, умевшая фехтовать, таких стычек не боялась. Вышли за реку и остановились в виду неприятеля, который подходил все ближе и чернел на горизонте длинной линией. Развертывались пешие и конные полки, занимая все большее пространство. Шляхта думала, что рейтары, увидев поляков, сейчас же бросятся на них, но ошиблась. На возвышенностях, находившихся от них в нескольких сотнях шагов, показались небольшие группы всадников, стоявших на месте; увидев их, Скорашевский скомандовал:

– Налево кругом!

Но не успела прозвучать его команда, как на возвышенности показались белые облака дыма, и пули, словно стая птиц, прожужжали над головами шляхты; слышались крики и стоны раненых.

– Стой! – крикнул пан Скорашевский.

Пули прожужжали во второй и в третий раз, и снова слышались стоны раненых. Шляхта не слушала команды начальника и быстро отступала, крича и взывая о помощи. Скорашевский ругался, но это не помогало.

Прогнав с такой легкостью передовой отряд, Виттенберг подвигался дальше и наконец остановился у Устья, прямо против шанцев, защищаемых калишской шляхтой. Поляки начали стрелять из пушек, но шведы не отвечали. Дым тянулся длинными полосами в прозрачном воздухе, а в промежутках виднелись полки шведской пехоты и конницы, развертывавшиеся с таким спокойствием, точно они были уверены в победе.

Шведы стали устанавливать на возвышенностях пушки, возводить окопы, словом, укрепляться, не обращая никакого внимания на град пуль, которые только взрывали землю перед окопами.

Станислав Скшетуский вывел из окопов два полка калишан, рассчитывая смелой атакой смять шведов; но шляхта шла неохотно, отряд растянулся в бесформенную массу – смельчаки мчались вперед, трусы сдерживали своих лошадей. Виттенберг послал против них два полка рейтар, которые после непродолжительной борьбы прогнали шляхту к лагерю.

Между тем наступили сумерки и закончили бескровный бой.

Но выстрелы из пушек не прекращались до поздней ночи; в польском лагере поднялся такой шум, что его слышно было на другом берегу Нотеци. Вызван он был тем, что несколько сот ополченцев, воспользовавшись темнотой, попытались скрыться из лагеря. Заметив это, шляхта их непустила. Схватились за сабли. Слова: «Или все, или никто» – снова переходили из уст в уста. Но с каждой минутой становилось вероятнее, что уйдут все. Шляхта выражала свое неудовольствие против вождей. «Нас выслали против пушек с голыми руками», – кричали ополченцы.

Это была страшная ночь: беспорядок и суматоха росли с каждой минутой, никто не слушал приказаний. Воеводы потеряли головы и не пробовали даже водворять порядок. Беспомощность их, как и беспомощность войска, сказывалась во всем. Виттенберг мог бы в эту ночь овладеть лагерем почти без боя.

Рассвело. Бледное утро осветило это хаотическое сборище упавших духом людей, частью пьяных, готовых скорее на позор, чем на борьбу. К довершению всего шведы переправились ночью под Дзембовом на другую сторону Нотеци и окружили польский лагерь.

С этой стороны не было почти никаких окопов, и нельзя было защищаться; следовало немедленно же возвести окопы, о чем и заботились более всего Скорашевский и Скшетуский, но их никто не хотел слушать. У вождей и у шляхты на устах было только одно: «Послать парламентаров!» В ответ на предложение поляков в лагерь прибыл великолепный отряд, во главе которого были генерал Виртц и Радзейовский, оба с зелеными ветвями в руках.

Ехали к дому воеводы познанского. По дороге Радзейовский остановился среди толпы шляхты и, сняв шляпу, здоровался со знакомыми, улыбался и наконец произнес громким голосом:

– Мосци-панове, дорогие мои братья! Не тревожьтесь! Мы приехали сюда не как враги. От вас самих зависит прекратить кровопролитие. Если хотите, вместо тирана, посягающего на вашу свободу, мечтающего об *absolutum dominium* и приведшего отечество к гибели, если хотите – повторяю – иметь государя доброго, великодушного, воина столь славного, что при одном его имени разбегутся все враги Речи Посполитой, то отдайтесь под покровительство его величества, короля Карла-Густава... Мосци-панове, я везу вам обеспечение вашей свободы и религии, от вас самих зависит ваше спасение. Его величество король Карл обещает успокоить казаков и прекратить литовскую войну¹¹, и он один сумеет это сделать. Сжальтесь же над несчастной отчизной, если не хотите сжалиться над собою...

Голос изменника дрогнул, точно от слез. Шляхта слушала его с изумлением. Кое-где раздавались голоса: «Виват Радзейовский, наш подканцлер!» Между тем он ехал далее, снова раскланивался со шляхтой, и все раздавался его громкий голос. Наконец оба они с Виртцем и всей свитой скрылись в доме воеводы познанского.

Шляхта столпилась перед домом так тесно, что по головам можно было проехать. Она чувствовала и понимала, что там решается участь не только ее, но и всей отчизны. Вдруг вышли слуги воеводы и стали приглашать более знатных лиц в комнаты; за ними пробралось

¹¹ Т.е. войну Речи Посполитой с Русским государством.

и несколько человек мелкой шляхты, остальные ожидали у крыльца, теснились к окнам, прикладывали Уши даже к стенам.

Царило глубокое молчание. Стоявшие ближе к окнам слышали порою шум громких голосов; но час проходил за часом, а совещание все еще не кончалось.

Вдруг дверь с треском открылась, и на крыльцо выбежал пан Владислав Скорашевский. Шляхта попятилась в ужасе.

Человек этот, всегда такой спокойный и ласковый, о котором говорили, что под его рукой заживают раны, был теперь страшен. Глаза его были красны, взгляд безумен, платье растегнуто на груди; обеими руками он держался за голову и, ворвавшись, как ураган, в толпу шляхты, кричал отчаянным голосом:

– Измена! Позор! Мы уже больше не поляки, а шведы!

И он стал рыдать страшным голосом и рвать на себе волосы, как человек, потерявший рассудок. Гробовое молчание царило вокруг. Всеми овладело какое-то страшное предчувствие. Скорашевский вскочил вдруг и опять начал бегать среди шляхты и кричать голосом, полным отчаяния:

– К оружию, к оружию! Кто в Бога верует!

Тогда в толпе послышался какой-то прерывистый шепот, точно первый порыв ветра перед бурей; люди колебались, а в это время трагический голос не переставал повторять:

– К оружию! К оружию!

Вскоре к нему присоединились и два другие: Скшетуского и ротмистра познанского полка, Клодзинского.

Их окружила толпа шляхты. Поднялся грозный ропот; лица вспыхнули огнем, глаза разгорелись, и некоторые хватались за сабли. Наконец Скорашевский овладел собой и, указывая на дом, в котором происходили переговоры, произнес:

– Слышите, мосци-панове. Они там, как Иуды, предают и позорят отчизну. Знайте, что нет уж Польши... Им мало отдать в руки неприятеля вас всех, войско, орудия, весь лагерь. Они еще подписали от нашего имени, что мы отказываемся от связи с отчизной, отрекаемся от государя, что вся страна, все города и крепости на вечные времена принадлежат Швеции. Что сдается войско – это часто бывает; но кто имеет право отречься от своей отчизны, государя?! Кто может присоединять отчизну к чужому народу, отречься от родной матери?! Ведь это измена, позор, Панове братья! Кто шляхтич, спасайте отчизну. Пожертвуйте своей жизнью, прольем кровь до последней капли, но не будем шведами, нет! Пусть бы лучше не родился тот, кто теперь жалеет свою кровь. Спасем мать-отчизну!

– Измена! – крикнуло несколько голосов. – Измена! Руби их!

– Кто чести не потерял, за мной! – кричал Скшетуский.

– На шведа, на смерть! – прибавил Клодзинский.

И они пошли дальше по лагерю с криком: «За нами, за нами! Измена!» – а за ними пошло несколько сот человек шляхты с обнаженными саблями.

Но большинство осталось на месте, да и те, что пошли, как только заметили, что их мало, начали приостанавливаться и оглядываться на других.

В это время дверь дома открылась снова, и на пороге появился воевода познанский Кристофор Опалинский в сопровождении генерала Виртца и Радзейовского, за ними шли: Андрей Грудзинский, Максимилиан Мясковский, Павел Гембицкий и Андрей Слупский.

Опалинский держал в руке сверток пергамента со свешивающимися печатями; голову он держал высоко, но лицо его было бледно, хотя он старался казаться веселым. Окинув взглядом толпу, среди которой царило мертвое молчание, он отчетливо, слегка хрипатым голосом произнес:

– Мосци-панове, с сегодняшнего дня мы отдаемся под покровительство его величества короля шведского. Да здравствует король Карл-Густав!

Молчание было ему ответом; вдруг загремел чей-то голос:

– Veto!¹²

Воевода взглянул туда, откуда раздался голос, и ответил:

– Здесь не сеймик, veto неуместно. Кто хочет перечить, пусть идет под шведские пушки, которые через час превратят лагерь в развалины.

После минутного молчания он спросил:

– Кто сказал «veto»?

Никто не откликнулся.

Воевода продолжал еще более отчетливым голосом:

– Свобода шляхты и духовенства будет сохранена; подати не будут увеличены и будут собираться в том же порядке, как и раньше. Теперь никто уже не будет терпеть ни обид, ни грабежей; войска его величества будут иметь право постоя в шляхетских имениях, но шляхта не обязана их содержать.

Он замолчал и жадно слушал шум голосов в толпе, точно силясь понять его смысл. Потом опять поднял руку:

– Кроме того, мы заручились словом генерала Виттенберга, данным от имени короля, что если вся страна последует нашему примеру, то войска его пойдут на Литву и Украину и будут драться до тех пор, пока все замки не будут возвращены Речи Посполитой. Да здравствует король Карл-Густав!

– Да здравствует король Карл-Густав! – пронеслось по всему лагерю.

Тут, на глазах у всех, воевода стал обниматься с Радзейовском и Виртцем, а затем его примеру последовали другие. Радостные крики огласили воздух. Но воевода познанский просил еще слова:

– Мосци-панове, генерал Виттенберг приглашает нас к себе на пир, чтобы за бокалами вина скрепить братский союз с мужественным народом.

– Да здравствует Виттенберг! Виват! Виват!

– А затем, мосци-панове, мы разойдемся по домам и с Божьей помощью примемся за жатву, с той мыслью, что спасли сегодня нашу отчизну от гибели.

– История воздаст вам должное! – сказал Радзейовский.

– Аминь! – закончил воевода познанский.

Вдруг он заметил, что глаза всех устремлены на что-то над его головой. Обернувшись, он увидел, что его шут, поднявшись на цыпочки и одной рукой держась за дверь, пишет на стене углем: «Мене – Текел – Фарес»¹³. Небо было покрыто тучами; собиралась буря.

¹² Запрещаю! (*лат.*).

¹³ Сочтено – взвешено – измерено (*халдейск.*).

XI

В деревне Буржец, расположенной на границе Полесского воеводства и принадлежавшей в то время Скшетуским, в саду, между домом и прудом, сидел на скамейке старик, а у его ног играли два мальчика, четырех и пяти лет, загорелые и черные, как цыганята, здоровые и румяные. У старика тоже был бодрый вид. Время не согнуло его широких плеч, по взгляду его глаз, или, вернее, одного глаза, так как другой был покрыт бельмом, было видно, что он пользуется цветущим здоровьем и хорошим расположением духа; у него была седая борода, лицо красное, а на лбу широкий рубец, под которым виднелась кость черепа.

Оба мальчика, схватившись за уши голенищ его сапог, тащили их в разные стороны, а он между тем смотрел на освещенный солнечными лучами пруд, где весело прыгали рыбки, зыбля гладкую поверхность воды.

– Рыбы пляшут, – пробормотал он про себя. – Погодите, не так вы запляшете на столе, когда вас кухарка ножом будет чистить.

Потом он обратился к мальчикам:

– Да отвяжитесь наконец, сорванцы; если кто-нибудь из вас оторвет мне ухо от голенища, я ему тоже уши оборву. Что за несносные жуки! Идите и кувыркайтесь на траве, а меня оставьте в покое; я не удивляюсь Лонгину – он маленький, но ты должен уже быть умнее, Еремка. Вот схвачу вас да и брошу в пруд.

Но эта угроза, видимо, не особенно испугала их; напротив, старший, Еремка, стал еще сильнее тереть голенище, топоча ножками и повторяя:

– Если бы ты, дедушка, был Богуном и схватил Лонгина.

– Говорю тебе, отвяжись от меня, жук ты этакий.

– Если бы ты был Богуном...

– Я тебе задам Богуна... Вот сейчас мать позову.

Еремка взглянул на дверь, ведущую из дома в сад, но, не видя нигде матери, еще раз повторил, вытягивая губы:

– Если бы ты был Богуном...

– Замучат меня эти бесенята... Ну хорошо, я буду Богуном, но только один раз. Наказание Божье с ними. Помни, чтобы это было в последний раз!

С этими словами старик со вздохом поднялся со скамьи, схватил маленького Лонгина и, издав дикий крик, понес его по направлению к пруду.

Но у Лонгина был надежный защитник в лице Еремки, который в таких случаях назывался не Еремкой, а драгунским ротмистром паном Володыевским.

Пан Михал, вооружившись липовым прутом, заменявшим в данном случае саблю, пустился в погоню за толстым Богуном, догнал его наконец и стал немилосердно хлестать его по ногам.

Лонгинек, играющий в эту минуту роль матери, кричал, Богун кричал, Еремка-Володыевский тоже кричал; наконец мужество одержало верх, и Богун, выпустив свою жертву, начал удирать назад под липу, затем сел на скамью и, запыхавшись, сказал:

– Ах вы, басурманы! Чудо будет, если я не задохнусь...

Но этим не кончились его мучения, через минуту перед ним опять стоял Ерема с разрянувшимся лицом, растрепанными волосами, раздувающимся ноздрями и похожий на маленького ястреба и еще настойчивее повторял:

– Если бы ты, дедушка, был Богуном...

Затем, после усиленных просьб и торжественного обещания, что это в последний раз, опять повторилась та же история, потом они сели на скамью, и Еремка стал спрашивать:

– Дедушка, скажи, пожалуйста, кто из нас самый храбрый.

– Ты, ты, – ответил старик.

– И когда вырасту, я буду рыцарем?

– Еще бы... В тебе настоящая рыцарская кровь. Дай Бог, чтобы ты был похож на отца; тогда ты будешь не только храбр, но и не так надоедлив... Понимаешь?

– Скажи, сколько человек папа убил?

– Да я уже сто раз говорил. Скорее можно было бы сосчитать листья на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы убили с твоим отцом. Если бы у меня было столько волос на голове, сколько я их сам уложил, то цирюльники давно бы нажили состояние. Будь я шельма, если я солг...

Тут Заглоба – это был он – вспомнил, что ему не годится в присутствии детей ни ругаться, ни божиться, и он, хотя и любил, за недостатком других слушателей, рассказывать о своих подвигах детям, умолк, тем более что в эту минуту рыбы в пруде начали прыгать и гоняться друг за другом еще сильнее.

– Нужно сказать садовнику, – произнес он, – на ночь поставить верши; много рыбы у самого берега.

Вдруг дверь дома отворилась, и в ней появилась молодая женщина, прелестная, как южное солнце, высокая, стройная, черноволосая, с ярким румянцем на щеках и с глазами как бархат. Трехлетний мальчик, такой же черный, как она, держался за ее платье, а она, прикрыв рукой глаза от солнца, стала смотреть по направлению к липе.

Это была Елена Скшетуская, урожденная княжна Булыга-Курцевич.

Увидев пана Заглобу с Еремкой и Лонгином, она подошла к канаве, наполненной водой, и крикнула:

– Дети, сюда. Вы там, верно, надоедаете дедушке.

– Зачем надоедают. Очень прилично себя ведут, – ответил пан Заглоба.

Мальчики подбежали к матери, а она спросила:

– Отец, что вы сегодня будете пить: дубнячок или мед?

– На обед была свинина, так мед будет соответственнее.

– Сейчас пришло. Но вы, отец, не спите в саду, а то ведь лихорадку схватите.

– Сегодня тепло и не ветрено. А где же Ян, доченька?

– Пошел в ригу.

Пани Скшетуская называла Заглобу отцом, а он ее дочерью, хотя они вовсе не были родными. Ее родня жила в Заднепровье, в прежнем княжестве Вишневецком, а что касается его, то один Бог знал, откуда он был родом, ибо сам разное об этом говорил. Но в то время, когда она еще была девушкой, Заглоба оказал ей немало услуг, не раз спасал от страшных опасностей, и оба они с мужем чтити его, как родного отца. Впрочем, он пользовался огромным уважением всех окрестных жителей благодаря необыкновенному уму и необыкновенному мужеству, выказанному им во время войны с казаками.

Имя его гремело по всей Речи Посполитой; сам король восхищался его остротами, и вообще о нем говорили больше, чем о Скшетуском, хотя он некогда пробрался из осажденного Збаража сквозь все казачьи войска.

Несколько минут спустя после ухода пани Скшетуской казачок принес под липу ковш меду. Пан Заглоба налил, затем закрыл глаза и, хлебнув глоток, стал смаковать.

– Знал Господь, для чего создал пчел, – пробормотал он. И стал попивать маленькими глотками, тяжело вздыхая и поглядывая на пруд, на лес вдаль, синевший на том берегу.

Было два часа пополудни, на небе ни облачка. Липовый цвет падал без шелеста на землю, а на липе, между листьями, пел целый хор пчел, которые садились на край стакана и стали собирать своими косматыми ножками сладкий напиток.

Над огромным прудом, с отдаленных тростников, поднимались время от времени стаи диких уток и гусей и ряли в прозрачно-голубой выси. Иногда чернела в вышине стая журавлей, оглашая воздух громким криком.

Глаза старика то поднимались к небу, то устремлялись вдаль; наконец, по мере того как убывал мед из кувшина, веки его стали тяжелеть, а пчелы продолжали петь свою песню, точно убаюкивая его.

– Да, Бог дал дивную погоду для жатвы, – пробормотал пан Заглоба. – Сено уже убрали, да и с жатвой скоро покончат... Да...

Он закрыл глаза, потом опять открыл их, пробормотал: «Замучили меня ребятишки» – и уснул...

Заглоба спал долго. Его разбудил прохладный ветерок и разговор двух мужчин, приближавшихся к липе. Один из них был пан Ян Скшетуский, збаражский герой, оставшийся дома лечиться от упорной лихорадки; второго пан Заглоба не знал, хотя он был очень похож на Яна.

– Позвольте вам, отец, представить моего двоюродного брата, – сказал Ян, – калишского ротмистра Станислава Скшетуского.

– Вы так похожи на Яна, – произнес Заглоба, протирая глаза, – что где бы я вас ни встретил, непременно бы сказал: «Скшетуский». Вы – дорогой гость.

– Мне очень приятно познакомиться с ваць-паном, – ответил Станислав, – ибо имя ваше повторяет с благоговением вся Речь Посполитая.

– Не хвастая, скажу: делал я что мог, пока чувствовал себя сильным. Я и теперь не отказался бы от войны, потому что привычка – вторая натура. Но скажите, Панове, чем вы оба так опечалены? Ян даже побледнел.

– Станислав привез ужасные вести, – ответил Ян. – Шведы вошли в Великопольшу и заняли ее целиком своими войсками.

Пан Заглоба так быстро вскочил со скамьи, точно у него с плеч свалилось сорок лет; потом широко раскрыл глаза и невольно стал ощупывать левый бок, словно искал саблю.

– Как?! – воскликнул он. – Неужели они в самом деле ее заняли?!

– Потому что воевода познанский и другие сами отдали ее в руки неприятеля под Устьем, – ответил Станислав.

– Ради бога... Что вы говорите?! Неужто они сдались?

– Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и Речи Посполитой. Отныне там уже будет Швеция, а не Польша.

– Боже милосердный... Видно, уж конец света! Что я слышу... Мы еще вчера с Яном говорили об этом. Мы слышали, что они идут, но были уверены, что все кончится ничем, а в крайнем случае тем, что наш король откажется от шведского титула.

– А между тем началось с потери провинции, а кончится бог знает чем.

– Не говорите, ваць-пане, со мной удар делается. Как же это? И вы были под Устьем? И вы видели это собственными глазами? Да ведь это была измена, страшная, не слыханная ни в одной истории...

– Да, я был и видел все собственными глазами, а была ли это измена – вы скажете, когда я вам расскажу все. Все мы вместе с ополчением стояли под Устьем, и было нас около пятнадцати тысяч. Правда, войска было мало, а вы, как человек сведущий, знаете лучше других, что ополченцы, в особенности великопольские, где шляхта совсем отвыкла от войны, не могут его заменить. И все же если бы нашелся настоящий вождь, можно было бы, по крайней мере, задержать неприятеля до тех пор, пока не подоспела бы помощь. Но только лишь показался Виттенберг, как уже начались переговоры. Потом приехал Радзейовский и своими доводами склонил всех сделать все то, о чем я уже говорил, то есть пойти на неслыханный позор.

– Как так? И никто не протестовал? Никто не назвал их изменниками? Все согласились на измену королю и отчизне?

– Гибнет добродетель, а с нею и Речь Посполитая... Почти все согласились. Я, двое Ско-
рашевских, Цисвицкий и Клодзинский употребляли все усилия, чтобы воодушевить шляхту;
мы бегали по лагерю от полка к полку и умоляли их не губить отчизны. Но это не помогло:
большинство предпочло лучше ехать с ложками на пир к Виттенбергу, кто по домам, кто в
Варшаву, уведомить обо всем короля, а я приехал к брату, надеясь, что, быть может, мы вместе
пойдем против неприятеля. Какое счастье, что я вас застал дома.

– Так вы прямо из-под Устья?

– Да. Я ехал сюда почти без отдыха, одна лошадь даже пала от усталости. Шведы теперь,
вероятно, в Познани и скоро наводнят всю страну.

Все умолкли. Ян сидел, закрыв лицо руками, Станислав вздыхал, Заглоба смотрел то на
одного, то на другого.

– Это дурное предзнаменование, – сказал, наконец, Ян. – Прежде на десять побед при-
ходилось одно несчастье, и мы удивляли весь мир своим мужеством! Теперь же кроме пора-
жений случилась еще и измена, и не единичных лиц, а целых провинций. Боже, смилуйся над
отчизной!

– Боже... Много я видел на свете, но и то ушам своим не верю, – сказал Заглоба.

– Ну а ты, как решил? – спросил Станислав.

– Конечно, дома не останусь, хотя меня еще трясет лихорадка. Жену и детей нужно будет
услать куда-нибудь в безопасное место. Мой родственник, королевский ловчий, пан Стабров-
ский, живет в Беловеже. Если даже вся Речь Посполитая будет в руках шведов, то все-таки они
туда не доберутся. Завтра же я отошлю жену и детей.

– Эта предосторожность не будет излишней, – ответил Станислав. – Правда, что отсюда
до Великопольши далеко, но кто может поручиться, что пламя войны не охватит и наших краев.

– Нужно будет дать знать шляхте, – сказал Ян, – чтобы она позаботилась о защите, здесь
никто еще ни о чем не знает.

Затем он обратился к Заглобе:

– Ну а вы, отец, пойдете с нами или останетесь с Еленой?

– Я? – сказал Заглоба. – Пойду ли? Если бы мои ноги выросли в землю, то я бы и тогда
постарался их вырвать. Мне так хочется снова попробовать шведского мяса, как волку – бара-
нины. Черти! Нехристи! Должно быть, их блохи одолели, вот ноги и чешутся, не сидится им на
месте, лезут в чужие края. Знаю я их хорошо, собачьих детей. Я воевал против них с Конеч-
польским, и если хотите знать, кто взял в плен Густава-Адольфа, – спросите хоть покойного
пана Конецпольского, я больше ничего не скажу. Знаю я их, но и они меня знают. Не иначе как
узнали, шельмы, что Заглоба состарился... Погодите, вы еще его увидите! Господи милосерд-
ный, зачем ты так разгородил эту несчастную Речь Посполитую, что все соседние свиньи в нее
лезут; вот и теперь три лучшие провинции изрыли. Вот что. А кто этому виной, как не измен-
ники?! Не знала зараза, кого брать, и честных людей забрала, а изменников оставила. Пошли
ее, Боже, на воеводу познанского и воеводу калишского, а прежде всего на Радзейовского со
всей его семьей. А если хочешь население ада увеличить, то пошли туда всех, кто под Устьем
подписал капитуляцию. Состарился Заглоба? Вы увидите, как состарился. Ян, решай скорее,
что нам делать, а то мне уж на коня хочется.

– Конечно, нужно решить. На Украину к гетманам трудно пробраться, неприятель отре-
зал их от Речи Посполитой; остается свободной только дорога в Крым. Счастье, что татары
на нашей стороне. По-моему, лучше всего нам ехать в Варшаву, защищать нашего дорогого
государя.

– Как бы нам только не опоздать, – ответил Станислав. – Его величество теперь наспех
собирает полки против неприятеля и, может, уже выступил против него.

– И это может быть.

– Значит, едем в Варшаву, только поскорее, – сказал Заглоба. – Послушайте, панове. Хотя наши имена и страшны для неприятеля, но втроем мы сделаем не много, и я посоветовал бы кликнуть охотников и собрать хоть небольшой отряд в подмогу королю. Я думаю, что их легко будет уговорить, так как им все равно придется идти в ополчение. С большей силой можно больше и сделать, да и нас примут с распростертыми объятиями.

– Не удивляйтесь моим словам, – сказал Станислав, – но после того, что я видел, я питаю такое отвращение к ополченцам, что предпочитаю идти лучше один, чем с толпой людей, несведущих в военном деле.

– Вы не знаете здешней шляхты. Здесь вы ни одного человека не найдете, который бы не служил в военной службе. Все они прекрасные и опытные солдаты.

– Разве что так.

– Да как же может быть иначе? Но погодите. Ян уже знает, что если моя голова начнет работать, то что-нибудь придумает. Поэтому я жил в такой дружбе с русским воеводой, князем Еремией. Ян может подтвердить, сколько раз этот первый в мире воин слушался моих советов и никогда об этом не жалел.

– Говорите скорее, отец, что вы хотели, а то время дорого, – сказал Ян.

– Что я хотел сказать? А вот что: я хотел сказать, что не тот защищает отчизну и короля, кто держится за его полы, но тот, кто бьет неприятеля; а бьет тот, кто служит под начальством великого полководца. Зачем идти в Варшаву, когда король уже, быть может, выехал в Краков, в Львов или на Литву? Я советую отправиться без промедления под знамена великого гетмана, князя Януша Радзивилла. Хотя его и упрекают в честолюбии, но он, конечно, не пойдет на капитуляцию со шведами. Это, по крайней мере, настоящий вождь И гетман. Правда, тесновато нам тут будет, придется иметь дело с двумя врагами, но зато мы увидим пана Михала Володыевского и по-прежнему станем служить вместе. Если мой совет не хорош, то пусть меня первый швед проткнет шпагой.

– Кто знает, может быть, так будет лучше всего, – ответил с живостью Ян. – По дороге и Гальшку отвезем в пуцу с детьми, ведь нам все равно ехать мимо.

– И будем служить в войске, а не с ополченцами, – прибавил Станислав.

– И будем драться, а не спорить на сеймиках да кур и творог поедать в деревнях.

– Я вижу, что вы не только лучший воин, но и лучший советчик.

– А что? Правда?

– Действительно, – заметил Ян, – это самый лучший совет. Мы по-прежнему соберемся вместе, и ты, Станислав, узнаешь одного из лучших солдат Речи Посполитой, моего искреннего друга. А теперь пойдем к Елене и скажем, чтобы она готовилась в путь.

– А разве она уже знает о войне? – спросил Заглоба.

– Знает. Станислав при ней рассказывал. Бедная, вся в слезах. Но когда я ей сказал, что нужно идти, то сейчас же ответила: «Иди».

– Хорошо бы завтра отправиться! – воскликнул Заглоба.

– Мы отправимся завтра на рассвете, – ответил Ян. – Ты, Станислав, должно быть, устал с дороги, но до завтра немного отдохнешь. Я сегодня же вышлю лошадей в Белую, Лосицы, Дрогичин и Бельск, чтобы были свежие для перемены. А за Вельском недалеко и пуца. Вozy с вещами тоже отправлю. Жаль мне оставлять милый угол, но на то воля Божья. Одно меня утешает: что жена и дети будут в безопасности; пуца – самая лучшая крепость. Ну идемте, панове, домой – время заняться сборами.

Они пошли.

Пан Станислав, измученный долгой дорогой, отправился отдохнуть, а Заглоба с Яном принялись за приготовления к дороге; так как в доме пана Яна был образцовый порядок, то к вечеру и возы, и люди были отправлены, а ночью за ними отправилась коляска, в которую

Ян усадил жену с детьми. Сам он в сопровождении Станислава, Заглобы и пяти слуг выехал верхом и сопровождал коляску.

Они ехали почти без остановок и на пятый день доехали до Вельска, а на шестой углубились в девственную пущу со стороны Гайновщины.

Они погрузились в сумрак огромного леса, занимавшего несколько десятков квадратных миль и сливавшегося с одной стороны с пущами Зеленкой и Роговской, а с другой – с прусскими лесами.

Никогда еще неприятель не заходил в эти темные глубины, где так легко было заблудиться и сделаться жертвой хищных зверей. Неверные тропинки среди непроходимой пущи, среди болот и страшных сонных озер, проложенные не выходящими целые века из пущи, могли завести бог весть куда. В Беловеж вел только один широкий тракт, прорезываемый проселками, по которому короли ездили на охоту. По этой-то дороге и ехал Скшетуский со стороны Вельска и Гайновщины.

Пан Стабровский, королевский ловчий, старый холостяк, сидел безвыездно в пуще, точно зубр; он принял Скшетуских с распростертыми объятиями, детей чуть не задушил поцелуями. Он был в одиночестве и не видел годами живой души. Узнав о причине их посещения и о войне, он сильно опечалился. Впрочем, часто случалось, что умирал король или разгоралась война, а в пуще об этом никто и не знал. Только тогда и узнавал он новости, когда возвращался от литовского подскарбия, после ежегодного доклада об охотничьем хозяйстве, которым заведовал.

– Скучно будет здесь, очень скучно, – говорил Стабровский Елене, – но зато безопасно как нигде. Ни один неприятель не проберется через эти стены, а если бы и попробовал, то ему несдобровать. Легче завоевать Речь Посполитую – чего не приведи Бог! – чем пущу. Я здесь живу двадцать лет, но и я не знаю ее хорошо; есть совершенно недоступные места, где живет только зверь, да, может, еще злые духи прячутся от церковного благовеста. Мы здесь живем набожно; в деревне у нас есть часовня, куда раз в год приезжает ксендз из Вельска. Вам будет здесь как у Христа за пазухой, если только не соскучитесь. Зато в дровах недостатка не будет.

Пан Ян был рад, что нашел жене такое убежище, но напрасно Стабровский убеждал его погостить. Только переночевав, он на следующее утро на рассвете отправился в путь в сопровождении проводников, которых дал ему ловчий.

XII

Когда, после утомительного путешествия, пан Ян с братом и Заглобой прибыли в Упиту, пан Михал Володыевский чуть с ума не сошел от радости, тем более что уже давно не имел о них никаких известий и думал, что Ян на Украине с королевским полком. Он еще больше обрадовался, когда узнал, что они приехали в Упиту, чтобы поступить на службу к Радзивиллу.

– Слава богу, что мы опять собрались вместе! – воскликнул он. – С такими товарищами и служить веселее.

– Это была моя мысль, – сказал пан Заглоба. – Ведь они хотели ехать в Варшаву. Но я им сказал: а почему бы нам не вспомнить старые времена с паном Михалом. Если Господь нам поможет, как помогал с татарами и казаками, то не одна шведская душа будет у нас на совести.

– Господь вас вдохновил, – сказал пан Михал.

– Но я удивляюсь, как это вы узнали об Устье и о войне, – заметил Ян. – Мы думали первые привезти вам это известие.

– Должно быть, это известие дошло через жидов, – сказал Заглоба, – это они всегда первые узнают все новости. Уж известно, что если кто-нибудь из них утром чихнет в Великопольше, то вечером на Жмуди и на Литве ему отвечают: «На здоровье».

– Не знаю, как это случилось, – ответил пан Михал, – но мы все знаем уже два дня – и это нас просто убило. В первый день мы не поверили, но на другой день уже никто не сомневался. Скажу больше: еще войны не было, а казалось, что птицы о ней в воздухе пели, потому что все вдруг и без всякого повода заговорили о ней. Наш князь-воевода, должно быть, узнал что-то раньше других, потому что еще два месяца тому назад прилетел в Кейданы и приказал собирать войска. Сбирал я, Станкевич и некто Кмициц, оршанский хорунжий, который, я слышал, со своим полком уже в Кейданах. Он справился скорее всех.

– Ты хорошо знаешь князя-воеводу, Михал? – спросил Ян.

– Как же мне не знать, когда я под его начальством прослужил всю последнюю войну.

– Что же ты думаешь о нем? Надежный это человек?

– Это лучший воин, после князя Еремии, во всей Речи Посполитой. Правда, его разбили недавно, но у него было только шесть тысяч человек против восьмидесяти тысяч. Пан подскарбий и пан воевода витебский упрекают его за это и говорят, что он потому пошел на неприятеля с такими ничтожными силами, что не хотел делиться славой с ними. Бог знает, как это было. Но я, видевший все собственными глазами, могу только сказать, что если бы у него было достаточно войска и денег, то неприятель лег бы костьми в этой стране. Я уверен также, что если он примется за шведов, то мы не станем здесь ожидать, но пойдем им навстречу в Инфляндию¹⁴.

– Из чего вы это заключаете?

– Во-первых, из того, что после цыбиховского поражения князь захочет восстановить свою репутацию, во-вторых, он любит войну.

– Правильно, – сказал Заглоба, – я его знаю – мы вместе в школу ходили, и я за него сочинения писал. Он всегда любил войну и дружил со мной больше, чем с другими, потому что я и сам предпочитал лошадь латыни.

– Конечно, он не то что воевода познанский, – заметил Станислав Скшетуский, – это совсем другой человек!

Володыевский начал расспрашивать его обо всем, что произошло под Устьем, и хватался за голову, а когда Скшетуский кончил, он воскликнул:

– Вы правы! Наш Радзивилл на это неспособен. Горд он как дьявол и думает, что во всем свете нет никого знатнее Радзивиллов. Он не выносит противоречий и сердит на Госевского,

¹⁴ *Лифляндия (пол. Инфлянты)* – территория современной северной части Латвии и южной части Эстонии).

прекрасного человека, за то, что тот не пляшет под дудку Радзивиллов. На короля он тоже дует за то, что ему довольно долго пришлось дожидаться литовского гетманства. Все это правда. Но я готов поклясться, что он скорее пролил бы до капли свою кровь, чем согласился бы подписать капитуляцию под Устьем. Нам, может быть, и тяжело придется, но зато у нас будет настоящий гетман.

– Этого и надо! – воскликнул Заглоба. – Нам нечего больше и желать. Опалинский писака и сейчас же показал, на что он способен. Это самый последний сорт людей. Кое-как владеет пером, а уж думает, что умнее всех. Я сам в молодости занимался стихотворством, желая покорить женские сердца, и давно бы Кохановского в бараний рог загнул, если б солдатская натура не помешала.

– Кроме того, я должен сказать и то, – прибавил Володыевский, – что если двинется здешняя шляхта, то народу соберется немало, лишь бы только денег хватило.

– Ради бога! – воскликнул пан Станислав. – Не нужно нам ополченцев! Ян и пан Заглоба знают, что я предпочитаю быть последним солдатом в регулярном войске, чем гетманом в ополчении.

– Здесь народ храбрый! – возразил пан Володыевский. – Примером может служить мой полк. Я уверен, что если бы я не сказал вам раньше, то не узнали бы, что это молодые солдаты. Каждый из них закален в огне, как старая подкова. С ними не так легко справятся шведы, как с вашими великополянами под Устьем.

– Будем надеяться, что Бог нам поможет, – сказал Скшетуский. – Говорят, что шведы хорошие солдаты. Мы били их всегда, даже тогда, когда они пришли к нам с лучшим полководцем, какой только у них был.

– Правду говоря, любопытно узнать, каковы они в деле, – сказал пан Володыевский, – и если бы не то, что у нас уже две войны, я бы этой радовался. Мы имели дело с турками, татарами, казаками и бог весть еще с кем, а теперь не мешает испробовать свои силы на шведах. Плохо только то, что гетманы и все войска заняты на Украине. Но здесь я знаю, что будет: князь-воевода сам займется шведами. Трудно нам будет, но авось Бог нас не оставит.

– В таком случае, едемте скорее в Кейданы, – сказал Станислав Скшетуский.

– Я уже получил приказание держать полк наготове и не позже трех дней явиться туда. Я должен показать его вам, из него явствует, что воевода уже подумал о шведах.

При этом Володыевский достал из шкатулки вдвое сложенную бумагу и начал читать:

– «Мосци-пане полковник Володыевский.

Мы с большим удовольствием прочли ваш рапорт, что полк ваш уже на ногах и готов в поход. Держите его наготове, ибо настают тяжелые времена, каких еще не бывало, и спешите в Кейданы, где мы с нетерпением будем вас ожидать. Если до вас будут доходить какие-нибудь известия, то не верьте им, пока не услышите все из наших уст. Мы поступим так, как Бог и совесть нам предписывают, не обращая внимания на злобу наших врагов. Но мы радуемся, что скоро настанет время, когда выяснится, кто искренний друг Радзивиллов и кто готов служить им даже в несчастье. Кмициц, Невяровский и Станкевич привели уже свои полки. Ваш полк пусть станет в Упите, ибо он там может понадобиться, или же двинется под командой моего двоюродного брата, его сиятельства князя Богуслава, на Полесье. Обо всем вы узнаете от нас лично, а пока поручаем себя вашей преданности и готовности исполнить наши приказания и ждем вас в Кейданах.

Януш Радзивилл. Князь на Биржах и Дубинках, воевода виленский и великий гетман литовский».

– Да, по этому письму видно, что затевается новая война, – заметил Заглоба.

– Но князь пишет, что поступит, как велит ему Бог и совесть, – значит, он будет бить шведов, – прибавил Станислав.

– Меня только удивляет, – заметил Ян Скшетуский, – что он пишет о верности Радзивиллам, а не об отчизне, которая гораздо больше нуждается в помощи.

– Да уж такая у них панская манера, – возразил Володыевский, – она мне самому не нравится, потому что я служу отчизне, а не Радзивиллам.

– А когда ты получил это письмо? – спросил Ян.

– Сегодня утром, а в полдень хотел ехать. За это время здесь отдохнете, а я завтра вернусь, и затем мы вместе с полком пойдем, куда нам прикажут.

– Может быть, на Полесье? – сказал Заглоба.

– К князю Богуславу? – прибавил Станислав Скшетуский.

– Князь Богуслав сейчас тоже в Кейданах, – возразил Володыевский. – Это интересная личность; вы обратите внимание на него. Это великий воин и рыцарь, но ничуть не поляк. Одевается по-заморски и говорит или по-немецки, или по-французски, точно орехи грызет, слушай его хоть целый час – ничего не поймешь. Те, что знают его ближе, не особенно хвалят, потому что он преклоняется перед французами и немцами, да и неудивительно, ибо мать его – урожденная принцесса бранденбургская. Когда его покойный отец на ней женился, то не только не взял никакого приданого, но должен был еще кое-что приплатить. Но Радзивиллы из династических соображений заботятся о том, чтобы породниться с немецкими принцами. Мне рассказывал это старый слуга князя Богуслава, теперешний ошмянский староста, Сакович. Вместе с Невяровским он ездил с Богуславом по разным заморским краям и был свидетелем его бесчисленных поединков.

– Разве у него было так много поединков? – спросил Заглоба.

– Столько же, сколько у него волос на голове. Сколько он переколол всяких французских и немецких графов и князей! Он очень вспыльчив и из-за малейшей безделицы вызывает на поединок.

Скшетуский вышел из задумчивости:

– Я тоже кое-что слышал о нем. Он часто бывает у курфюрста, который живет неподалеку от нас. Помню, отец рассказывал, что когда его родитель женился на дочери курфюрста, то все ворчали, что такой знатный род вступает в родство с иностранцами; но это, пожалуй, к лучшему: как родственник Радзивилла, курфюрст должен сочувственно отнестись и к делам Речи Посполитой, а от него много зависит. То, что вы говорите, будто у них насчет денег туго, это не совсем верно. Правда, что, продав Радзивиллов, можно было бы купить курфюрста со всем его королевством, но нынешний курфюрст Фридрих-Вильгельм скопил немало и держит около двадцати тысяч отборного войска, которое могло бы помериться и со шведами; а это он обязан сделать, как ленник Речи Посполитой, в благодарность за все ее благодеяния.

– А сделает ли он это? – спросил Ян.

– Если бы он поступил иначе, то это была бы с его стороны черная неблагодарность, – ответил Станислав.

– Трудно рассчитывать на чужую благодарность, а особенно на благодарность еретика. Я помню еще мальчиком этого вашего курфюрста, – сказал Заглоба. – Он всегда был нелюдим и как будто прислушивался к тому, что ему черт на ухо нашептывает. Я ему сказал это в глаза, когда мы с покойным Конецпольским были в Пруссии. Он такой же лютеранин, как и шведский король. Дай Бог, чтобы они не соединились еще вместе против Речи Посполитой.

– Знаешь что, Михал, – сказал вдруг Ян, – я сегодня не буду отдыхать, а поеду с тобой в Кейданы. Теперь ночью лучше ехать, не так жарко, кроме того, мучит меня эта неизвестность. Будет еще время для отдыха, ведь не завтра же князь выступает.

– Тем более что полк он велел оставить в Упите, – прибавил Володыевский.

– Вы дело говорите! – воскликнул пан Заглоба. – Поеду и я.

– Так поедem все вместе, – прибавил пан Станислав.

– Завтра утром будем уже в Кейданах, – сказал Володыевский – а в дороге на седле можно прекрасно уснуть.

Два часа спустя, закусив и выпив, рыцари тронулись в путь и еще до захода солнца были в Кракинове.

Дорогой пан Михал рассказывал им о знаменитой ляуданской шляхте, о Кмицице и обо всем, что с ним произошло за последнее время, он признался в своей любви к панне Биллевич – любви несчастной, как всегда.

– Все дело в том, что теперь война, – говорил он, – иначе я бы иссох от горя. Видно, таково уж мое счастье. Придется умереть холостяком.

– И холостяцкое дело не плохое, даже Богу угодное, – сказал Заглоба. – Еще недавно, когда мы с тобою были на выборах в Варшаве... на кого все панны оглядывались?.. На кого, как не на меня? А ты тогда жаловался, что на тебя ни одна не взглянет. Но не огорчайся, придет и твоя очередь. Искать не надо: когда искать не будешь, тогда и найдешь. Теперь время тревожное, и много молодежи погибнет. Тогда девушек будут дюжинами продавать по ярмаркам.

– Может быть, и мне погибнуть придется, – сказал пан Михал. – Довольно уже шататься по свету. Я не умею вам описать, Панове, как хороша эта панна Биллевич. Как бы я ее любил и лелеял! Да нет! Принесли же черти этого Кмицица. Он, верно, ее чем-нибудь приворожил, иначе и быть не может. Вот смотрите, там из-за горки виднеются как раз Водокты, но теперь там нет никого, она уехала неизвестно куда. Это было бы мое убежище – там бы мне и умереть. У медведя и то есть своя берлога, а у меня нет ничего, кроме этой лошади и седла, на котором сажу.

– Видно, она у тебя засела в сердце, – заметил пан Заглоба.

– Как вспомню я ее или как увижу, проезжая мимо, Водокты – мне опять становится грустно. Я решил наконец клин клином выбить и поехать к Шиллингу, у которого есть красавица дочь. Я один раз ее издали видел в дороге, и она мне очень понравилась. Поехал я туда, и что же вы думаете? Отца не застал дома, а она меня приняла не за Володыевского, а за его слугу. После такого афронта я больше и не показывался к ней.

Заглоба захохотал:

– А чтоб тебя, Михал! Все дело в том, что ты не находишь жены под стать твоему росту. А где теперь эта плутовка, на которой покойный пан Подбипента – царство ему небесное! – хотел жениться? Ростом она как раз тебе пара, сама – ягодка... а глаза как горели!..

– Это Ануся Божобогатая-Красенская, – сказал Ян Скшетуский. – Мы все в свое время были в нее влюблены, и Михал тоже. Бог весть, где она теперь...

– Эх, найти бы ее и утешиться, – сказал пан Михал. – При одном воспоминании о ней у меня как будто теплее стало на сердце. Прекрасная была девушка! Дал бы Бог с нею встретиться! Хорошие были времена в Лубнах, но они уже никогда не вернуться. Не будет и такого вождя, как князь Еремия. Раньше мы всегда знали: что ни сражение, то победа. Радзивилл великий воин, но далеко ему до Вишневецкого. Кроме того, он и к подчиненным относится не так, как князь: тот был для нас отец, а этот держит себя как какой-нибудь монарх, хотя Вишневецкие ничуть не хуже Радзивиллов.

– Бог с ним, – возразил Ян Скшетуский. – Теперь в его руках судьба отчизны, а так как он готов для нее пожертвовать жизнью, то да благословит его Бог.

Так разговаривали рыцари, ехавшие среди ночи, и то вспоминали прежние времена, то говорили о тяжелом настоящем, о трех войнах, которые обрушились на Речь Посполитую. Потом помолились и задремали, раскачиваясь в седлах.

Ночь была тихая и теплая; миллионы звезд сверкали на небе, а они подвигались шагом, спали сладким сном до самого рассвета. Первым проснулся пан Михал.

– Панове, проснитесь, Кейданы уже видно! – закричал он.

– Что? Кейданы? – спросил Заглоба. – Где?

– Да вон там. Видите башни?

– Прекрасный город, – заметил Станислав Скшетуский.

– Очень красивый, – ответил Володыевский, – вы сами воочию убедитесь в этом.

– Ведь это собственность князя-воеводы?

– Да; прежде они принадлежали роду Кишко, и отец нынешнего князя получил их в приданое за Анной Кишко, дочерью воеводы витебского. Во всей Жмуди нет города лучше, ибо Радзивиллы не пускают туда жидов, разве с особого разрешения. Кейданы еще славятся медом.

Заглоба открыл глаза.

– Значит, тут живут порядочные люди. А какое это здание виднеется на горе, такое огромное?

– Это новый замок, построенный Янушем.

– Крепость?

– Нет. Это резиденция. Его не укрепляли, потому что неприятель никогда сюда не заходил. А этот шпиг посредине города – это костел. Он построен крестоносцами еще во время язычества, потом был отдан кальвинистам, но ксендз Кобылинский судился до тех пор, пока его опять не присудили католикам.

– И слава богу!

Так, разговаривая, они доехали до предместья.

Между тем уже рассвело, и начало всходить солнце. Рыцари с любопытством смотрели на незнакомый городок, а Володыевский рассказывал:

– Вот это жидовская улица, где живут те из жидов, которые имеют разрешение. Вот уж люди проснулись и начинают выходить из домов. Смотрите, сколько лошадей перед кузней, и слуги, судя по цветам, не Радзивиллов. Должно быть, какой-нибудь съезд. Сюда всегда съезжаются много шляхты и вельмож, порою даже из чужих краев, ибо Кейданы столица еретиков всей Жмуди, которые под защитой Радзивиллов могут открыто исповедовать свои заблуждения. А вот и рынок. Обратите внимание на часы, что на ратуше. Лучших, верно, и в Данциге нет. А это лютеранская церковь, где каждую неделю совершаются кошунственные богослужения. Вы думаете, что здешние мещане – поляки или литвины? Вовсе нет. Здесь почти все немцы и шотландцы, шотландцев больше всего. У князя есть шотландский полк, из одних только охотников, мастеров драться топорами. А сколько там телег на рынке! Должно быть, съезд. Здесь нет заезжих домов, а все останавливаются у знакомых, а шляхта – в замке, где для гостей построены громадные флигеля. Там всех принимают гостеприимно, хоть год живи, а есть такие, что всю жизнь там и живут.

– А это что за постройка? – спросил Ян Скшетуский.

– Это бумажная фабрика, построенная князем, а это книгопечатня, где печатаются еретические книги.

– Тьфу, – произнес Заглоба, – пошли Боже заразу на этот город. Здесь только и дышишь еретическим воздухом. Тут с тем же правом, что и Радзивилл, мог бы царствовать Вельзевул.

– Мосци-пане, не оскорбляйте так Радзивилла, – прервал его Володыевский, – может быть, скоро отчизна будет обязана ему своим спасением.

И они ехали дальше молча, рассматривая город и удивляясь, что все улицы были мощеные, что в те времена считалось редкостью.

Проехав рынок и Замковую улицу, они очутились перед великолепным замком, построенным князем Янушем и размерами своими превосходившим все тогдашние замки и дворцы. По обеим сторонам главного корпуса пристроены были под прямым углом два крыла и образовывали огромный двор, отгороженный железной решеткой. В средней части решетки были устроены каменные ворота с гербами Радзивиллов и города Кейдан, на котором была изобра-

жена нога орла с черным крылом на золотом фоне, а у ноги подкова с тремя крестами. У ворот находилась гауптвахта, где всегда на часах стояли шотландские алебардчики.

Было еще рано, но на дворе царил оживление: перед главным корпусом происходило учение драгунского полка, одетого в голубые колеты и шведские шлемы. Перед фронтом солдат, стоявших на месте с рапирами в руках, ездил офицер и что-то говорил солдатам. Около стен толпился народ, глаза на драгун и делясь наблюдениями и замечаниями.

– Боже! Смотрите, Панове! – воскликнул пан Михал. – Да ведь это Харламп учит солдат!

– Как? – спросил Заглоба. – Это тот, который дрался с вами на поединке во время выборов?

– Он самый. Но мы с тех пор с ним очень подружились.

– Верно, – сказал Заглоба, – я его узнаю по носу, который торчит у него из-под шлема. Хорошо, что теперь забрала вышли из моды, для него, верно, не нашлось бы подходящего; а он так нуждается в особом вооружении для своего носа.

Между тем пан Харламп, заметив Володыевского, пустился к нему рысью.

– Как поживаешь, пан Михал? – воскликнул он. – Хорошо, что ты приехал!

– Еще лучше, что я встретил тебя первым. Рекомендую: это пан Заглоба, которого ты, кажется, уже встречал в Липкове, а это братья Скшетуские: Ян, ротмистр королевского гусарского полка, збаражский герой...

– Так я имею счастье видеть перед собой первого рыцаря в Польше? – воскликнул Харламп. – Челом! Челом!

– А это – Станислав, ротмистр калишский, – продолжал Володыевский, – едет прямо из-под Устья.

– Из-под Устья? Значит, вы были очевидцем позора? Мы ведь обо всем уже знаем.

– Я поэтому сюда и приехал, рассчитывая, что здесь ничего подобного не случится.

– Вы можете быть в этом уверены. Радзивилл – не Опалинский.

– То же самое вчера говорили и мы в Упите.

– Приветствую вас, Панове, от своего и княжеского имени. Князь будет вам очень рад, тем более что он в таких рыцарях нуждается. Пойдемте ко мне в цейхгауз. Вы, верно, захотите переодеться и закусить, и я вас провожу, учение я уже кончил.

С этими словами Харламп опять подъехал к солдатам и скомандовал коротко и отчетливо:

– Налево кругом, марш!

Лошадиные копыта застучали по мостовой. Солдаты выстроились по четыре в ряд и стали удаляться по направлению к цейхгаузу.

– Хорошие солдаты, – сказал Скшетуский, окинув взглядом знатока мерные движения драгун.

– Сейчас видно, что не ополченцы, – воскликнул Станислав.

– Но как же ими командует Харламп? – спросил Заглоба. – Если не ошибаюсь, он служил в пятигорском полку и носил серебряную петличку.

– Верно! – подтвердил Володыевский. – Но уже года два, как он командует драгунским полком. Это старый, опытный солдат.

Между тем Харламп, отправив драгун, подъехал к рыцарям.

– Прошу вас, Панове! Цейхгауз там, за дворцом.

Спустя полчаса рыцари сидели впятером за миской гретого пива, заправленного сметаной, и толковали о новой войне.

– Что у вас здесь слышно? – спросил пан Володыевский.

– У нас что ни день, то новости, и все разные: люди теряются в догадках и потому выдумывают всякие новости, – ответил Харламп. – А правду знает один только князь. Он, должно быть, что-то затевает, и хотя на вид весел и любезен со всеми, как никогда, но очень задумчив.

По ночам, говорят, не спит и все ходит по комнатам и сам с собой разговаривает, а днем по целым часам совещается о чем-то с Герасимовичем.

– Что это за Герасимович? – спросил Володыевский.

– Заблудовский эконоом из Полесья; птица невелика и выглядит так, точно у него черт за пазухой сидит, но князь ему очень доверяет, и он знает все его тайны. По-моему, последствием этих совещаний будет мстительная и страшная война со шведами, по которой мы так вздыхаем. Каждый день приходят сюда письма то от курляндского князя, то от Хованского, то от курфюрста. Одни говорят, что князь ведет переговоры с Москвой, чтобы втянуть ее в союз против шведов; другие – что наоборот; но, кажется, никакого союза не будет. Войск прибывает все больше и больше. Но, панове, с кем бы ни была война, нам придется по локоть обогреть руки в крови. Радзивилл уж если выйдет в поле, то не затем, чтобы вести переговоры.

– Вот, вот! – воскликнул Заглоба, потирая руки. – Немало шведской крови прилипло к моим рукам, немало и еще прилипнет. Немного осталось старых солдат, которые меня помнят под Пуцком, но те, что живут, никогда не забудут.

– А князь Богуслав здесь? – спросил Володыевский.

– Здесь. Кроме того, сегодня мы ожидаем каких-то знатных гостей, потому что готовят верхние апартаменты, а вечером будет бал. Сомневаюсь, Михал, чтобы ты сегодня мог видеться с князем.

– Да ведь он сам меня вызвал.

– Это ничего, он страшно занят. Кроме того... не знаю, могу ли я вам все сказать... Впрочем, через час все об этом будут знать. Здесь происходит что-то необыкновенное...

– Что же именно, что? – спросил Заглоба.

– Нужно вам сказать, Панове, что дня два тому назад сюда приехал некий пан Юдицкий, кавалер Мальтийского ордена, вы, должно быть, слышали о нем.

– Как же, – ответил Ян, – это знаменитый рыцарь.

– Вслед за ним приехал и гетман Госевский. Мы все очень удивились, ведь все знают, в каких они ужасных отношениях с князем. Некоторые даже радовались и говорили, что это шведская война примирила этих панов. Я тоже так думал; между тем вчера они позакрывали все двери и заперлись втроем, чтобы никто не мог слышать, о чем они говорят; но пан Крепштуль, стоявший на часах у двери, говорил, что они очень громко о чем-то спорили, а особенно Госевский. Потом сам князь проводил их в спальни, а ночью велел приставить к каждой двери по часовому, со строжайшим приказанием: не впускать и не выпускать никого.

Пан Володыевский даже вскочил с места.

– Не может быть!

– Но это так. У дверей стоят шотландцы с ружьями, и им приказано никого не пропускать.

Рыцари посмотрели друг на друга в недоумении, а Харламп смотрел на них, вытаращив глаза, точно ожидая от них разъяснения загадки.

– Это значит, что пан подскарбий арестован, – сказал Заглоба, – великий гетман арестовал гетмана польного, что же это такое?

– Почему я знаю. И Юдицкий, такой славный рыцарь...

– Ведь должны же были офицеры князя разговаривать об этом? Вы ничего не слышали?

– Вчера ночью я спрашивал Герасимовича.

– И что же он вам сказал? – спросил Заглоба.

– Ничего не хотел сказать, а потом, приложив палец к губам, произнес: «Это изменники».

– Как изменники?.. Как изменники?.. – кричал, хватаясь за голову, Володыевский. – Ни подскарбий Госевский, ни пан Юдицкий не изменники. Их знает вся Речь Поспшитая как честных людей, любящих отчизну...

– Теперь никому нельзя верить, – заметил мрачно Станислав. – Разве Опалинский не выдавал себя за Катона? Разве не обвинял он других в недостатке гражданских чувств и в преступлениях? А потом первый изменил отчизне и увлек за собой целую провинцию.

– Но за Госевского и Юдицкого я головой ручаюсь! – воскликнул Володыевский.

– Не ручайся, Михал, ни за кого! – воскликнул Заглоба. – Конечно, их не без основания арестовали. Должно быть, какие-нибудь интриги. Не стал бы он, готовясь к войне, лишать себя их помощи. Кого же он арестовал, как не тех, кто мешает ему вести войну?! Если все это правда, что о них говорят, то это прекрасно... Их нужно в подземелье засадить. А, шельмы! В такую минуту сноситься с неприятелем, стоять на дороге у величайшего воина! Мать Пресвятая Богородица! Им еще мало этого!

– Такие чудеса, что они и в голове не могут уместиться, – сказал Харлам. – Таких сановников арестовали без суда, без сейма, без воли Речи Посполитой. Этого и сам король не может сделать.

– Видно, князь хочет завести у нас римские обычаи и стать диктатором на время войны.

– А пусть будет и диктатором, лишь бы шведов бил, – ответил Заглоба. – Я тогда первый подаю голос за то, чтобы ему была доверена диктатура.

Ян Скшетуский задумался и потом заметил:

– Только бы он не захотел быть протектором, как тот англичанин Кромвель, который, не задумываясь, поднял святотатственную руку на своего государя.

– Ну, Кромвель! Кромвель – еретик! – воскликнул Заглоба.

– А князь-воевода? – спросил серьезно Ян Скшетуский.

Вдруг все умолкли и со страхом смотрели в темное будущее, только Харлам рассердился и сказал:

– Я служу у князя-воеводы с молодых лет и знаю его лучше, чем вы, а вместе с тем люблю и уважаю и потому прошу вас не сравнивать его с Кромвелем, иначе мне придется сказать вам нечто такое, чего бы, как хозяин, я говорить не хотел.

При этом Харлам зашевелил усами и искоса посмотрел на Яна Скшетуского, а Володыевский, видя это, окинул Харлама холодным взглядом, как бы говоря: «Посмей только!»

Усач тотчас спохватился. Он очень любил пана Михала и знал, что с ним опасно ссориться, и поэтому продолжал более спокойным тоном:

– Князь – кальвинист, но ведь он не изменил нашей вере, а родился кальвинистом. Никогда он не будет ни Кромвелем, ни Радзейовским, ни Опалинским, хотя бы Кейданы в землю провалились. Не такая это кровь! Не такой это род!

– Если он дьявол и если у него рога на голове, – сказал Заглоба, – то тем лучше, по крайней мере, у него будет чем бодать шведов.

– Но все-таки пан Госевский и Юдицкий арестованы! – говорил, качая головой, Володыевский. – Не особенно любезен князь со своими гостями.

– Что ты говоришь, Михал? – возразил Харлам. – Так любезен и милостив, как никогда. Это настоящий отец для солдат. Прежде к нему страшнее было подойти, чем к королю, а теперь он сам к каждому подходит, расспрашивает о семье, о детях, называет каждого по имени, спрашивает, доволен ли он службой. Он, который до сих пор не хотел знать себе равного среди панов, вчера прогуливался под руку с молодым Кмицием. Мы просто глазам своим не верили. Правда, Кмициц из знатного рода, но ведь он почти мальчик, да, кроме того, над ним несколько приговоров тяготеет, о чем ты, Михал, знаешь лучше всех.

– Знаю, знаю! – ответил Володыевский. – Кмициц давно здесь?

– Сейчас его нет. Он вчера уехал в Чейкишки за полком пехоты. Кмициц теперь в такой милости у князя, как никто. Когда он уезжал, князь посмотрел ему вслед и, помолчав с минуту, сказал: «Этот человек готов самого черта за хвост схватить, если я ему прикажу». Мы сами

это слышали, собственными ушами. Правда, что Кмициц привел такой полк, какого в целом войске не найти. Люди и кони – как драконы.

– Нечего и говорить. Дельный солдат и действительно готов на все! – ответил Володыевский.

– Он, говорят, просто чудеса делал во время последней войны! За его голову была назначена награда, когда он командовал отрядом охотников.

Дальнейший разговор был прерван приходом нового лица.

Это был шляхтич лет сорока, маленький, худенький, юркий, с маленьким лицом, тонкими губами, жиденькими усами и немного раскосыми глазами. Одет он был в жупан с длинными рукавами, спускавшимися ниже кисти. Войдя в комнату, он согнулся вдвое, потом вдруг выпрямился, как на пружинах, затем опять поклонился, мотнул головою и быстро заговорил голосом, напоминавшим скрип заржавленного флюгера:

– Челом, пане Харламп! Челом, пане полковник! Ваш нижайший слуга!

– Челом, пане Герасимович! Чем могу вам служить?

– Бог послал нам дорогих гостей. Я пришел им предложить услуги и познакомиться.

– А разве они к вам приехали, пане Герасимович?

– Конечно, не ко мне, я этого недостойн. Но так как я заменяю отсутствующего маршала, то и пришел им поклониться, низко поклониться.

– Далеко вам до маршала. Маршал – это персона, а вы всего – заблудовский подстароста, простите за выражение.

– Слуга радзивилловских слуг. Верно, пане Харламп. Я от этого не отрекаюсь. Боже сохрани! Но князь, узнав о прибытии гостей, прислал меня узнать, кто они, и вы ответите, пане Харламп, ответите, хотя бы я был не подстаростой, а гайдуком.

– Я бы ответил и обезьяне, если бы она явилась от имени князя с приказанием, – сказал Носач. – В таком случае, слушайте и зарубите себе на носу, если головы не хватит запомнить: это пан Скшетуский, збаражский герой, а это его двоюродный брат, Станислав.

– Великий Боже! Что я слышу! – воскликнул Герасимович.

– Это пан Заглоба.

– Великий Боже! Что я слышу!

– Если вы так смутились, услышав мое имя, то поймите, как смущен будет неприятель, увидев меня на поле брани, – заметил Заглоба.

– А это пан полковник Володыевский, – закончил Харламп.

– И это знаменитая сабля, притом радзивилловская, – сказал с поклоном Герасимович. – Хотя князь и завален делами, но для таких гостей найдет свободную минуту. А пока чем могу служить вам, Панове? Весь замок к вашим услугам и погребка также.

– Слышали мы о славном кейданском меде, – поспешно сказал Заглоба.

– О да! – ответил Герасимович. – Прекрасный мед в Кейданах, прекрасный! Я сейчас пришлю вам на выбор. Надеюсь, что вы здесь пробудете еще долго...

– Мы с тем и приехали, чтобы не покидать князя! – ответил Станислав Скшетуский.

– Прекрасное намерение, особенно прекрасное в нынешние тяжелые времена!

Сказав это, Герасимович съежился так, что стал меньше на целый аршин.

– Что слышно? – спросил пан Харламп. – Есть какие-нибудь новости?

– Князь всю ночь глаз не смыкал, потому что приехали два посла. Плохо, очень плохо! Карл-Густав уже вошел вслед за Виттенбергом в Речь Посполитую. Познань занята, Великопольша занята; шведы уже в Ловиче, под Варшавой. Наш король бежал и оставил Варшаву без защиты. Не сегодня завтра в нее войдут шведы. Говорят, что король потерпел поражение и хочет бежать в Краков, а оттуда – в чужие края просить помощи. Плохо, Панове! Есть, правда, и такие, которые говорят, что это хорошо, потому что шведы свято держат свое слово, не обре-

меняют податями, не притесняют. Вот почему все так охотно принимают Карла-Густава. Провинился, провинился наш король. Для него теперь все пропало. Как ни жаль, а все пропало!

– Чего это вы, пане, так извиваетесь, как вьюн, которого кладут в горшок с кипятком, – крикнул Заглоба. – Говорите о несчастьях так, будто это вас радует.

Герасимович притворился, что не слышит, и, подняв глаза к небу, повторил несколько раз:

– Все пропало, навеки пропало! С тремя войнами не сладить Речи Посполитой. Но воля Божья! Один наш князь может спасти Литву.

Зловещие слова Герасимовича еще не отзвучали, как он уже исчез за дверью, точно в землю провалился, а рыцари сидели молча, придавленные бременем страшных мыслей.

– От всего этого можно с ума сойти! – крикнул наконец Володыевский.

– Это вы верно говорите! – произнес Станислав Скшетуский. – Дал бы Бог скорее войну, по крайней мере, тогда человек не теряется в догадках, не отчаивается, а дерется!

– Придется пожалеть о временах восстания Хмельницкого: тогда были несчастья, но, по крайней мере, изменников не было.

– Три такие войны, когда и на одну не хватит сил! – сказал Станислав Скшетуский.

– Не сил не хватает, а подъема. Из-за негодьяев гибнет отчизна. Дай Бог дожждаться лучших времен! – возразил мрачно Ян Скшетуский.

– Я только в поле вздохну свободно, – сказал Станислав.

– Хоть бы уж поскорее увидеться с князем! – воскликнул Заглоба. Желание его очень скоро исполнилось, так как час спустя снова явился Герасимович и с униженными поклонами оповестил рыцарей, что князь желает их немедленно видеть.

Все вскочили. Герасимович повел их из цейхгауза во двор, где была масса шляхты и военных. В некоторых местах слышался шумный разговор о тех новостях, которые Герасимович сообщил рыцарям. На лицах у всех была тревога. Отдельные группы офицеров и шляхты окружили в разных местах ораторов. Порою раздавались крики: «Вильна горит! Вильна сожжена дотла!», «Варшава взята!», «Нет, еще не взята!», «Шведы в Малопольше», «Измена!», «Несчастье!», «О господи, господи!»

На главной лестнице, уставленной померанцевыми деревьями, было еще теснее, чем на дворе. Здесь уже шла речь об аресте Госевского и Юдицкого. Толпа народа, запрудившего лестницу, надеялась узнать истину из уст самого князя, который в это время принимал своих полковников и наиболее родовитых шляхтичей.

Наконец блеснули голубые своды аудиенц-залы, и наши рыцари вошли. В глубине зала было возвышение, занятое вельможами и рыцарями в разноцветных одеждах. Впереди возвышения, под балдахин, стояло пустое кресло, с высокой спинкой, оканчивающейся золотой княжеской короной, из-под которой свешивался малиновый бархат, опушенный горностаем.

Князя еще не было в зале, но Герасимович, протискавшись вместе с нашими рыцарями сквозь собравшуюся шляхту, остановился у маленькой двери, находившейся в стене, рядом с возвышением; там он попросил их подождать, а сам скрылся за дверью.

Через несколько минут он возвратился и доложил, что князь их просит.

Двое Скшетуских, Володыевский и Заглоба вошли в небольшую комнату, обитую кожей, с вытисненными по ней золотыми букетами цветов. Рыцари остановились, видя, что в глубине комнаты за столом, заваленным бумагами, сидели два человека и о чем-то оживленно разговаривали. Один из них, молодой, одетый в иностранный костюм, в парике с длинными локонами, шептал что-то на ухо старшему, который слушал его, наморщив лоб, и утвердительно кивал головой. Он так был занят разговором, что не заметил вошедших. Это был человек лет сорока, огромного роста, одетый в пунцовый польский кунтуш, застегнутый у шеи дорогими застежками. В крупных чертах его лица была гордость, величие, мощь. Это было гневное, львиное лицо воина и властелина. Длинные, свесившиеся усы придавали ему угрюмость, и во всем лице

была какая-то каменная мощь. Во всей его фигуре было что-то величественное, и комната, в которую вошли рыцари, показалась им слишком тесной для него. В нем с первого взгляда можно было узнать Януша Радзивилла, князя на Биржах и Дубинке, воеводу виленского и великого гетмана литовского, человека, столь мощного, гордого и властолюбивого, что ему было тесно не только в его огромных имениях, но даже на Жмуди и на Литве.

Младший его товарищ, в длинном парике, был его двоюродный брат, князь Богуслав, конюший Великого княжества Литовского.

Они шептались еще о чем-то с минуту, не замечая вошедших; наконец Богуслав громко сказал:

– Я оставляю свою подпись на документе и уезжаю.

– Если это нужно, то уезжайте, ваше сиятельство, – сказал Януш, – хотя я бы предпочел, чтобы вы остались. Ведь неизвестно, что может случиться.

– Вы все обдумали, ваше сиятельство, а там важные дела...

– Да хранит тебя Бог, и да хранит он наш дом!

– Adieu, mon frère¹⁵.

– Adieu.

Князья пожали друг другу руки, и конюший поспешно вышел; гетман обратился к приезжим:

– Извините, панове, что я заставил вас ждать, – сказал он медленно низким голосом, – но теперь и время, и внимание разрываются на части. Я уже слышал ваше мнение и душевно обрадовался, что Бог посылает ко мне в столь тяжелую минуту таких рыцарей. Садитесь, дорогие гости. Кто из вас – Ян Скшетуский?

– К услугам вашего сиятельства, – ответил Ян.

– Так это вы староста... забыл...

– Я не староста, – ответил Ян.

– Как? – воскликнул князь, насупив мощные брови. – Да разве вам не дали староства за то, что вы сделали под Збаражем?

– Я никогда не хлопотал об этом.

– Они обязаны были это сделать! Как? Что вы говорите? Ничем не наградили? Забыли? Это меня удивляет. Впрочем, чему удивляться? Теперь ведь награждают только тех, кто умеет низко кланяться. Слава богу, что вы приехали сюда, у нас память не так коротка, чтобы забыть чьи-нибудь заслуги, в том числе и ваши, пан полковник Володыевский!

– Но я еще не заслужил...

– Предоставьте это знать мне, а пока возьмите вот этот документ, явленный в Россиенах, коим мы предоставляем вам в пожизненное владение имение Дыдкемы. Это недурной кусок земли: ее каждую весну вспахивают сто плугов. Возьмите хоть это, ибо я не могу дать больше, и скажите пану Скшетускому, что Радзивилл не забывает ни своих друзей, ни тех, кто под его знаменем служит отчизне.

– Ваша светлость... – пробормотал смутившийся Володыевский.

– Не говорите ничего и простите, что так мало. Скажите только их милостям, панам, что ни один из них не пропадет, соединив свою судьбу с радзивилловской. Я не король, но если бы был им, то, Бог свидетель, я никогда бы не забыл ни такого воина, как Ян Скшетуский, ни такого, как пан Заглоба.

– Я! – выходя вперед, отозвался Заглоба, начинавший уже выходить из терпения, что о нем до сих пор не упоминают.

– Я догадался, мне говорили, что вы человек пожилой.

¹⁵ Прощай, брат (*фр.*).

– Я имел честь ходить в школу с достойным родителем вашей светлости. А так как в нем и тогда уже заметны бы рыцарские наклонности, то он проявлял ко мне дружелюбные чувства, ибо и я предпочитал копьё латыни!

Станислав Скшетуский, мало знавший Заглобу, удивился, услышав это, так как вчера в Упите Заглоба говорил, что ходил в школу не с покойным князем, а с Янушем, чему, конечно, трудно было поверить, потому что князь был гораздо моложе его.

– Скажите пожалуйста! Так, значит, вы из Литвы?

– Из Литвы! – ответил без запинки Заглоба.

– Я угадываю, что и вы не получили награды, ибо мы, литвины, уже привыкли к тому, что нам платят неблагодарностью. Если бы я дал вам то, что вы заслужили, то мне самому ничего бы не осталось! Но такова уж судьба! Мы жертвуем жизнью, состоянием, а нам за это никто даже головою не кивнет. Но что посеют, то и пожнут. Так велит Бог и справедливость... Ведь это вы зарубили Бурлая и отрубили сразу три головы под Збаражем?

– Бурлая я зарубил, ваша светлость, ибо все говорили, что с ним никто не может мериться силами, и я хотел показать молодежи, что мужество еще не совсем угасло в Речи Посполитой, а что касается трех голов, то это и могло случиться в какой-нибудь битве, но под Збаражем это сделал другой. Князь на минуту замолчал, а потом спросил:

– Неужели вам не обидно, что вас так презрительно обошли?

– Что делать, ваша светлость, – ответил Заглоба.

– Утешьтесь, все это скоро изменится. Я считаю себя вашим должником уже за то, что вы сюда приехали, и хотя я не король, но я не ограничусь обещаниями.

– Ваша светлость! – возразил живо и не без гордости Скшетуский. – Мы сюда не за наградой приехали. Неприятель вторгся в отчизну, и мы хотим идти ей на помощь под знаменами столь славного вождя. Брат мой, Станислав, собственными глазами видел под Устьем измену, предательство и торжество неприятеля. Здесь мы будем служить под предводительством верного защитника престола и отчизны. Здесь неприятеля ждут несчастье и смерть, а не торжество и победа. Вот почему мы пришли предложить вашей светлости свои услуги. Мы – солдаты, хотим биться и рвемся в бой...

– Если таково ваше желание, то, надеюсь, вы скоро будете удовлетворены, – ответил князь. – Ждать вам придется недолго, хотя мы сначала выступим против другого неприятеля. Не сегодня, так завтра мы выступим в поход и сторицей отомстим за обиды. Не задерживаю вас, Панове: вам нужно отдохнуть, да и меня ждут дела. А вечером пожалуйста ко мне: не мешает перед походом повеселиться. К нам в Кейданы съехалось перед войной много дам... Мосци-полковник Володыевский, принимайте дорогих гостей, как в собственном доме, все, что мое, то и ваше. Пан Герасимович, скажите там в зале, что я не могу выйти, а сегодня вечером они узнают все, что хотят знать. Прощайте, Панове, и будьте друзьями Радзивилла, ибо теперь это для нас много значит.

И с этими словами гордый и могущественный пан стал по очереди пожимать руки Заглобе, Скшетуским, Володыевскому и Харлампю, как равным. Угрюмое его лицо осветилось ласковой улыбкой, и неприступность, окружающая его, как темная туча, исчезла совершенно.

– Вот это вождь, это воин, – говорил Станислав, пробираясь сквозь толпу шляхты, собравшейся в зале.

– Я в огонь за него пойду! – воскликнул Заглоба. – Вы заметили, что он все мои подвиги наизусть знает. Туго придется шведам, когда этот лев зарычит, а я ему завторю. Нет ему равного в Речи Посполитой, а из прежних разве только князь Еремия да Конецпольский-отец могут с ним сравниться. Это не каштелян какой-нибудь, который первый в роду на сенаторское кресло сел и еще не успел даже одной пары штанов просидеть, как уж нос задирает, шляхту младшей братией зовет и велит писать свой портрет, чтобы даже во время еды видеть свое сенаторское достоинство. Вот и ты, пан Михал, добился состояния. Видно, что кто только потрется

около Радзивилла, так сейчас же и озолотит свой потертый кафтан. Здесь, вижу, легче получить награду, чем у нас кварту гнилых груш. Засунешь руку в воду и уж держишь шуку. Поздравляю тебя, пан Михал. Ты смутился, как девушка после венца, но это ничего. Как называется твое имение? Дудков, что ли? И поганые же названия в этом крае. Но если хорошее имение, то не жаль и язык коверкать.

– Действительно, я очень смутился, – ответил Володыевский, – но то, что вы сказали о наградах, это не совсем верно. Я не раз встречал старых солдат, которые жаловались на его скудость, а теперь начинают сыпаться неожиданные милости одна за другой.

– Спрячь этот документ за пояс – сделай это для меня. И если кто-нибудь в твоём присутствии станет обвинять князя в неблагодарности, ты вытащи документ и дай лжецу по морде. Это будет самый красноречивый аргумент.

– Одно только ясно вижу: что князь подбирает себе людей, – сказал Ян Скшетуский, – должно быть, у него есть какие-то планы, для осуществления которых ему нужна помощь.

– Да разве ты не слышал об этих планах? – ответил Заглоба. – Разве он не сказал, что мы должны сначала отомстить за сожжение Вильны? Про него ведь говорили, что он ограбил Вильну, а он хочет доказать, что ему не только чужого не надо, но и свое еще готов отдать. Вот это самолюбие, Ян! Дай Бог побольше таких сенаторов!

Разговаривая так, они снова очутились на дворе, куда каждую минуту въезжали то отряды конницы, то толпы вооруженной шляхты, то экипажи сановников из окрестностей, с женами и детьми. Заметив это, пан Михал повел всех к воротам, чтобы посмотреть на приезжающих.

– Кто знает, пан Михал, сегодня твой счастливый день, – сказал Заглоба. – Может быть, между этими шляхтянками едет твоя жена... Смотрите, вон едет какая-то панна в белом в открытой коляске.

– Это не панна, а тот, кто может меня с нею обвенчать, – ответил дальновзоркий Володыевский. – Я уже издали вижу, что это епископ Парчевский с архидиаконом виленским Белозором.

– А разве наше духовенство посещает князя, раз он кальвинист?

– В интересах страны они должны поддерживать хорошие отношения.

– Эх и людно же здесь, и шумно! – воскликнул Заглоба. – Я заржавел в деревне, как старый ключ в замке. Но здесь мы вспомним лучшие времена, и назовите меня шельмой, если я сегодня же не приволокнусь за какой-нибудь девчонкой.

Дальнейшие слова Заглобы прервали солдаты, стоящие в воротах на страже. Увидев подъезжающего епископа, они выбежали из гауптвахты и построились в две шеренги; он проехал мимо них, благословляя солдат и собравшийся народ.

– И какой учтивый пан этот князь, – заметил Заглоба. – Сам не признает духовной власти, а между тем принимает епископа с таким почетом... Но почему это шотландцы еще стоят? Вероятно, приедет еще какая-нибудь особа.

Вдали показался отряд вооруженных людей.

– Это драгуны Гангофа, – сказал Володыевский, – но какие это кареты едут посредине? Вдруг забили барабаны.

– Ого, видно, это кто-нибудь поважнее епископа жмудского, – воскликнул Заглоба.

– Подождите, сейчас увидим.

– Посредине две кареты.

– Верно. В первой Корф, воевода венденский.

– Неужели? – воскликнул Ян. – Мы с ним знакомы со Збаража. Воевода тоже узнал их, и прежде всего Володыевского, которого видел чаще; высунувшись из экипажа, он крикнул:

– Привет вам, старые товарищи! Вот гостей везем.

В другой карете, с гербами князя Януша, запряженной четверкой белых лошадей, сидело двое вельмож, одетых по-иностранному, в шляпах с широкими полями, из-под которых на плечи спускались светлые локоны париков, падавшие на большие кружевные воротники.

У одного из них, очень полного, была остроконечная борода, усы, распушенные на концах и поднятые вверх; другой, молодой, одетый во все черное, был не столь представительен, но, по-видимому, еще знатнее, так как на шее у него висела золотая цепь с каким-то орденом. Оба, по-видимому, были иностранцы, так как с любопытством смотрели на замок, людей и их костюмы.

– Это что за черти? – спрашивал Заглоба.

– Не знаю; никогда не видел, – ответил Володыевский.

В это время карета проехала мимо них и, сделав полукруг по двору, подъехала к подъезду, а драгуны остались у ворот.

Володыевский узнал командовавшего ими офицера.

– Токаревич! – воскликнул он. – Здравствуйте.

– Челом вам, мосци-полковник.

– Каких это вы чучел привезли сюда?

– Это шведы.

– Шведы?

– Да, и очень высокопоставленные... Этот толстяк – граф Левенгаупт, а потоньше – Бенедикт Шитте, барон фон Дудергоф.

– Дудергоф? – переспросил Заглоба.

– А чего им здесь надо? – спросил пан Володыевский.

– Бог их знает, – ответил офицер. – Мы их эскортируем от Бирж. Верно, приехали для переговоров с нашим князем, так как в Биржах разнесся слух, что Радзивилл собирает войска и хочет выступить в Инфляндию.

– А, шельмы, трусили! – воскликнул Заглоба. – Наводнили Великопольшу, выжили короля, а теперь приходите кланяться Радзивиллу, чтобы он вас не погнал в Инфляндию. Погодите, так удирать будете в свои Дудергофы, что и чулки растеряете. Да здравствует Радзивилл!

– Да здравствует! – повторила стоявшая у ворот шляхта.

– *Defensor patriae!*¹⁶ Наш защитник! На шведа, мосци-панове! На шведа!

На дворе собиралось все больше шляхты; видя это, Заглоба вскочил на выдавшийся цоколь ворот и крикнул:

– Мосци-панове, слушайте. Кто меня не знает, тому я скажу, что я старый збаражец, который вот этой старческой рукой зарубил Бурлая, величайшего гетмана после Хмельницкого; кто не слышал о Заглобе, тот, верно, во время первой войны с казаками горох лушил, кур шупал или телят пас, что, впрочем, трудно предположить насчет столь блестящих кавалеров.

– О, это великий рыцарь! – отозвались многочисленные голоса. – Нет в Речи Посполитой ему равного! Слушайте.

– Слушайте, мосци-панове. Старым костям пора бы на покой; лучше было бы на печи валяться, творог со сметаной есть, по садам гулять, яблоки собирать, засунув руки в карманы, следить за косарями или девок по спине хлопать. Неприятель, конечно, был бы этому очень рад, ибо и шведы, и казаки прекрасно знают, какова у меня рука.

– А что это за петух там поет? – спросил кто-то из толпы.

– Не прерывай! Молчать! – закричали остальные.

Но Заглоба услышал:

– Простите, панове, этого петушка: он еще не знает, с которой стороны хвост, а с которой голова.

¹⁶ Защитник родины! (*лат.*).

Шляхта разразилась громким смехом, а смущенный шляхтич старался поскорее скрыться, чтобы избавиться от насмешек, сыпавшихся со всех сторон на его голову.

– Возвращаюсь к делу, – продолжал Заглоба. – Повторяю, что мне пора бы отдохнуть; но, видя, что отечество в опасности, что неприятель вторгся в него, я, мосци-панове, здесь, чтобы вместе с вами биться во имя той матери, что нас всех вспоила и вскормила. Кто не пойдет ей на помощь, тот не сын, а пасынок, тот недостойн ее любви. Я, старик, иду, да будет воля Божья! А если придется погибнуть, то и умирая я не перестану звать: на шведа, Панове братья, на шведа! Поклянемся, что не выпустим сабли из рук, пока не прогоним неприятеля из отчизны.

– Мы и без клятв готовы! – кричала шляхта. – Пойдем всюду, куда нас гетман поведет!

– Мосци-панове, вы видели этих двух нехристей, что приехали сюда в золоченой карете? Они знают, что с Радзивиллом шутки плохи; вот и будут за ним по комнатам бегать да руки целовать, чтобы он оставил их в покое. Но князь, мосци-панове, от которого я возвращаюсь с совещания, уверил меня от имени всей Литвы, что не пойдет ни на какие уступки, а что будет война и война.

– Война, война! – как эхо, повторили слушатели.

– Но и вождь, – продолжал Заглоба, – действует тем смелее, чем больше он уверен в своих солдатах, а потому проявим, мосци-панове, наши чувства. Подойдем к окнам и будем кричать: «На шведа!» За мной, панове!

С этими словами он соскочил с цоколя и пошел вперед, а толпа за ним; шляхта шумела, и наконец голоса слились в один крик:

– На шведа! На шведа!

В ту же минуту в сени выбежал пан Корф, воевода венденский, в необычайном смущении, а за ним Гангоф, полковник княжеских рейтар, и оба начали успокаивать шляхту и просить ее разойтись.

– Ради бога, ведь там наверху стекла дрожат, – сказал Корф. – Можно ли так оскорблять послов и являть пример непослушания. Кто вам подал эту мысль?

– Я, – ответил Заглоба. – Скажите пану князю от нашего имени, чтобы он был тверд, ибо мы готовы за него пролить свою последнюю каплю крови.

– Благодарю вас, панове, от имени гетмана, благодарю, но советую разойтись, иначе вы можете окончательно погубить отчизну. Медвежью услугу оказывает тот, кто оскорбляет ее послов.

– Какое нам дело до послов! Мы хотим драться, а не переговоры вести!

– Мне очень приятно видеть воинственный дух ваш, панове. Ваше желание исполнится, и, может быть, очень скоро. Теперь же пока отдохните перед походом. Пора выпить и закусить. Пустой желудок – последнее дело.

– Что верно, то верно! – первый воскликнул Заглоба.

– Верно. Если князь знает наши чувства, то нам нечего здесь больше делать.

И толпа стала расходиться. Большинство направилось во флигель, где были уже накрыты столы. Пан Заглоба шел впереди. Пан Корф вместе с полковником Гангофом отправился к князю, который советовался со шведскими послами, с епископом Парчевским, Белозором, паном Комаровским и Межеевским, придворным короля Яна Казимира, часто гостившим в Кейданах.

– Кто был виновником этого беспорядка? – спросил князь.

– Только что прибывший шляхтич, славный пан Заглоба, – ответил Корф.

– Это храбрый рыцарь, но он что-то слишком рано начинает тут распоряжаться...

Сказав это, князь кивнул головой полковнику Гангофу и стал что-то шептать ему на ухо.

Между тем пан Заглоба, довольный собою, шел торжественными шагами в нижние залы и говорил сопровождавшим его Скшетуским и Володыевскому:

– А что, друзья, едва я появился, как успел уже возбудить в этой шляхте любовь к отчизне. Теперь князю легче будет ни с чем отправить послов, ему достаточно будет указано то, что мы его защитники. Думаю, это не останется без награды, хотя для меня главное – честь. Чего ж ты стоишь, как окаменевший, пан Михал, и смотришь на эту коляску у ворот?

– Это она, – сказал маленький рыцарь, шевеля усиками, – клянусь Богом, она!

– Кто такая?

– Панна Биллевич.

– Та, что тебе отказала?

– Да. Смотрите, панове, смотрите. Ну как же не умереть от скорби по такой красавице.

– Постойте-ка, – сказал Заглоба, – надо посмотреть.

В это время коляска поравнялась с разговаривающими. В ней сидел видный шляхтич с седыми волосами, а рядом с ним панна Александра, прекрасная, как всегда, спокойная и величавая.

Пан Михал впился в нее скорбными глазами и низко поклонился ей, но она не заметила его в толпе. Заглоба же, глядя на ее нежные, благородные черты, заметил:

– Это панский ребенок, пан Михал, она слишком хрупка для солдата. Красива, спору нет, да только я предпочитаю таких, чтоб сразу нельзя было разобрать – женщина это или пушка!

– Не знаете, ваць-пане, кто сейчас приехал? – спросил Володыевский какого-то шляхтича, стоявшего рядом.

– Как не знать, – ответил шляхтич. – Это пан Томаш Биллевич, россиенский мечник. Его здесь все знают, он старый радзивилловский слуга и друг.

ХІІІ

Князь не показывался в этот день шляхте до самого вечера; он обедал с послами и несколькими сановниками, с которыми утром совещался. Однако полковники получили приказ, чтобы придворные радзивилловские полки, находившиеся под командой иностранных офицеров, были наготове. В воздухе пахло войной. Замок, хотя и не было осады, был окружен со всех сторон войском, точно под его стенами должна была разыгаться битва. Все ждали похода не позже как на следующий день. И это предположение подтверждалось тем, что несметная княжеская челядь укладывала на возы оружие, ценные вещи и княжескую казну.

Герасимович рассказывал шляхте, что вещи отправляют в Тыкоцин, на Полесье, ибо было опасно оставлять их в неукрепленном замке.

Разнесся слух, что польный гетман Госевский арестован за то, что не хотел примкнуть к Радзивиллу и этим подвергал отечество величайшей опасности. Но вскоре движение войск, грохот пушек и вся эта суетня, которая всегда предшествует всяким сборам, отвлекли общее внимание и заставили на минуту забыть о Госевском и Юдицком.

Обедавшая в нижних залах шляхта только и говорила что о войне, о пожаре Вильны, продолжавшемся десять дней, о коварстве шведов, нарушивших договор, и т. д. Но все эти известия не только не беспокоили, но, наоборот, возбуждали мужество и готовность вступить в бой с неприятелем. Все это объяснялось тем, что все уже знали причину торжества шведов. Они до сих пор ни разу еще не сталкивались ни с настоящим войском, ни с настоящим вождем. А в военных дарованиях Радзивилла все были уверены, тем более что их в этом поддерживали и полковники.

– Я помню прежние войны, – говорил Станкевич, старый и бывалый воин. – Прежде шведы никогда не бились в открытом поле, а всегда из-за траншей или из укрепленных замков, а если, рассчитывая на свои силы, они и решались выступить в поле, то им жестоко влетало за храбрость. Не победа отдала в их руки Великопольшу, а измена и беспомощность ополченцев.

– Конечно! – воскликнул Заглоба. – Это слабый народ, у них земля никуда не годится. У них даже хлеба нет, вместо муки они мелют сосновые шишки и пекут из нее лепешки. Другие плавают по морю и жрут то, что выбросят волны, да еще дерутся из-за этих лакомых кусочков. Потому-то они так и жадны!

Потом он обратился к Станкевичу и спросил:

– А вы где познакомились со шведами?

– Когда служил у покойного князя, отца теперешнего гетмана.

– А я служил у Конецпольского, отца нынешнего хорунжего. Ну и пощипали же мы тогда Густава-Адольфа в Пруссии. Конецпольский ведь знал их прекрасно и умел их всегда обойти. Немало посмеялась тогда наша молодежь над ними! Нужно вам сказать, что шведы прекрасные водолазы, вот мы и заставили их нырять. Бросишь, бывало, кого-нибудь из этих мерзавцев в прорубь, а он сейчас же вынырнет в другую, да еще живую селедку в зубах держит.

– Да ну? Что вы говорите?

– Вы не верите? Провались я на этом месте, если я этого собственными глазами не видел! Помню я и то, как они откормились на прусских хлебах. Они не хотели домой возвращаться! Правду говорит пан Станкевич, что солдаты они неважные. Пехота еще туда-сюда, но конница никуда не годится; у них на родине лошадей нет, и они не могут смолоду приучаться к езде.

– Говорят, что мы сначала пойдем не против них, – заметил пан Щит, – прежде надо отомстить за Вильну.

– Ясное дело! Я сам так советовал князю, когда он спросил моего мнения в этом деле. Но покончим с одними, пойдем и на других. Шведские послы, верно, потеют теперь у князя!

– Их очень учтиво принимают, – заметил пан Заленский, – но на большее они могут не рассчитывать: лучшее доказательство – приказ, отданный войскам.

– Иначе и быть не может! – сказал Станкевич. – Будет с нас – натерпелись! Немало было всяких невзгод! Надеюсь на короля и на посполитое рушение, мы дошли до края пропасти – либо перескочим через нее, либо погибнем.

– Бог нам поможет! Довольно нам ждать!

– Мы их проучим! Не будет у нас Устья, как Бог свят!

И чем больше осушалось кубков и бокалов, тем больше оживлялись разговоры и принимали все более воинственный характер. Все умы, все сердца были заняты Радзивиллом; все уста повторяли его грозное имя, которое до сих пор всегда было окружено ореолом побед. От него зависело собрать и пробудить уснувшие силы страны, достаточные для усмирения двух врагов.

После обеда князь поочередно призывал к себе полковников; старые солдаты удивлялись, что он совещается с ними поодиночке, но все выяснилось очень скоро: каждый уходил от него с какой-нибудь наградой, с каким-нибудь явным доказательством его расположения, взамен чего князь просил лишь доверия и преданности. Он спросил, не приехал ли Кмициц, и велел уведомить его, как только тот приедет.

Кмициц вернулся лишь поздно вечером, когда все залы были освещены и гости начали уже собираться на бал. Пройдя прямо в цейхгауз, чтобы переодеться, он встретился там с Володыевским и остальной компанией.

– Как я рад, что вижу вас здесь! – сказал Кмициц, пожимая руку маленького рыцаря. – Точно родного брата увидел. Верьте, я говорю искренне, кривить душой я не умею. Правда, вы наградили меня ловким ударом сабли, но вы же вернули мне и жизнь, и я этого до смерти не забуду. Не будь вас, я уже давно сидел бы за железной решеткой.

– Ну что говорить об этом, все это пустяки!

– За вас я готов в огонь и в воду! Клянусь Богом, я не вру! Выходите вперед, кто не верит?

И пан Андрей окинул взглядом всех; но никто не думал оспаривать его расположения к пану Михалу, так как все его любили и уважали.

– Это порох, а не солдат, – заметил Заглоба. – Чувствую, что полюблю вас за это расположение к пану Михалу. Вы только меня спросите, чего он стоит.

– Больше всех нас! – воскликнул Кмициц с обычной горячностью. Затем, взглянув на Скшетуских, на Заглобу, он прибавил:

– Простите, Панове, я не хочу никого оскорбить, тем более что знаю о вашей доблести и военных заслугах. Не сердитесь на меня, я от души желал бы заслужить вашу дружбу.

– Пустяки! – ответил Ян Скшетуский. – Что на уме, то и на языке.

– Позвольте мне вас расцеловать! – воскликнул Заглоба.

– О, я не заставлю просить себя об этом дважды! И они бросились друг другу в объятия.

– Мы сегодня обязательно должны выпить!

– О, я не заставлю просить себя об этом дважды! – повторил, как эхо, Заглоба.

– Надо будет пораньше ускользнуть в цейхгауз, а о напитках я уж сам позабочусь.

«Вряд ли тебе захочется ускользнуть из замка, когда ты увидишь, кто будет на балу», – подумал Володыевский и хотел было уже сказать ему, что мечник россиенский и панна Александра приехали в Кейданы, но что-то сжало его сердце, и он переменял разговор.

– А где ваш полк? – спросил он.

– Здесь! Готов! У меня был Герасимович и передал княжеский приказ, чтобы в полночь все были уже на конях. Я спросил его, все ли войска идут, он отвечал, что не все. Не понимаю, что это все значит. Одним такой приказ отдан, другим – нет, зато вся иностранная пехота без исключения получила такое же приказание.

– Может быть, часть войск уйдет сегодня, а остальные завтра?.. – сказал Скшетуский.

– Ну, во всяком случае, кутнуть мы успеем, а я догоню свой полк. В эту минуту в цейнгауз вбежал Герасимович.

– Ясновельможный пане хорунжий оршанский! – крикнул он, кланяясь у дверей.

– Что? Горит? Я здесь! – сказал Кмициц.

– Князь просит вас! Князь просит!

– Сейчас! Только переоденусь. Эй, кто там: кунтуш и пояс, живо! Казачок мигом принес все нужное, и минуту спустя Кмициц, разодетый как на свадьбу, пошел к князю. Все, взглянув на него, пришли в невольное восхищение. На нем был жупан из серебристой ткани, шитый золотом, застегнутый у ворота огромным сапфиром. Поверх него голубой бархатный кунтуш и белый пояс, необыкновенно дорогой и такой тонкой работы, что его можно было просунуть сквозь кольцо. У пояса висела серебряная, усеянная сапфирами сабля, а за поясом был заткнут ротмистровский буздыган. Этот наряд необыкновенно шел молодому рыцарю, и казалось, трудно было найти другого подобного ему во всей этой громадной толпе, собравшейся в Кейданах.

Пан Володыевский вздохнул, глядя на него, а когда Кмициц скрылся за дверью, сказал Заглобе:

– С таким, как он, трудно соперничать!

– Сбрось с моих плеч только тридцать лет! – сказал Заглоба.

Князь был уже одет, когда вошел Кмициц. Камердинер в сопровождении двух негров выходил из его комнаты. Они остались вдвоем.

– Спасибо, что ты поторопился, – сказал князь.

– Я всегда к услугам вашего сиятельства.

– А как твой полк?

– Готов, по приказанию.

– А люди надежные?

– Готовы в огонь и в воду!

– Это хорошо. Такие люди мне нужны... И такие, как ты! Я на тебя рассчитываю больше всего.

– Мои заслуги, ваше сиятельство, не равны заслугам старых солдат, но если мы пойдем на врагов нашей дорогой отчизны, то, Бог мне свидетель, я не отстану от других.

– Я их заслуг не отрицаю, но могут настать такие тяжелые времена, что даже самые верные будут колебаться.

– Проклятие тому, кто ваше сиятельство покинет в тяжелую минуту!

– А ты... не покинешь?

Кмициц вспыхнул:

– Ваше сиятельство!..

– Что ты хочешь сказать?

– Я покаялся перед вами во всех своих грехах, а их было так много, что только родительское сердце могло их простить. Но в числе моих грехов нет одного: неблагодарности.

– И предательства... Ты покаялся передо мной, как перед отцом, а я не только простил тебя, как отец, но полюбил, как сына, которым Бог не наградил меня. Будь же мне другом!

С этими словами князь дружески протянул ему руку, которую Кмициц без колебания поцеловал.

С минуту оба молчали; потом князь пристально взглянул на Кмицица и сказал:

– Панна Александра Билевич здесь!

Кмициц побледнел и что-то забормотал.

– Я нарочно послал за нею, чтобы вы могли объясниться. Сейчас ты ее увидишь. Несмотря на массу спешных дел, я сегодня говорил с мечником.

Кмициц схватился за голову:

– Чем мне отблагодарить вас, ваше сиятельство?

– Я ясно дал понять мечнику, что лично желаю, чтобы вы скорее повенчались, и он ничего не имеет против. Вместе с тем я велел ему подготовить к этому панну. Времени у нас довольно. Все зависит от тебя, а я буду счастлив, если эту награду ты получишь из моих рук, как и множество других, тебя достойных. Ты грешил, потому что молод, но ты и прославился, так что все молодые люди готовы всюду идти за тобой. Ты должен подняться высоко. Сан хорунжего тебе не по плечу. Известно ли тебе, что ты родственник Кишко, из коих я происхожу по матери? Бери же эту девушку, если она тебе по сердцу, и помни, кто тебе ее дал.

– Я с ума сойду от счастья! Вся моя жизнь принадлежит вам. Что мне сделать, чтобы отблагодарить вас?! Приказывайте сами, ваше сиятельство!

– Добром отплатить за добро. Верь, что если я что-нибудь сделаю, то для общего блага. Не покидай меня, когда увидишь, что другие изменяют мне, и когда меня...

Вдруг князь замолчал.

– Клянусь до последнего издыхания не покидать вас, моего вождя, отца и благодетеля! – с горячностью воскликнул Кмициц, глядя на князя глазами, полными искренности. Заметив, что лицо его вдруг налилось кровью, жилы надулись и крупные капли пота выступили на высоком лбу, рыцарь тревожно спросил:

– Что с вами, ваше сиятельство?

– Ничего, ничего!

Радзивилл быстро поднялся и, подойдя к аналою, взял лежавшее на нем распятие.

– Поклянись мне вот перед этим распятием, что не оставишь меня до смерти.

Несмотря на готовность и горячность, Кмициц взглянул на князя изумленными глазами.

– Поклянись мне именем мук Христовых, – настаивал князь.

– Клянусь! – торжественно произнес Кмициц, положив руку на распятие.

– Аминь! – прибавил князь торжественно.

Эхо высокой комнаты повторило это «Аминь», и затем наступила глубокая тишина. Слышалось только дыхание мощной радзивилловской груди. Кмициц не сводил с него изумленных глаз.

– Ну теперь ты мой, – сказал наконец князь.

– Я всегда принадлежал вам, ваше сиятельство! – ответил молодой рыцарь. – Но скажите, ваше сиятельство, что дало вам повод сомневаться во мне? Не грозит ли вашему сиятельству какая-нибудь опасность? Не открыта ли измена или что-нибудь в этом роде?

– Близок час испытания, – ответил угрюмо князь, – а что касается врагов, то ты знаешь, что Госевский, Юдицкий и воевода витебский рады погубить меня. Враги мои грозят мне изменой. Потому я и говорю, что близок час испытания.

Кмициц молчал, но мрак, окружавший его, не рассеялся. Что могло грозить могущественному Радзивиллу? Ведь теперь он сильнее, чем когда-либо. В Кейданах и его окрестностях столько войск, что, будь у князя такие силы под Шкловом, война приняла бы совсем другой оборот.

Правда, Госевский и Юдицкий недолюбливали его, но оба они арестованы, а что касается витебского воеводы, то он слишком хороший гражданин, чтобы накануне войны мешать князю.

– Клянусь Богом, я ничего не понимаю! – воскликнул Кмициц, не умевший скрывать свои мысли.

– Сегодня ты поймешь все, – ответил Радзивилл. – А теперь идем в зал. – И, взяв под руку молодого рыцаря, он направился к двери.

Они прошли ряд комнат. Из большой залы неслись звуки оркестра, которым управлял француз, нарочно выписанный из-за границы князем Богуславом. Играли менуэт, который в то время танцевали при французском дворе. Мягкие звуки его сливались с шумом и говором гостей.

– Дай Бог, чтобы все гости, которых я принимаю сегодня под своим кровом, не стали завтра моими врагами, – сказал князь после минутного молчания.

– Надеюсь, что между нами нет сторонников Швеции, – возразил Кмициц. Радзивилл вздрогнул и остановился.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Лишь то, что там честные люди!

– Пойдем... Время покажет, и рассудит Бог, кто честен.

У самых дверей стояло двенадцать пажей, прелестных мальчиков, одетых в бархат и перья. Увидев гетмана, они построились в два ряда.

– Ее сиятельство уже в зале? – спросил князь.

– Точно так, ваше сиятельство, – ответили пажи.

– А Панове послы?

– Тоже здесь.

– Откройте дверь!

Обе половинки дверей распахнулись настежь, и поток ослепительного света залил мощную фигуру гетмана, который в сопровождении пажей и Кмицица взошел на возвышение, где были приготовлены кресла для наиболее почетных гостей.

В зале поднялось движение и раздались крики:

– Да здравствует Радзивилл! Да здравствует наш гетман!

Князь раскланялся на все стороны, а затем приветствовал гостей, собравшихся на эстраде, которые при его появлении поднялись. В числе почетных лиц кроме княгини были шведские послы, посол московский, воевода венденский, епископ Парчевский, архидиакон Белозор, пан Коморовский, Межеевский, жмудский староста Глебович, зять гетмана Пац, Гангоф, полковник Мирский, курляндский посол Вейсенгоф и несколько дам из свиты княгини.

Гетман, как учтивый хозяин, приветствовал сначала послов, потом остальных и лишь тогда сел в кресло, стоявшее под горностаевым балдахином; посмотрел на залу, в которой еще раздавались крики:

– Да здравствует гетман!

Между тем Кмициц, скрывшись за балдахином, обегал глазами всю залу, надеясь увидеть черты той, которая в эту минуту наполняла его душу и сердце, стучавшее, как молот.

«Она здесь!.. Через минуту я увижу ее, буду говорить с ней...» – повторял он мысленно. И искал, искал ее все с большим нетерпением, все с большей тревогой. Но что это? Там из-за перьев веера выглядывают чьи-то черные брови, белый лоб и светлые волосы. Это она!

Кмициц затаил дыхание, точно из страха, что видение исчезнет, но в эту минуту лицо открывается... «Нет, это не она, не Оленька, моя милая, драгоценная...» Глаза его несутся дальше, скользят по хорошеньким лицам, перьям, атласу, и каждую минуту он разочаровывается. Ее нет! Наконец в глубине оконной ниши мелькнуло что-то белое; у рыцаря потемнело в глазах. Это она, дорогая, милая Оленька.

Снова раздаются звуки оркестра, пары кружатся, мелькают, а Кмициц ничего не видит, кроме нее, своей возлюбленной. В громадной зале она кажется как бы меньше, а личико как у ребенка. Вот взять бы ее на руки и прижать к груди! Но это она; те же нежные черты, те же коралловые губы, те же длинные ресницы и мраморный лоб. Ему вспомнилась людская в Водоктах, где он ее в первый раз увидел, уютные комнаты, где они проводили вечера, катанье, поцелуи, которыми он иногда ее осыпал. А потом... их разлучили люди!

«Вот чем я обладал и что я утратил теперь навсегда! – воскликнул Кмициц в душе. – Как она была близка и как далека теперь! Сидит, как чужая, и не подозревает, что я здесь».

Не раз уже Кмициц проклинал себя за свои поступки, но никогда он не чувствовал такого гнева на себя, как теперь, когда после долгой разлуки он снова увидел ее, еще прекраснее, чем всегда, прекраснее, чем он мог представить ее себе в своем воображении! Он готов был

казнить себя, кричать, но, вспомнив про присутствие князя и других особ, он лишь стиснул зубы и мысленно повторял: «Поделом тебе, дурак! Поделом!»

Вдруг звуки музыки смолкли, и над ухом его раздался голос гетмана:

– Иди за мной!

Кмициц очнулся и последовал за князем, который, сойдя с возвышения, смешался с толпой. Блуждавшая на его лице ласковая, добродушная улыбка, казалось, усиливала его величие. Это был тот вельможа, который, принимая у себя королеву Марию-Людвику, поражал и затмевал французских придворных не только роскошью обстановки, но и изысканностью манер; тот, о котором с таким восторгом отзывался Жан Лабурер в своих «Путешествиях». Теперь он то и дело останавливался перед более пожилыми дамами, знатной шляхтой и полковниками, находя для каждого какое-нибудь ласковое слово, поражая своей памятью и привлекая к себе все сердца. Присутствовавшие следили глазами за каждым его движением, а он подошел к мечнику россиенскому Биллевичу и сказал:

– Благодарю тебя, старый друг, за то, что ты пожаловал ко мне. Биллевичи от Кейдан не за сто миль, а все же ты такой редкий гость!

– Отнимая от вашего сиятельства драгоценное время, я бы обидел отчизну, – ответил мечник с низким поклоном.

– А я уже хотел отомстить и навестить тебя в Биллевичах; надеюсь, что ты принял бы своего старого товарища по оружию.

Мечник, услышав это, даже вспыхнул от счастья, а князь продолжал:

– Я вот все времени не выберу свободного; но уж когда будешь выдавать замуж внучку покойного Гераклия, то на свадьбу приеду непременно, ибо я у вас обоих в долгу.

– Дай Бог, чтобы это было как можно скорее! – воскликнул мечник.

– А пока позволь представить тебе оршанского хорунжего, пана Кмицица, из тех, что в родстве с Кишко, а через них и с Радзивиллами. Ты, верно, слышал эту фамилию от Гераклия Биллевича, он их любил, как родных братьев.

– Челом вам! – произнес мечник, удивленный высоким происхождением молодого рыцаря, о котором впервые услышал из уст Радзивилла.

– Бью челом вам, пане мечник, и поручаю себя вашей дружбе, – смело и не без гордости ответил Кмициц. – Полковник Гераклий был для меня вторым отцом и благодетелем, и, хотя потом между нами произошло недоразумение, я все же не переставал любить Биллевичей, как самых близких родных.

– А особенно, – сказал князь, дружески положив руку на плечо молодого человека, – не переставал любить одну из Биллевичей, в чем мне давно сознался.

– И каждому повторю это в глаза! – горячо произнес Кмициц.

– Тише, тише, – остановил его князь. – Мосци-мечник, этот кавалер – из серы и огня, за что он уже порядком поплатился; но теперь он под моим особым покровительством, и надеюсь, что если мы вдвоем умолим нашего прелестного судью, то удостоимся милостивого снятия опалы.

– Делайте, ваше, сиятельство, все, что вам угодно, – ответил мечник. – Несчастливая панна должна теперь воскликнуть, как некая жрица перед Александром Македонским: «Кто устоит перед тобою!»

– А мы, как сей македонянин, удовлетворимся этим, – ответил со смехом князь. – Ну веди же нас к своей родственнице, я буду очень рад ее видеть.

– Готов к услугам вашего сиятельства. Она сидит с пани Войниллович, нашей родственницей. Простите, ради бога, если она смутится, ибо я не успел ее предупредить.

Предчувствие мечника оправдалось. К счастью, Оленька увидела его раньше и потому успела немного оправиться, но в первую минуту она чуть не лишилась чувств. Она смотрела на молодого рыцаря, как на призрак, и долго не могла поверить своим глазам. Ведь она думала,

что этот несчастный скитается теперь где-нибудь по лесам, гонимый, как дикий зверь, правосудием, или с отчаянием смотрит сквозь решетку на веселый Божий мир. Сколько слез пролила она по нему, одному Богу ведомо! А между тем он в Кейданах, под покровительством гетмана, гордый, в бархате и парче, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятой головой, с надменным выражением лица, и сам великий гетман, сам Радзивилл дружески кладет ему руку на плечо. Странные и противоречивые чувства наполнили сердце девушки. Она то чувствовала облегчение, точно кто-нибудь снял с ее плеч тяжелое бремя, то сожаление о даром пролитых слезах и то с восторгом, то с каким-то страхом смотрела на рыцаря, который сумел спастись из пропасти.

А князь, мечник и Кмициц, окончив разговор, направились к ней. Девушка опустила ресницы и подняла руки, как птица поднимает крылья, когда хочет спрятать между них голову. Она чувствовала, что они приближаются, и заранее знала, что они подойдут к ней. Когда они остановились, она, не поднимая глаз, вдруг встала и низко поклонилась князю.

– Господи! – воскликнул князь. – Как этот цветок чудесно расцвел! Привет вам, милая панна! Привет внучке незабвенного Биллевича! Узнаете ли вы меня?

– Узнаю, ваше сиятельство! – ответила девушка.

– А я бы вас не узнал, в последний раз я видел вас почти ребенком. Поднимите же эти завесы с ваших глаз. Счастлив будет тот, кто получит такую жемчужину, и несчастен тот, кто имел ее и потерял. Вот и теперь перед вами стоит такой несчастный в лице этого молодого кавалера! А вы его узнаете?

– Узнаю, – прошептала девушка, не поднимая глаз.

– Он великий грешник, и я привел его каяться перед вами. Наложите на него какую угодно епитимью, но не отказывайте в прощении грехов, ибо отчаяние приведет его к еще худшим поступкам.

Затем князь обратился к мечнику и пани Войниллович:

– Оставимте, Панове, молодых людей наедине, при исповеди не полагается присутствовать, и моя религия это запрещает.

Молодые люди остались с глазу на глаз. Сердце молодой девушки билось, как сердце голубя, когда его готовится схватить ястреб. Он тоже был взволнован. Обычная его смелость и порывистость оставили его. Некоторое время оба молчали. Наконец Кмициц спросил едва слышным голосом:

– Ты не думала меня здесь встретить, Оленька?

– Нет, – прошептала девушка.

– Ради бога, успокойся! Если бы перед тобой встал вдруг татарин, ты и тогда, верно, испугалась бы меньше. Не бойся! Смотри, сколько здесь людей. Я тебя ничем не обижу! Но если бы даже мы были совсем одни, то и тогда тебе нечего было бы бояться, ведь я поклялся уважать тебя. Верь мне!

– Как же могу я верить? – ответила она, поднимая на него глаза.

– Правда, я грешил, но теперь это прошло и больше не вернется. Когда после поединка с Володыевским я лежал на смертном одре, я сказал себе: «Ты не будешь больше брать ее силой, саблей, огнем, ты заслужишь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощение. Ведь у нее сердце не каменное, ее гнев пройдет; она увидит, что ты исправился, и простит». Я поклялся исправиться и сдержу свое слово. Бог услышал мои молитвы: приехал пан Володыевский и привез мне гетманский приказ. Он мог его не передать, но передал. Хорошая душа! С этих пор я был избавлен от суда покровительством гетмана. Я признался князю, как отцу, во всех своих грехах, и он не только простил меня, но даже обещал защитить от врагов. Да благословит его Бог! Я больше не буду злодеем, сойду с хорошими людьми, верну добрую славу, послужу отчизне, заглажу все мои проступки... Оленька, а ты что скажешь на это? Скажи мне хоть одно ласковое слово!

И он смотрел на нее, сложив с мольбою руки, точно молился на нее.

– Могу ли я поверить всему этому? – ответила девушка.

– Не только можешь, но и должна! – ответил Кмициц. – Ты видишь, все поверили: и князь-гетман, и пан Володыевский. Ведь они знают все мои проступки, а поверили... Почему же ты одна только не веришь?

– Я видела слезы, пролитые из-за вас... Я видела могилы, еще не поросшие травой.

– Могилы зарастут, а слезы я сам вытру.

– Так сделайте же это раньше, ваць-пане!

– Только дай мне надежду, что если я сделаю это, то ты вернешься ко мне. Хорошо тебе говорить: «Прежде сделай это». Ну а что будет, если ты за это время выйдешь за другого? Не приведи этого Бог, я с ума сойду от отчаяния. Заклинаю тебя, Оленька, дай мне уверенность, что я не потеряю тебя, прежде чем помирюсь с вашей шляхтой! Успокой меня! Ведь ты сама мне это писала, а я это письмо сохранил и в тяжелые минуты перечитываю. Я тебя ни о чем больше не прошу, только повтори мне еще раз, что ты будешь ждать меня и не выйдешь за другого.

– Вы знаете, ваць-пане, что я не могу этого сделать, по смыслу завещания. Я могу только поступить в монастырь.

– Вот бы ты мне удружила! Ради бога, оставь в покое монастырь: при одной мысли о нем у меня мороз проходит по коже! Не думай об этом, не то я тут же, при всех, упаду к твоим ногам и буду молить, чтобы ты этого не делала. Пану Володыевскому ты отказала, знаю, он мне сам говорил об этом. Он и уговорил меня заслужить тебя добрыми делами. Но к чему все это, если бы ты захотела идти в монастырь? Ты скажешь, что нужно делать добро для добра; а я тебе скажу, что люблю тебя до отчаяния и больше ничего знать не хочу. Когда ты уехала из Водокт, едва я поднялся с постели, как опять начал тебя искать. Я ставил полк на ноги, у меня не было времени ни поесть, ни выспаться, но и тогда я не переставал тебя искать. Такова уж, знать, моя доля, что без тебя мне нет ни жизни, ни покоя! Точно заноза в сердце. Только одними вздыханиями и жил я! Наконец я узнал, что ты у пана мечника в Биллевичах. И вот, говорю тебе, боролся я с мыслями, как с медведем. Наконец я сказал себе: я не сделал еще ничего хорошего – не поеду. Но вот князь, отец родной, сжалился надо мной и пригласил вас в Кейданы, чтобы я мог хоть насмотреться на тебя... Ведь мы на войну идем... Я не прошу, чтобы ты завтра же выходила за меня. Но дай услышать хоть одно слово от тебя, дай надежду – и мне станет легче. Я не хочу погибнуть, но на войне это с каждым может случиться, ведь я не стану прятаться за других... и ты должна простить мне, как прощают умирающему.

– Да хранит вас Бог и вернет невредимым! – ответила девушка мягким голосом, по которому Кмициц сразу угадал, что его слова произвели впечатление.

– Золото мое! Спасибо тебе и за это! Так ты не пойдешь в монастырь?

– Пока нет.

– Да благословит тебя Бог!

И как весной тают снега, так таяло их недоверие – и они опять становились близки друг другу. На душе у них стало легче, глаза повеселели. А ведь она ничего не обещала, да и он был настолько умен, что ничего сразу не требовал. Но она сама чувствовала, что ей нельзя, что она не имеет права закрывать перед ним дорогу к исправлению, о котором он говорил так искренне. В его искренности она не сомневалась ни минуты, это был не такой человек, который мог бы притворяться. Но главная причина, благодаря которой она его не оттолкнула и оставила ему надежду, была та, что в глубине души она еще его любила. Любовь эту на время придавила гора горечи, разочарования и боли, но она жила, готовая верить и прощать без конца.

«Он лучше, чем его поступки, – думала девушка, – и нет уж тех, кто толкал его на дурные дела. С отчаяния он мог бы решиться на что-нибудь еще худшее, так пусть же он не отчаивается!»

И ее доброе сердце обрадовалось тому, что простило. На щеках Оленьки выступил румянец, как свежие розы на росе. Глаза нежно и живо блестели и точно наполняли своим светом залу. Проходившие мимо любовались этой прелестной парой – и действительно, трудно было найти другую такую же во всей зале, хотя в ней собрался цвет всей шляхты.

Притом оба, точно сговорившись, были одинаково одеты. На ней тоже было платье из серебристой парчи, застегнутое сапфиром, и голубой из венецианского бархата контуш. «Должно быть, брат и сестра?» – спрашивали те, кто их не знал. Но другие замечали: «Не может быть, у него слишком блестят глаза, когда он на нее смотрит».

Между тем маршал дал знать, что пора садиться за стол, и в зале поднялось необыкновенное движение. Граф Левенгаупт, весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, шлейф которой несли два пажа; за ним барон Шитте вел пани Глебович, тут же шли ксендз-епископ Парчевский с ксендзом Белозором; оба были чем-то опечалены. Князь Януш, который в шествии уступал дорогу гостям, но за столом сидел рядом с княгиней на первом месте, вел баронессу Корф, которая уже неделю гостила в Кейданах, Кмициц вел Оленьку, которая слегка опиралась рукой на его руку, а он смотрел сбоку на ее нежное лицо, счастливый, сияющий, чувствующий себя богаче всех собравшихся здесь магнатов, ибо был близок к обладанию величайшим сокровищем. И так шли пары одна за другой, как стоцветный змей, отливавший чешуей.

Гости мерными шагами, при звуках оркестра, вошли в огромную столовую, где столы, в виде подковы, были сервированы на триста персон и гнулись под тяжестью серебра и золота. Князь Януш, родственник стольких королей и сам носивший в себе как бы часть королевского величия, сел рядом с княгиней на первое место, а гости, проходя мимо, кланялись ему низко, а затем садились сообразно сану и званию.

Но, по-видимому, князь (так казалось присутствующим) помнил, что это последний пир перед страшной войной, в которой решится участь огромных государств, так как в лице его не было спокойствия. Он притворялся веселым и улыбающимся, но вид у него был такой, точно его мучит лихорадка. Порой его грозное чело точно заволакивалось тучей, и сидевшие ближе могли заметить, что оно было покрыто крупными каплями пота; порою взор его быстро пробежал по лицам присутствующих и останавливался испытующе на полковниках; то вдруг князь морщил львиные брови, точно от боли или точно чье-либо лицо вдруг возбуждало в нем гнев. И странно: все сановники, сидевшие поблизости от князя, как то: послы, ксендз-епископ Парчевский, ксендз Белозор, пан Коморовский, пан Межеевский, пан Глебович, пан воевода венденский и другие, были так же рассеяны и беспокойны. На двух противоположных концах огромной подковы слышался уже веселый разговор, обычный на пирах, а середина ее угрюмо молчала или шептала что-то изредка или, наконец, обменивалась рассеянными и тревожными взглядами.

Но в этом не было ничего странного, так как ниже сидели полковники и рыцари, которым близость войны угрожала, самое большее, смертью. Легче умереть на войне, чем нести на своих плечах бремя ответственности за нее. Не омрачится душа солдата, когда, искупив кровью грехи свои, отлетает она с поля на небо; только тот тяжело клонит голову и отдает отчет Богу и совести, кто накануне решительного дня не знает, какую чашу даст он испить отчизне.

Так и говорили на нижних концах.

– Он всегда такой: перед каждой войной с душой своей беседует, – говорил старый полковник Станкевич пану Заглобе, – но чем он мрачнее, тем хуже для неприятеля, ибо в день битвы он наверное будет весел.

– Ведь и лев перед битвой рычит, – ответил пан Заглоба, – чтобы возбудить этим в себе еще большую ненависть к врагу. Что же касается великих полководцев, то у каждого из них свой обычай. Аннибал, говорят, играл в кости, Сципион африканский сочинял вирши, пан

Конецпольский-отец всегда о женщинах разговаривал, а я охотно люблю поспать часик-другой, хоть и от выпивки с хорошими людьми не сторонюсь.

– Посмотрите, ваць-панове, епископ Парчевский бледен, как бумага, – сказал Станислав Скшетуский.

– Потому что сидит за кальвинистским столом и мог съесть что-нибудь нечистое, – вполголоса объяснил Заглоба. – К напиткам, говорят старые люди, нечистый не имеет доступа, и их можно пить везде, а кушаний, особенно супов, нужно остерегаться. Так было и в Крыму, когда я там был в плену. Татарские муллы – священники, значит, – умели так готовить баранину с чесноком, что кто раз попробовал, тот готов был сейчас же отречься от своей веры и признать ихнего вруна-пророка.

Тут Заглоба понизил голос еще больше:

– Не в обиду князю-пану будь сказано, но советую ваць-панам перекрестить кушанье: береженого и Бог бережет.

– Что вы говорите, ваць-пане! Кто перед едой перекрестится, с тем уж нечего не случится! У нас в Великопольше лютеран и кальвинистов тьма-тьмушая, но я не слышал, чтобы они колдовали на кухне.

– У вас в Великопольше лютеран тьма-тьмушая, потому они и снюхались со шведами, – ответил пан Заглоба. – Я бы на месте князя этих послов собаками затравил, а не набивал бы им брюхо всякими сладостями. Посмотрите только на этого Левенгаупта. Жрет, точно его через месяц на убой поведут. Он еще в карманы припрячет всякие лакомства для жены и детей. Забыл, как зовут эту вторую заморскую птицу. Как его?

– Спросите, отец, у Михала, – ответил Ян Скшетуский.

Но пан Михал, хотя сидел недалеко, ничего не видел и не слышал: он сидел между двумя паннами; по левую руку сидела панна Эльжбета Селявская, девушка лет около сорока, а по правую Оленька Билевич, за которой сидел Кмициц. Панна Эльжбета трясла головою, украшенной перьями, перед маленьким рыцарем и рассказывала что-то оживленно, а он, поглядывая на нее время от времени осоловелыми глазами, отвечал: «Так, мосци-панна! Совершенно верно!» – но не понимал ни слова, ибо все его внимание было поглощено другой соседкой. Он ловил каждое слово Оленьки и так шевелил усами, точно хотел этим испугать панну Эльжбету.

«Что за чудная девушка! – думал он. – Ну и красавица! Господи, воззри на мое горе: нет никого на свете сиротливее меня! Душа так и пищит во мне от тоски по суженой, а на кого я ни взгляну, все уже заняты. Куда же мне деться, несчастному скитальцу?»

– А после войны что ваць-пан думает делать? – вдруг спросила его панна Эльжбета, сложив губки бантиком и обмахиваясь веером.

– В монастырь идти! – раздраженно ответил маленький рыцарь.

– А кто это на балу говорит о монастыре? – весело спросил Кмициц, перегибаясь через Оленьку. – Это вы, пане Володыевский?

– У ваць-пана не то на уме? Верю!

Но вот в его ушах зазвенел сладкий голос Оленьки:

– Ваць-пану не нужно об этом думать. Бог пошлет вам жену любимую и столь же достойную, как и ваць-пан!

Добрый пан Михал расчувствовался.

– Если бы кто-нибудь заиграл мне на флейте, мне не было бы приятнее слушать!

Все усиливавшийся шум за столом прервал дальнейший разговор. Дошла очередь и до рюмок. Беседа оживлялась. Полковники спорили о будущей войне, морща брови и бросая огненные взгляды.

Пан Заглоба рассказывал об осаде Збаража, у слушателей кровь бросалась к лицу, а в сердце росло мужество... Казалось, дух бессмертного «Еремы» витал в зале и геройским одушевлением наполнял сердца солдат.

– Вот это был вождь, – воскликнул знаменитый полковник Мирский, командовавший радзивилловскими гусарами. – Я один раз его видел, но и умирая буду его помнить.

– Юпитер с перунами в деснице! – воскликнул старик Станкевич. – Не дошло бы до того, что теперь, будь он жив!

– Ба, ведь это он за Ромнами велел рубить леса, чтобы открыть дорогу к неприятелю!

– Не будь его, мы бы не одержали победы под Берестечком!

– И Бог отнял его у нас в самую тяжелую минуту...

– Бог его отнял, – сказал, возвысив голос, пан Станкевич, – но после него осталось завещание для будущих вождей, сановников и всей Речи Посполитой: ни с одним неприятелем не вести переговоров, а всех бить!

– Бить, бить! – повторило несколько сильных голосов.

В столовой стояла страшная жара и возбуждала кровь в воинах – и вот взгляды их стали как молнии, а лица грозны.

– Наш пан гетман будет исполнителем этого завещания! – сказал Мирский.

Вдруг громадные часы, помещавшиеся у потолка залы, пробили полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно зазвенели стекла и грохот салютных выстрелов раскатился по двору. Разговоры умолкли. Настала глубокая тишина. Вдруг в верхней части стола раздался крик:

– Епископу Парчевскому дурно! Воды!

Произошло замешательство. Многие вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что случилось. Епископ не упал в обморок, а лишь очень ослаб, и маршал поддерживал его, пока жена венденского воеводы прыскала ему в лицо водой.

В эту минуту раздался второй выстрел – дрогнули стекла; за ним третий, четвертый...

– Виват Речь Посполитая! Да погибнут враги ее! – крикнул пан Заглоба. Но дальнейшие выстрелы заглушили его слова.

Шляхта стала считать:

– Десять, одиннадцать, двенадцать.

Стекла каждый раз отвечали жалобным стоном. Пламя свечей колебалось от сотрясения.

– Тринадцать, четырнадцать! Ксендз-епископ не привык к такому грохоту. Он испортил своим испугом веселье. И князь обеспокоился. Посмотрите, мосци-панове, какой он мрачный... Пятнадцать, шестнадцать... Ого, палят как на войне! Девятнадцать, двадцать!

– Тише там! Князь хочет говорить! – раздалось со всех концов стола. Все вдруг смолкло, и глаза всех устремились на Радзивилла, который с бокалом в руке был похож на великана. Но что за зрелище предстало их глазам!

Лицо князя было в эту минуту просто страшно. Оно было не бледное, а синее, искривлено судорожной улыбкой, которую князь старался вызвать на губах. Дыхание его, всегда короткое, стало еще короче, а глаза были полузакрыты ресницами. В его мощном лице было что-то страшное и холодное, как в лице покойника.

– Что с князем? Что с ним? – тревожно шептали вокруг.

И зловещее предчувствие охватило всех: тревожное ожидание отразилось на липах.

А он заговорил прерывающимся от астмы голосом:

– Мосци-панове! Многих из вас... удивит... или просто испугает этот тост... но... кто мне верит... кто поистине желает добра отчизне... кто верный друг моего дома... тот его примет... и повторит: «Да здравствует король Карл-Густав... отныне всемилостивейше царствующий над нами!»

– Да здравствует! – повторили два посла, Левенгаупт и Шитте, и несколько иностранных офицеров.

Но в зале воцарилось глухое молчание. Полковники и шляхта в ужасе переглядывались, точно спрашивая друг друга: не сошел ли князь с ума. Несколько голосов раздалось в разных концах стола:

– Не ослышались ли мы? Что это?

Потом снова наступила тишина.

Невыразимый ужас, соединенный с изумлением, отразился на лицах, и глаза всех снова обратились на Радзивилла – он все еще стоял, тяжело дыша, точно сбросил с себя страшную тяжесть. Потом он обратился к пану Коморовскому и сказал:

– Пора прочесть договор, который мы сегодня подписали, чтобы их милости, паны, знали чего держаться. Читайте, ваць-пане!

Коморовский встал, развернул лежавший перед ним пергамент и стал читать страшный договор, начинающийся словами:

«Не имея возможности лучше и выгоднее поступить в настоящую минуту бедствий и потеряв всякую надежду на помощь его величества короля, мы, сановники и шляхта Великого княжества Литовского, вынужденные необходимостью, отдаемся под покровительство его величества короля шведского на следующих условиях:

1) Вместе воевать против неприятеля, исключая короля и коронных войск.

2) Великое княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, а соединится с нею на таких же условиях, как доньше с королевством Польским, то есть чтобы народ народу, сенат сенату и рыцарство рыцарству были во всем равны.

3) Свобода голоса на сеймах никому не должна быть возбраняема.

4) Свобода религии должна быть неприкосновенна...»

И так далее читал пан Коморовский среди тишины и ужаса, пока не дошел до следующего места: «Акт сей, скрепленный подписями нашими, как мы, так и потомки наши обязуемся хранить нерушимо».

По залу пробежал ропот, точно первое дуновение бури всколыхнуло лес. Но не успела она еще разразиться, как седой как лунь пан Станкевич обратился к князю с речью и мольбой:

– Мосци-князь, мы не верим собственным ушам! Во имя Господа! Неужели должно погибнуть дело рук Владислава и Сигизмунда-Августа? Неужели можно, неужели достойно отречься от своих братьев и заключать унию с неприятелем? Мосци-князь! Помните о том имени, которое вы носите, и о принесенных на алтарь отчизны заслугах, о незапятнанной славе вашего рода и порвите, растопчите этот позорный документ! Я знаю, что молю вас об этом от имени всей шляхты и войск. Ведь и мы властны решать нашу судьбу! Мосци-князь, не делайте этого! Еще время! Сжальтесь над собой, над нами, сжальтесь над Речью Посполитой!

– Не делайте этого! Сжальтесь! Сжальтесь! – отозвались сотни голосов.

И все полковники вскочили со своих мест и стали подходить к нему, а маститый Станкевич упал на колени посреди залы, и все громче раздавалось вокруг:

– Не делайте этого! Сжальтесь над нами!

Радзивилл поднял свою мощную голову, и глаза его метнули молнии. Вдруг он обрушился:

– Вам ли, мосци-панове, первым давать пример неповиновения? Прилично ли солдатам отступать от вождя и гетмана и протестовать? Вы хотите учить меня, как нужно поступать для блага отчизны? Здесь не сеймик, вас сюда не голосовать позвали. Я перед Богом беру ответственность на себя!

И он ударил себя рукой по широкой груди, глядя пылающими глазами на рыцарей, и наконец крикнул:

– Кто не со мной, тот против меня! Я знал вас, знал, что будет! Но знайте же и вы, что меч висит над вашими головами!

– Мосци-гетман, гетман наш, – молил старик Станкевич, – сжался над собой и над нами. Но его слова прервал Станислав Скшетуский. Он, схватившись обеими руками за волосы, закричал с отчаянием:

– Не просите его! Напрасный труд! Он эту змею давно лелеял в своем сердце! Горе тебе, Речь Посполитая! Горе нам всем!

– Два сановника на двух концах Речи Посполитой продают отчизну! – воскликнул пан Ян. – Проклятие этому дому, позор и гнев Божий!

Услышав это, Заглоба очнулся от изумления и гаркнул:

– Спросите его, сколько он отступного получил от шведов? Сколько заплатили, сколько еще обещали? Мосци-панове, это Иуда Искариотский! Чтоб ты издох в отчаянии! Чтоб род твой погиб! Чтоб дьявол душу из тебя вырвал! Изменник! Изменник! Трижды изменник!

Вдруг Станкевич, в порыве отчаяния, выхватил полковницкую булаву из-за пояса и с грохотом бросил ее к ногам князя; вторым бросил Мирский, за ним Юзефович, Гощиц, Оскерко и бледный, как труп, Володыевский. И катились по полу булавы, и в логове льва, льву в глаза все громче повторялось страшное слово: «Изменник!», «Изменник!»

Вся кровь бросилась в голову гордого магната; он посинел и, казалось, вот-вот свалится под стол мертвым.

– Гангоф и Кмициц, ко мне! – крикнул он страшным голосом.

В ту же минуту четверо дверей, ведущих в залу, раскрылись настежь, и отряды шотландской пехоты вошли, грозные, молчаливые, с мушкетами в руках. Из главных дверей их вел Гангоф.

– Стой! – крикнул князь. Потом обратился к полковникам:

– Кто со мной, пусть перейдет направо.

– Я солдат, гетману служу! Пусть Бог меня судит! – сказал Харламп, переходя на правую сторону.

– И я! – прибавил Мелешко. – Не мой грех!

– Я протестовал как гражданин, но как солдат должен повиноваться! – сказал Невяровский, который хотя и бросил булаву, но теперь, по-видимому, испугался Радзивилла.

За ними перешло еще несколько человек и часть шляхты, но Мирский, человек наиболее заслуженный среди всех, Станкевич, Гощиц, Володыевский, Оскерко, двое Скшетуских, Заглоба и огромное большинство как офицеров разных хоругвей, так и шляхты остались на месте.

Шотландская пехота окружила их стеной.

Кмициц, с первой же минуты, как князь провозгласил тост в честь Карла-Густава, вскочил с места с другими и стоял окаменелый, с неподвижными глазами и повторял побледневшими губами:

– Боже! Боже! Что я наделал?!

И вот тихий, но явственный шепот раздался близ него:

– Пане Андрей...

Он схватился руками за голову и простонал:

– Проклят я навеки! Пусть земля меня поглотит!..

На лице панны Биллевич выступил яркий румянец; глаза, горящие, как звезды, смотрели на Кмицица.

– Позор тем, кто станет на сторону гетмана! Выбирайте! Господи всемогущий!.. Что вы делаете?! Выбирайте!..

– Боже! Боже! – крикнул Кмициц.

Между тем зала огласилась криками; другие бросали булавы под ноги князю, но Кмициц не присоединился к ним. Не тронулся и тогда, когда князь крикнул: «Гангоф и Кмициц, ко мне!» – и когда шотландская пехота вошла в зал... Стоял, терзаемый мукой и отчаянием, с обезумевшими глазами и посиневшими губами.

Вдруг он повернулся к панне Александре и протянул руки:

– Оленька! Оленька! – повторял он с жалобным стоном, как обиженный ребенок.

– Прочь, изменник! – отчетливо ответила она.

В эту минуту Гангоф скомандовал: «вперед», и отряд шотландцев, окружавший арестованных, направился к дверям.

Кмициц пошел за ними, ничего не сознавая и не зная, куда и зачем он идет. Пир кончился.

XIV

В эту ночь князь долго еще совещался с паном Корфом, воеводой венденским и шведскими послами. Результат обнародования договора обманул его ожидания и открыл перед ним грозное будущее. Он нарочно сделал так, что обнародование совершилось в тот момент, когда люди немного подвыпили и, можно было рассчитывать, станут податливее. Он ожидал протеста, но рассчитывал и на сторонников, между тем энергия протеста превзошла его ожидания. Кроме незначительной горсти шляхтичей-кальвинистов и иностранных офицеров, которые, как иностранцы, не имели права голоса в этом деле, все восстали против договора с Карлом-Густавом, или, вернее, с его фельдмаршалом и зятем, де ла Гарди. Правда, князь велел арестовать войсковых старшин, но что же из этого? Что скажут на это войска? Не заступятся ли они за своих полковников? Не взбунтуются ли и не захотят ли силой освободить их? Но в таком случае что же останется у гордого гетмана, кроме нескольких полков драгун и иностранной пехоты? Кроме этого останется еще вся страна, вся вооруженная шляхта и Сапега, воевода витебский, грозный противник радзивилловского дома, который во имя родины готов на войну со всем миром. Все эти полковники, которым нельзя ведь срубить головы, перейдут к нему, и Сапега станет во главе страны, а князь Радзивилл останется без сторонников, без войска, без значения... Что же тогда?

Вопрос этот был страшен, как и само положение князя. Князь хорошо понимал, что тогда и договор, над которым ему пришлось втайне столько поработать, потеряет всякое значение, и шведы будут пренебрежительно относиться к нему, Радзивиллу, или даже мстить за обман. Ведь он отдал им свои Биржи в залог верности и этим еще больше ослабил себя.

Карл-Густав готов был обеими руками осыпать могущественного Радзивилла наградами, но слабым и покинутым он пренебрежет. А если вдруг превратность судьбы пошлет победу Яну Казимиру – тогда настанет час последней гибели для пана, который еще сегодня утром не имел себе равного во всей Речи Посполитой.

После отъезда послов и венденского воеводы князь схватил обеими руками обремененную заботами голову и стал быстрыми шагами ходить по комнате. Снаружи доносились голоса шотландской стражи и грохот отъезжающих экипажей. Шляхта уезжала так быстро, с такой поспешностью, точно зараза посетила великолепный кейданский дом. Радзивиллом овладело страшное беспокойство.

Ему минутами казалось, что кто-то в комнате ходит за ним и шепчет: «Одиночество... нищета... и позор!» Его, великого гетмана и воеводу виленского, унизили и оскорбили! Кто бы мог вчера подумать, что найдется во всей Короне и Литве – мало того, во всем мире! – хоть один человек, который осмелился бы крикнуть ему в глаза: «Изменник!» А ведь он выслушал это и жив еще, как живы и те, что произнесли это слово. Если он войдет в зал, где происходил пир, он услышит еще под сводами эхо: «Изменник, изменник!»

И бешеный, безумный гнев разрывал порою грудь мощного олигарха. Ноздри его раздувались, глаза метали молнии, а на лбу выступили жилы. Кто смеет противиться его воле? И обезумевшая фантазия рисовала перед его глазами картины казней и мук бунтовщиков, которые осмелились не последовать за ним, как псы за господином. Он уже видел кровь, стекающую с топоров палачей, слышал треск костей на колесе и любовался, и наслаждался этими кровавыми видениями.

Но когда трезвая мысль напомнила ему, что за этими бунтовщиками стоит войско, что нельзя безнаказанно свернуть им головы, – страшное, невыносимое, адское беспокойство возвращалось в душу, и снова кто-то шептал на ухо: «Одиночество, нищета, суд и позор!»

Как? Значит, даже Радзивилл не имеет права решать участь страны? Не может оставить ее Яну Казимиру или передать Карлу-Густаву? Передать, подарить, кому он хочет? Магнат с недоумением смотрел в пространство.

Кто же, в таком случае, Радзивиллы? Чем они были вчера? Что говорили о них на Литве? Неужели это был мираж? Неужели на сторону великого гетмана не станет князь Богуслав со своими поляками, за ним его дядя, электор Бранденбургский, а за ними трое – Карл-Густав, король шведский, со своими победоносными войсками, перед которыми так недавно еще дрожала неметчина во всю ширь и даль. Да и сама Речь Посполитая протягивает к новому властелину руки и содрогается при одной мысли о приближении этого полнощного льва. Кто устоит против этой неодолимой силы?

С одной стороны, король шведский, электор Бранденбургский, Радзивиллы, в случае нужды, и Хмельницкий со всеми своими силами, и валашский господарь, и Ракочи семиградский¹⁷, чуть не пол-Европы, с другой – воевода витебский с паном Мирским и Станкевичем с этой троицей шляхты, прибывшей из-под Лукова, и несколько взбунтовавшихся полков! Что же? Шутки? Комедия?

И князь громко рассмеялся.

– Клянусь Люцифером и всем адским сеймом, я с ума сошел, что ли? Пусть они все идут к воеводе витебскому!

Но через несколько минут лицо его снова омрачилось.

– Сильные принимают в компанию только сильных. Радзивилл, повергающий к шведским ногам Литву, будет всегда желанным... Радзивилл же, взывающий о помощи против Литвы, будет отвергнут.

Что же делать?

Иностранные офицеры останутся при нем, но их недостаточно, и если польские полки перейдут к воеводе витебскому, то судьба края будет в его руках. Впрочем, каждый из этих офицеров хотя и будет исполнять его Приказания, но не отдастся делу Радзивиллов всей душой не только как солдат, но и как сторонник.

Нужны, во что бы то ни стало нужны, не иностранцы, а свои, которые могли бы привлечь на свою сторону именем, мужеством, славой, готовностью на все. Нужно иметь сторонников в стране, хотя бы для вида.

Кто же из своих остался при князе? Харлам, старый, бывалый солдат, служака и ничего больше; Невяровский, не любимый солдатами и не влиятельный, затем еще несколько человек, ничего не значащих... Никого, никого из таких, за кем пошло бы войско, кто умел бы вести пропаганду дела.

Оставался один Кмициц, смелый, предприимчивый, прославившийся рыцарь, носящий знаменитое имя, стоящий во главе прекрасного полка, сформированного на собственные средства; человек, точно созданный быть вождем всех беспокойных душ на Литве, притом полный пыла. Если бы он взялся за дело Радзивиллов, он взялся бы с верою, которую дает молодость, слепо шел бы за своим гетманом. Он был бы апостолом гетмана, а такой апостол значит больше, чем полки и отряды иноземцев. Свою веру он привьет рыцарству, потянет его за собой и этим пополнит радзивилловский лагерь.

Но и он, видимо, колеблется. Правда, он не бросил своей булавы к ногам гетмана, но и не стал на его сторону в первую минуту.

«Ни на кого нельзя рассчитывать, ни в ком нельзя быть уверенным, – мрачно подумал князь. – Все они перейдут к воеводе витебскому, и никто не захочет разделить со мной...»

«Позора!» – прошептала совесть.

«Литвы!» – ответило тщеславие.

¹⁷ Ракочи – князя Семиградья (Трансильвании).

В комнате потемнело, на свечах образовался нагар; лишь в окна лился серебристый свет луны. Радзивилл всматривался в этот свет и глубоко задумался.

Понемногу в этом лунном свете стали появляться какие-то фигуры, их становилось все больше, наконец князь ясно увидел войско, которое шло по широкой дороге лунного света. Идут полки панцирные, гусарские, легкие пятигорские, за ними лес знамен, а во главе едет кто-то без шлема на голове, должно быть, триумфатор, возвращающийся после победы. Вокруг тишина, а князь ясно слышит голоса войска и народа: «Да здравствует защитник отечества!» Войска подходят все ближе, уже можно различить лицо вождя. Он держит в руке булаву; по числу бунчуков можно узнать, что это – великий гетман.

– Во имя Отца и Сына! Это Сапега, это воевода витебский! А где же я? Что мне предназначено?

«Позор!» – шепчет совесть.

«Литва!» – отвечает тщеславие.

Князь хлопнул в ладоши; дежуривший с соседней комнате Герасимович тотчас же появился в дверях и согнулся в три погибели.

– Огня! – сказал князь.

Герасимович снял нагар со свечей и ушел, но сейчас же вернулся с подсвечником в руках.

– Ваше сиятельство, пора отдохнуть! Уже вторые петухи пропели.

– Не хочу! – сказал князь. – Я вздремнул, и кошмар меня душил. Что нового?

– Какой-то шляхтич привез из Несвижа письмо от князя-кравчего, но я не смел войти без зова.

– Давай скорее письмо!

Герасимович подал запечатанный пакет, князь вскрыл его и начал читать:

«Пусть Бог хранит и удержит ваше сиятельство от таких замыслов, которые могут принести всему нашему дому позор и гибель. При одной мысли об этом надо не о власти думать, а надеть власяницу! Я тоже забочусь о величии нашего дома: лучшее доказательство – мои хлопоты в Вене, чтобы нам получить право решающего голоса на сеймах. Но ни отечеству, ни своему королю я не изменю ни за какие награды и блага мира, чтобы за такой посев не собрать позора при жизни и вечных мук – после смерти. Вспомните, ваше сиятельство, заслуги предков, их незапятнанную славу и опомнитесь, пока не поздно. Неприятель осаждает меня в Несвиже, и не знаю, дойдет ли письмо до рук вашего сиятельства; хотя мне каждую минуту угрожает опасность, я не о спасении молю Бога, но о том, чтобы Он удержал ваше сиятельство от этих намерений и наставил на путь добродетели. Если и случилось что дурное, еще можно отступить и скорым исправлением загладить грехи. От меня не ждите помощи, ибо предупреждаю, что я, не глядя на узы крови, соединю свои силы с подкоморием и воеводой витебским и, стократ скорее, оружие мое обращу против вашего сиятельства, чем добровольно приложу руку к этой позорной измене. Поручаю Богу ваше сиятельство.

Михаил-Казимир Радзивилл. Князь на Несвиже и Ольке, кравчий Великого княжества Литовского».

Гетман, прочитав письмо, опустил его на колени и начал качать головой с болезненной улыбкой на губах.

«И этот оставляет меня; родная кровь отрекается от меня за то, что я хочу украсить дом наш невиданным доселе блеском... Нечего делать! Остается Богуслав, и он меня не оставит. С нами электор и Карл-Густав, а кто не хочет сеять, тот и собирать не будет...»

«Позора!» – шепнула совесть.

- Ваше сиятельство, изволите дать ответ? – спросил Герасимович.
 - Ответа не будет.
 - Мне можно уйти и прислать спальников?
 - Постой... Стража расставлена везде?
 - Точно так.
 - Приказы по полкам разосланы?
 - Точно так.
 - Что делает Кмициц?
 - Бился головой об стену и кричал о вечном проклятии. Извивался как вьюн. Хотел бежать за Билевичами, но стража его не пустила. Схватился за саблю, его пришлось связать. Теперь лежит спокойно.
 - Мечник россиенский уехал?
 - Не было приказа его удержать.
 - Забыл! – сказал князь. – Отвори окна, меня астма душит... Скажи Харлампу ехать в Упиту за полком и сейчас же привести его сюда. Дай ему денег, пусть уплатит людям за первую четверть и позволит им погулять. Скажи ему, что я ему даю Дыдкемы Володыевского в пожизненное владение. Астма меня душит... Постой!
 - Что прикажете, ваше сиятельство?
 - Что делает Кмициц?
 - Я уже докладывал вашему сиятельству: лежит спокойно.
 - Правда, ты говорил. Пришли его сюда. Мне нужно с ним поговорить. Прикажи развязать его!
 - Ваше сиятельство, это сумасшедший человек...
 - Не бойся, ступай!
- Герасимович вышел; князь вынул из венецианского стола ящик с пистолетами, открыл его и, поставив около себя, сел в кресло.
- Спустя четверть часа вошел Кмициц в сопровождении четырех шотландских драбантов. Князь велел солдатам уйти. Они остались вдвоем.
- На лице Кмицица, казалось, не было ни кровинки. Только глаза горели лихорадочным огнем, но, несмотря на это, он казался спокойным, хотя и погруженным в безграничное отчаяние.
- Некоторое время оба молчали. Князь заговорил первый:
- Ты поклялся распятием, что не оставишь меня.
 - Я проклят, если сдержу свою клятву, проклят, если не сдержу! Все равно! – ответил Кмициц.
 - Ты не будешь отвечать, если даже я веду тебя к злу!
 - Месяц тому назад мне грозил суд и наказание за убийство... Теперь мне кажется, что тогда я был невинен, как дитя!
 - Прежде чем ты выйдешь из этой комнаты, ты будешь чувствовать себя разрешенным от всех грехов, – сказал князь.
- Вдруг, переменяя тон, он спросил с оттенком дружеского добродушия:
- Как ты думаешь, что я должен был сделать, находясь посреди двух неприятелей, во стократ сильнейших, чем я, против которых я не мог защитить страну?
 - Погибнуть! – резко ответил Кмициц.
 - Позавидуешь вам, солдатам: вы так легко можете сбросить с себя гнетущее бремя. Погибнуть! Кто смотрел смерти в глаза и не боится ее, для того нет ничего проще на свете. Вам и в голову не придет, что если бы я теперь поднял войну и умер, не заключив договора, то в стране не осталось бы камня на камне... Не дай бог, чтобы это случилось, ибо и в небе моя душа не нашла бы покоя. О, счастливы, стократ счастливы те, что могут погибнуть! Неужели

ты думаешь, что и мне жизнь не в тягость, что я не жажду вечного сна и покоя? Но нужно чашу желчи и горечи выпить до дна. Нужно спасти этот несчастный край и для его спасения согнуться под новой тяжестью. Пусть завистники обвиняют меня в тщеславии, пусть говорят, что я изменяю отчизне, чтобы самому возвыситься. Бог свидетель, хочу ли я этого и не отказался ли бы я от всего, если бы был другой выход. Найдите же его вы, которые отрекаетесь от меня и называете изменником, и я еще сегодня порву этот документ, подниму на ноги все полки и пойду на неприятеля. Кмициц молчал.

– Ну, что же ты молчишь? – воскликнул, возвысив голос, Радзивилл. – Я ставлю тебя на свое место, на место великого гетмана и воеводы виленского, а ты не умирай – ведь это не штука! – а спасай страну, защити занятые воеводства, отомсти за сожжение Вильны, защити Жмудь от нашествия шведов, – ха! – защити всю Речь Посполитую, выгони всех неприятелей из ее пределов... Разорвись на тысячу частей, но не умирай... Не умирай, потому что не имеешь права, а спасай страну!

– Я не гетман и не воевода виленский, – ответил Кмициц, – и что меня не касается, то не моего ума дело. Но если надо разорваться на тысячи частей, я разорвусь!

– Слушай, солдат! Если не твоего ума дело спасать страну, то предоставь все мне и верь!

– Не могу! – ответил Кмициц, стиснув зубы.

Радзивилл мотнул головой.

– Я не рассчитывал на тех – я ожидал того, что случилось, но в тебе я ошибся. Не прерывай меня, слушай. Я поставил тебя на ноги, освободил от суда и наказания, прижал к сердцу, как сына. И знаешь ли почему? Я думал, что ты смелая душа, способная на великие дела. Не скрою, мне нужны были такие люди. Около меня не было никого, кто решился бы смело взглянуть на солнце. Все были люди малодушные – им нельзя указать иного пути, как тот, по которому ходили их отцы. Иначе они закаркают, что ты ведешь их по беспутнице. А куда же, как не к пропасти, пришли мы этими старыми путями? Что стало с той Речью Посполитой, которая когда-то была грозой всего мира?

И князь схватился руками за голову и трижды воскликнул:

– Боже! Боже! Боже! Затем он продолжал:

– Настал час гнева Божьего, година таких бедствий и такого упадка, что обыкновенным способом нам не подняться, а когда я хочу избрать новый путь, единственный, могущий привести к спасению, то меня покидают даже те, на чью готовность я рассчитывал, которые должны были верить мне, которые мне в этом поклялись перед распятием. Скажи мне, Богом заклинаю тебя, неужели ты думаешь, что я навсегда отдаю себя под покровительство Карла-Густава? Что я действительно думаю присоединить эту страну к Швеции, что договор, за который вы меня прозвали изменником, будет продолжаться более года? Что ты смотришь на меня изумленными глазами? Ты еще более изумишься, когда выслушаешь все... Ты даже испугаешься! Здесь произойдет то, о чем никто не предполагает, чего обыкновенный ум объять не может... Но, говорю тебе, не бойся, ибо в этом спасение нашей страны. Не отступай, ибо, если я ни в ком не найду помощи, я погибну, но со мной погибнет и Речь Посполитая, и вы все навеки. Я один ее могу спасти, но для этого должен уничтожить и растоптать все преграды. Горе тому, кто будет мне противиться, будь то воевода витебский, или пан подскарбий Госевский, или шляхта. Я хочу спасти отчизну, а для этого все средства хороши... В минуту опасности Рим назначал диктаторов. Такой – нет, еще большей! – власти мне нужно... Не гордость тянет меня к ней! Кто чувствует себя сильнее, пусть берет ее! Но если нет никого – возьму я, пусть даже хоть эти стены обрушатся на мою голову!

С этими словами князь поднял вверх обе руки, точно на самом деле хотел поддержать падающие на него своды, и в нем было столько величия, что Кмициц широко раскрыл глаза и смотрел на него так, точно никогда раньше не видел его. Наконец спросил изменившимся голосом:

- К чему вы стремитесь, ваше сиятельство? Чего хотите?
- Хочу... короны! – крикнул Радзивилл.
- Иезус, Мария!

Настала минута полной тишины, только филин на башне пронзительно смеялся.

– Слушай, – сказал князь. – Пора сказать все. Речь Посполитая погибнет и должна погибнуть. Нет для нее спасения на земле. Прежде всего нужно спасти наш край; наше ближайшее отечество, Литву, от разгрома... а потом возродить все из пепла. Я это сделаю! Бремя короны возложу на голову, чтобы на этой великой могиле возродить новую жизнь... Не дрожи: земля не разверзается под тобою, все стоит на своем прежнем месте, лишь времена новые наступают... Я отдал этот край шведам, чтобы их оружием удержать другого врага, выгнать его из наших границ, вернуть то, что потеряно, и в его же столице мечом вынудить трактат. Слышишь ты меня? В этой скалистой голодной Швеции не хватит людей, не хватит сил, чтобы забрать в свои руки всю Речь Посполитую. Они могут нас победить раз, другой, но удержать нас в повиновении они не в силах. Если бы к каждому десятку здешних людей приставить по стражнику-шведу, то для многих десятков стражников не хватит. И Карл-Густав сам знает это, он не хочет и не может захватить всю Речь Посполитую, он займет Пруссию и часть Великопольши – и довольно... Но чтобы владеть ими в будущем, он должен будет поневоле разорвать союз Литвы с Польшей, иначе ему не усидеть в тех провинциях. Что тогда будет с этой страной? Кому ее отдадут? Если я откажусь от короны, которую Бог и судьба посылают мне на голову, – страну эту отдадут тому, кто действительно в данное время ею владеет. Но Карл-Густав не сделает этого, чтобы не дать слишком усилиться соседям и не создать себе грозного врага. Вот если я отвергну корону, тогда так и будет. Но есть ли у меня право отвергнуть ее? Могу ли я допустить, чтобы случилось то, что грозит последней гибелью? В сотый раз я спрашиваю: где другой путь спасения? Да будет воля Божья! Я принимаю это бремя на свои плечи. Освобожу край от войны! Победами и расширением границ начну свое царствование. Везде зацветет спокойствие и благополучие, огонь не будет жечь села и города. Так будет и так должно быть! Да поможет мне Бог и святой крест, – я чувствую силу, данную мне свыше, я хочу счастья этой стране, ибо и на этом не кончаются мои замыслы. Клянусь светилами небесными, клянусь этими дрожащими звездами, что отстрою рухнувшее здание и сделаю его сильнее, нежели оно было когда-нибудь!

Глаза его пылали огнем, и всю его фигуру точно окружал какой-то необыкновенный блеск.

– Ваше сиятельство! – воскликнул Кмициц. – Ум мой не может постичь всего этого! Глазам больно смотреть вперед!

– Потом, – продолжал Радзивилл, точно следуя за потоком своих мыслей, – потом... Яна Казимира шведы не лишат ни престола, ни власти, но оставят его на Мазовии и в Малопольше. Бог ему не дал потомства. Настанут выборы. Кого же выберут на престол, если захотят продолжать союз с Литвой? Когда польская Корона добилась такого могущества, что раздавила мощь крестоносцев? Когда на престол вступил Владислав Ягелло! И теперь так будет. Поляки могут выбрать на трон только того, кто здесь будет царствовать. Они не могут и не сделают иначе, не то они задохнутся между немцами и турками, ведь и без того уже рак казачества подтачивает им грудь. Слеп тот, кто этого не видит; глуп, кто не понимает! Тогда обе страны снова сольются воедино. Тогда посмотрим, устоят ли эти скандинавские царьки на своих прусских и великопольских завоеваниях. Тогда я скажу им: «Quos ego!»¹⁸ – и этой самой ногой придавлю им исхудалые ребра и создам такую силу, какой свет еще не видал, о какой не писала история. Быть может, и в Константинополь понесем крест, меч и огонь и будем грозить неприятелю, спокойные в своей стране! Великий Боже, помоги мне спасти этот несчастный край во славу

¹⁸ «Я вас!» – грозный окрик Нептуна, обращенный к ветрам (лат.) (Вергилий. «Энеида»).

твою и всего христианства! Дай мне людей, которые поняли бы мою мысль и захотели бы приложить руки свои к спасению... Вот – весь я! Тут князь распростер руки и поднял глаза к небу.

– Ты меня видишь! Ты меня видишь!

– Ваше сиятельство! – воскликнул Кмициц.

– Иди! Покинь меня! Брось мне буздыган под ноги! Нарушь клятву! Назови изменником!

Пусть в этом терновом венце, который мне возложили на голову, будут все шипы! Погубите край, столкните его в пропасть, оттолкните руку, которая может его спасти, и идите на суд Божий. Там пусть нас рассудят...

Кмициц бросился на колени перед Радзивиллом:

– Мосци-князь! Я ваш до смерти! Отец отчизны! Спаситель!

Радзивилл положил ему обе руки на голову, и снова наступила минута молчания, только филин на башне не переставал смеяться.

– Все получишь, что ты хотел и чего жаждал, – произнес торжественно князь. – Ни в чем не будешь обойден, получишь больше, чем то, о чем мечтали для тебя отец и мать. Встань, будущий великий гетман и виленский воевода!

На небе начало светать.

XV

У пана Заглобы уже сильно шумело в голове, когда он трижды крикнул в глаза страшному гетману слово: «Изменник». Час спустя, когда винные пары несколько испарились и когда он очутился с двумя Скшетускими и паном Михалом в кейданском подземелье, он понял задним умом, какой опасности подвергал себя и своих товарищей, и, очень опечалился.

– Что теперь будет? – спрашивал он, посматривая осовевшими глазами на маленького рыцаря, на которого в тяжелые минуты возлагал все надежды.

– Черт возьми жизнь! Мне все равно! – ответил Володыевский.

– Мы доживем до таких времен и до такого позора, каких свет не видывал! – сказал пан Скшетуский.

– Хорошо, если доживем, – ответил Заглоба, – по крайней мере, мы могли бы хорошим примером направлять других на путь истины. Но доживем ли? Вот в чем дело!

– Это странная, неслыханная вещь! – сказал Станислав Скшетуский. – Ну где было что-нибудь подобное? Спасите меня, мосци-панове, – я чувствую, что у меня в голове мутится... Две войны... третья казацкая... А в довершение всего измена, словно зараза какая: Радзейовский, Опалинский, Грудзинский, Радзивилл!.. Видно, настает конец света и день Страшного суда. Пусть уж земля расступится под нашими ногами! Клянусь Богом, я с ума схожу!

И, заложив руки за голову, он стал ходить по подземелью, точно дикий зверь в клетке.

– Помолиться, что ли? – сказал он наконец. – Господи милосердный, спаси!

– Успокойтесь, – сказал Заглоба, – не время теперь приходить в отчаяние. Станислав вдруг стиснул зубы, им овладело бешенство.

– Чтоб вас разорвало! – крикнул он Заглобе. – Это ваша выдумка: ехать к этому изменнику. Чтоб вас обоих разорвало!

– Опомнись, Станислав! – сурово сказал Ян. – Того, что случилось, никто не мог предвидеть... Терпи – ведь ты не один терпишь – и знай, что наше место здесь и нигде больше!.. Боже милосердный, смилуйся не над нами, но над нашей несчастной отчизной!

Станислав ничего не ответил и лишь заламывал руки так, что в суставах трещало.

Все молчали. Только пан Михал свистел, не переставая, и казался равнодушным ко всему, что делалось вокруг, хотя в действительности страдал вдвойне: во-первых, за свою несчастную отчизну, во-вторых, из-за того, что отказал в повиновении своему гетману. Для этого солдата, с ног до головы, это была ужасная вещь. Он предпочел бы тысячу раз погибнуть.

– Не свисти, пан Михал! – сказал ему Заглоба.

– Мне все равно!

– Как же так? Никто из вас не подумает о каком-нибудь средстве к спасению? А ведь стоит из-за этого пошевелить мозгами! Неужели мы будем гнить в этом погребке, когда отчизне нужна каждая лишняя рука, когда один честный человек приходится на десять изменников?

– Отец прав! – сказал Ян Скшетуский.

– Ты один не одурел от горя... Как полагаешь, что с нами хочет сделать этот изменник? Ведь не казнит же он нас?

Володыевский вдруг разразился каким-то нервным смехом:

– А почему, интересно знать? Разве не при нем инквизиция? Разве не при нем меч? Вы, верно, не знаете Радзивилла!

– Что ты говоришь! Какое он имеет право?

– Надо мной – право гетмана, а над вами – право сильного.

– За которое ему придется отвечать!

– Перед кем? Перед шведским королем?

– Ну и утешил, нечего сказать!

– Я и не думаю вас утешать.

Они замолчали, и слышны были только шаги солдат за дверью подземелья.

– Нечего делать, – сказал Заглоба, – тут надо прибегнуть к фортелию.

Никто ему не ответил, а он спустя немного начал опять:

– Мне не верится, чтобы вас казнили. Если бы за каждое слово, сказанное сгоряча и по пьяному делу, рубили головы, то во всей Речи Посполитой не было бы ни одного шляхтича с головой. Это вздор!

– Лучший пример – вы и мы! – сказал Станислав Скшетуский.

– Все это произошло сгоряча, но я уверен, что князь одумается. Мы люди посторонние и ни в коем случае не подлежим его юрисдикции. Он должен считаться с общественным мнением и не может начинать с насилия, чтобы не возбудить против себя шляхты. Нас слишком много, чтобы можно было всем рубить головы. Над офицерами он имеет право, этого я отрицать не могу, но и то думаю, что ему придется иметь в виду и войско, ибо оно будет отстаивать своих... А где твой полк, пан Михал?

– В Упите.

– Скажи мне только, ты уверен в своих людях?

– Почему я знаю? Они меня любят, но знаю также, что надо мной гетман. Заглоба на минуту задумался.

– Напиши им приказ, чтобы они во всем слушались меня, если я появлюсь между ними.

– Да вы, ваць-пане, воображаете, что вы уже свободны.

– Это не помешает! Бывали мы и не в таких переделках, и то Бог спасал. Дайте приказ мне и обоим панам Скшетуским. Кому первому удастся удрать, тот сейчас же отправится за полком и придет на помощь остальным.

– Что вы за глупости говорите! Стоит ли попусту терять слова? Как же отсюда удрать? Да и на чем приказ писать? Есть у вас чернила и бумага? Вы голову потеряли.

– Несчастье прямо! – ответил Заглоба. – Дайте хоть свой перстень.

– Берите и оставьте меня в покое! – сказал пан Михал.

Заглоба взял перстень, надел его на мизинец и стал ходить по подземелью.

Тем временем огонь погас, и они очутились в совершенной темноте; лишь через решетку окна проглядывало звездное небо. Заглоба не отрывал глаз от этой решетки.

– Будь жив покойный Подбиента, – пробормотал он, – живо он выломал бы решетку, и через час мы были бы уже за Кейданами.

– А вы посадите меня к окну? – спросил вдруг Ян Скшетуский.

Заглоба со Станиславом стали у стены, Ян взобрался к ним на плечи.

– Трещит! Ей-богу, трещит! – крикнул Заглоба.

– Что вы говорите, отец! – ответил Ян. – Я еще и не пробовал ломать.

– Влезайте вы вдвоем с братом, авось я вас как-нибудь удержу. Я всегда жалел, что Володыевский такой маленький, теперь жалею, отчего он еще не меньше, он бы мог проскользнуть как змея.

В эту минуту Ян соскочил с плеч.

– Шотландцы стоят с той стороны.

– Чтоб они превратились в соляные столбы, как Лотова жена! – пробормотал Заглоба. –

Ну и темно здесь, хоть глаз выколи. Скоро, кажется, начнет светать. Нам, верно, принесут чего-нибудь закусить, ведь и у лютеран нет обычая морить узников голодом. А может быть, Бог даст, и гетман одумается. Часто случается, что ночью в человеке просыпается совесть, и черти начинают грешника беспокоить. Не может быть, чтобы из этого погреба был только один выход. Днем посмотрим. Сейчас у меня голова что-то тяжела, ничего не выдумаю, авось завтра Бог вразумит; а теперь, Панове, помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы она приняла нас под свою защиту.

И узники громко стали читать молитвы; вскоре Володыевский и оба Скшетуские замолчали, и один Заглоба продолжал бормотать вполголоса.

– Наверняка будет так, что завтра нам скажут: или-или! – перейдете на сторону Радзивилла, и я вам все прошу! Посмотрим, кто кого проведет! Вы сажаете шляхту, невзирая на лета и заслуги, в тюрьму! Хорошо! Я пообещаю вам, чего хотите, но того, что сдержу из обещанного, вам и на починку сапог не хватит. Если вы отчизне изменяете, то честен тот, кто вам изменит. Должно быть, пришел последний час Речи Посполитой, если первые сановники соединяются с неприятелем. Этого еще на свете не бывало. Просто с ума сойти! Для таких предателей в аду, верно, еще и мук не придумали. Чего не хватало этому Радзивиллу? Мало для него делала его отчизна? А он, как Иуда, продал ее в самую тяжелую минуту, в годину трех войн. Справедлив гнев твой, Господи! Пошли им скорее наказание! Только бы мне вырваться на свободу, я тебе наготовлю столько партизан, мосци-гетман, что не обрадуешься! Узнаешь, каковы плоды измены! Ты будешь считать меня своим другом, но если у тебя нет лучших, то не ходи на медведя, коли тебе жизнь мила.

Так рассуждал сам с собой пан Заглоба. Между тем прошел час, другой, и наконец начало светать. Сероватый отблеск наступающего утра стал прокрадываться сквозь решетку окна и осветил мрачные фигуры сидевших у стен рыцарей. Володыевский и оба Скшетуских дремали.

Когда рассвело совсем и со двора послышались шаги солдат, звон оружия, топот копыт и звук труб, рыцари быстро вскочили.

– Не слишком счастливо начинается день, – проговорил Ян Скшетуский.

– Дай Бог, чтобы он кончился счастливее! – ответил Заглоба. – Знаете ли, Панове, что я ночью придумал? Радзивилл нам, верно, предложит прощение с условием остаться у него на службе. Мы должны на это согласиться, а потом, воспользовавшись свободой, встать на защиту отчизны.

– Боже меня сохрани! – воскликнул Ян Скшетуский. – К измене я руки не приложу. Ведь если бы я потом и оставил его, все же мое имя останется навсегда опозоренным. Я лучше умру, но не сделаю этого!

– Я тоже! – прибавил Станислав.

– А я заранее предупреждаю, что сделаю. На фортель фортеlem отвечу, а там – что Бог даст. Никто меня не заподозрит, что я это сделал по доброй воле. Черт его побери, этого проклятого Радзивилла! Увидим еще, чья возьмет.

Разговор был прерван криками, доносившимися со двора. Слышались зловещие возгласы гнева, отдельные голоса команды, топот массы ног и тяжелый грохот передвигаемых орудий.

– Что там такое? – спросил Заглоба. – Уж не помощь ли подоспела?

– Да, это не обыкновенный шум, – заметил Володыевский. – Подсадите-ка меня к окну, я сейчас узнаю, в чем дело.

Ян Скшетуский взял его под мышки и поднял вверх, как ребенка, а Володыевский, ухватившись за решетку, стал смотреть на двор.

– Что-то происходит! – сказал он. – Я вижу полк венгерской пехоты, которым командовал Оскерко; его очень любили, а он тоже арестован; верно, требуют его выдачи. Все построены в боевом порядке, с ними поручик Стахович, друг Оскерки.

Вдруг крики усилились.

– Гангоф подъехал к Стаховичу и о чем-то с ним говорит... Но как кричат!.. Стахович с двумя офицерами куда-то идут, – верно, к гетману в качестве депутатов. Ей-богу, войска взбунтовались! Пушки направлены на венгерцев; шотландцы тоже в боевом порядке... Отряды польских войск присоединяются к венгерцам; без них они бы не посмели: в пехоте страшная дисциплина.

– Господа, – воскликнул Заглоба, – в этом наше спасение! Пан Михал, много там польского войска? Что они взбунтуются, это как пить дать.

– Гусарский полк Станкевича и панцирный – Мирского стоят в двух днях от Кейдан, – ответил Володыевский. – Если бы они были здесь, то их не посмели бы арестовать. Погодите... Вон драгуны Харлампа... полк Мелешки; те за князя... Невяровский тоже на его стороне, но его полк далеко. Два шотландских полка...

– Значит, на стороне князя четыре полка?

– И артиллерия под командой Корфа...

– Ой, что-то много.

– Полк Кмицица, прекрасно вооруженный, в шестьсот человек.

– А он на чьей стороне?

– Не знаю.

– Вы не заметили? Бросил он вчера булаву или не бросил?

– Не знаем.

– Какие же полки против князя?

– Прежде всего, должно быть, венгры. Там их человек двести. Потом масса вольных людей Мирского и Станкевича, немного шляхты и Кмициц, но тот не надежен.

– А, чтоб его! Господи боже! Мало, мало!

– Венгры сойдут за два полка. Это старые, опытные солдаты. Ого... артиллеристы зажигают фитили, – кажется, быть битве...

Скшетуские молчали, а Заглоба метался как в лихорадке.

– Бейте их, изменников! Бейте чертовых детей! Эх, Кмициц! Кмициц! Все от него зависит. Это смелый солдат?

– Как дьявол... Готов на все!

– Не может быть иначе, он на нашей стороне.

– В войске бунт! Вот до чего довел гетман! – воскликнул Володыевский.

– Кто тут бунтовщик? Войско или гетман, который бунтует против своего короля? – спросил Заглоба.

– Бог это рассудит! Погодите! Там опять какое-то движение. Часть драгун Харлампа стала на сторону венгров. В этом полку служит лучшая шляхта. Слышите, кричат?

– Полковников, полковников! – кричали грозные голоса на дворе.

– Пан Михал! Христа ради, крикни им послать за твоим полком, за гусарами и панцирными.

– Тише, вы!

Заглоба снова закричал:

– Послать скорее за другими польскими полками и перерезать изменников!

– Тише, вы!

Вдруг не на дворе, а позади замка послышался короткий залп мушкетов.

– Иезус, Мария! – вскрикнул Володыевский.

– Пан Михал, что это?

– Верно, расстреляли Стаховича и двух офицеров, которые пошли депутатами к гетману, – ответил лихорадочно Володыевский. – Это так, нет сомнения.

– Святые угодники, значит, и нам нечего ждать пощады!

Грохот выстрелов прервал их разговор. Пан Михал схватился судорожно за решетку и прижался к ней головой, но сразу ничего не мог рассмотреть, кроме ног шотландцев, стоявших тут же за окном. Залпы из мушкетов становились все чаще, наконец загрохотали и пушки. Сухие удары пуль о стены были прекрасно слышны, точно падал град. Замок весь дрожал.

– Михал, слезай с окна, погибнешь! – закричал Ян Скшетуский.

– Ни за что! Пули летят выше, а пушки направлены в другую сторону. Ни за что не слезу!

И пан Володыевский, ухватившись еще крепче за решетку, вполз на подоконник, где он больше не нуждался в поддержке Скшетуского. В погребе, правда, стало совсем темно,

так как окно было очень маленькое, и пан Михал, несмотря на то что был мал, заслонил его совершенно, но зато товарищи, оставшиеся внизу, получали каждую минуту свежие новости с поля битвы.

– Вижу теперь! – крикнул Володыевский. – Венгры стали у стены и оттуда стреляют... Я боялся, чтобы они не забились в угол: пушки бы их вмиг уничтожили. Превосходные солдаты! И без офицеров знают, что делать. Снова дым! Ничего не вижу...

Выстрелы начали ослабевать.

– Боже милосердный, не откладывай кары! – воскликнул Заглоба.

– Ну что, Михал? – спросил Скшетуский.

– Шотландцы идут в атаку.

– Черт бы побрал, а мы должны тут сидеть! – крикнул с отчаянием Станислав.

– Вот они! Алебардчики! Венгры принимают их в сабли, боже, и вы не можете их видеть!

Что за солдаты!

– И дерутся со своими, а не с неприятелем.

– Венгры побеждают... Шотландцы с левого фланга отступают, клянусь Богом! Драгуны Мелешки переходят на их сторону. Шотландцы между двух огней. Корф не может пустить в ход пушек, иначе перебьет и шотландцев. Вижу и мундиры Гангофа между венграми. Атакуют ворота. Хотят вырваться отсюда. Идут, как буря! Все ломают!

– Что? Как? А разве они не будут брать замок? – крикнул Заглоба.

– Это ничего! Завтра они вернутся с полками Мирского и Станкевича... Что это?.. Харламп пал? Нет, только ранен, встает. Вот они уже у ворот... Но что это? Неужто и шотландцы к ним присоединяются? Открывают ворота. Столбы пыли оттуда. А! Кмициц, Кмициц с драгунами въезжает в ворота!

– На чьей он стороне? На чьей он стороне? – кричал Заглоба.

С минуту пан Михал не отвечал; шум, лязг и звон оружия, между тем снова послышался с удвоенной силой.

– Они погибли! – пронзительно крикнул Володыевский.

– Кто? Кто?

– Венгры! Конница их разбила, топчет, рубит! Они в руках Кмицица! Конец! Конец, конец!!

С этими словами пан Михал соскользнул с подоконника и упал на руки Яна Скшетуского.

– Бейте меня, – кричал он, – бейте! Я этого человека держал под саблей и выпустил живым. Я отвез ему приказ князя! Благодаря мне он собрал этот полк, с которым он будет теперь воевать против отчизны! Знал, кого брать: мошенников, висельников, разбойников, грабителей, как он сам! Пусть только попадетсЯ мне в руки! Боже милосердный, продли мою жизнь на погибель этому изменнику, и, клянусь, он больше не уйдет из моих рук!

Между тем крики, топот копыт, выстрелы слышались с прежнею силой, но постепенно стали ослабевать; час спустя в кейданском замке воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь мерными шагами шотландских патрулей и голосами команды.

– Пан Михал, выгляни-ка еще раз, что там случилось? – умолял Заглоба.

– Зачем? – спросил маленький рыцарь. – Всякий военный угадает, что случилось. Впрочем, я видел, что они разбиты, Кмициц торжествует.

– Чтоб его четверговали, мерзавца, висельника! Чтоб ему евнухом быть при татарском гареме!

XVI

Пан Михал был прав: Кмициц торжествовал. Венгры и часть драгун Мелешки, а также Харлампа, которые примкнули к ним, устлали трупами двор кейданского замка. Лишь десятка два-три бежало и рассеялось по окрестностям, где их ловили драгуны. Часть их была поймана, а остальные, должно быть, бежали к Сапеге, воеводе витебскому, и первые принесли ему страшную весть об измене великого гетмана, о переходе его на сторону шведов, об аресте полковников.

Между тем Кмициц, весь в крови и пыли, с венгерским знаменем в руках, явился к Радзивиллу, который встретил его с распростертыми объятиями. Но победа не опьянила пана Андрея. Наоборот, он был мрачен и зол, точно поступил против совести.

– Ваше сиятельство, я не хочу слушать похвал, – сказал он, – и стократ предпочел бы драться с неприятелем отчизны, чем с солдатами, которые могли бы ей пригодиться. У меня такое чувство, точно я сам себе пустил кровь!

– А кто же виноват, как не эти бунтовщики? – возразил князь. – И я бы предпочел вести их под Вильну, как предполагал сделать. Они предпочли восстать против власти. Что случилось, того не вернуть. Надо было, и надо будет пример дать другим.

– А что вы, ваше сиятельство, намерены сделать с узниками?

– По жребию – десятому пулю в лоб. Остальных смешать с другими полками. Сегодня поедешь к полкам Мирского и Станкевича и отвезешь им мой приказ готовиться в поход. Я отдаю под твою команду эти два полка и третий Володыевского. Наместники будут тебе во всем повиноваться. Сначала я хотел в этот полк назначить Харлампа, но он не годится, и я раздумал.

– А если будет сопротивление, что делать? Ведь все эти люди Володыевского меня ненавидят.

– Ты им объявишь, что Мирский, Станкевич и Володыевский будут немедленно расстреляны.

– Тогда они пойдут на Кейданы и силою потребуют их выдачи. У Мирского в полку – все знатная шляхта.

– Тогда возьми с собой шотландский полк и полк немецкой пехоты, окружи их сначала, а потом и объяви.

– Как вашему сиятельству угодно. Радзивилл опустил руки на колени и задумался.

– Мирского и Станкевича я расстрелял бы с удовольствием, если бы не то, что они пользуются влиянием и уважением не только в своих полках, а во всей войске и во всей стране. Боюсь шума и открытого бунта, пример коего мы сейчас видели. К счастью, ты так их проучил, что теперь каждый сначала крепко призадумается, прежде чем пойдет против нас.

– Вы говорите только о Мирском и Станкевиче, а о Володыевском и Оскерке не упомянули.

– Оскерку я тоже должен пощадить, у этого человека большие связи, но Володыевский чужой. Он прекрасный солдат, не отрицаю. Я даже рассчитывал на него, но он обманул мои надежды. Если бы черти не принесли этих бродяг, его товарищей, то он, может быть, поступил бы иначе, но после того, что случилось, его ждет пуля в лоб, как и обоих Скшетуских и того быка, что первый начал кричать: «Изменник, изменник!»

Кмициц вскочил, точно его прижгли раскаленным железом.

– Ваше сиятельство! Солдаты рассказывали, что Володыевский спас вам жизнь под Цыбиховом.

– Он исполнил свой долг, и за это я хотел ему отдать в пожизненное владение Дыдкемы. Теперь он мне изменил, и я прикажу его расстрелять!

Глаза Кмицица разгорелись, а ноздри широко раздулись.

– Этого быть не может! – воскликнул Кмициц.

– Как не может? – спросил Радзивилл, сдвигая брови.

– Молю вас, ваше сиятельство! – говорил взволнованным голосом Кмициц. – С головы Володыевского не должен упасть ни один волос. Ведь он мог не передать мне вашего приказа, а передал. Вырвал меня из пропасти. Благодаря ему я попал под покровительство вашего сиятельства. Он даже не задумался спасти меня, несмотря на то что любил ту же девушку, что и я! Я обязан ему жизнью и поклялся отблагодарить его. Вы сделаете это для меня: и он, и его друзья останутся живы и невредимы! Волос не спадет с их головы, пока я жив! Молю вас, ваше сиятельство!

Кмициц просил, но в его словах невольно звучал гнев и угроза. Необузданная натура взяла верх. Он стоял против Радзивилла с лицом, напоминавшим разъяренную хищную птицу, со сверкавшими от еле сдерживаемого гнева глазами. У гетмана в душе тоже клокотала буря. Перед его железной волей, перед его деспотизмом до сих пор гнулось все на Литве и на Руси. Никто никогда не смел ему сопротивляться, никто не смел просить о помиловании осужденных, а теперь Кмициц просил, и то лишь для виду, на самом же деле требовал! Но гетман был теперь в таком положении, что почти не мог отказать.

Деспот этот сразу понял, что ему не раз придется уступать деспотизму людей и обстоятельств, что он будет зависеть от собственных сторонников, что Кмициц, которого он думал превратить в верного пса, будет скорее прирученным волком, который в бешенстве готов кусать собственного господина.

Все это возмутило гордость Радзивилла. Он решился сопротивляться, к этому его толкала и врожденная мстительность.

– Володыевский и его товарищи будут казнены! – сказал князь, возвысив голос.

Но этим он лишь подлил масла в огонь.

– Не разбей я венгров, они бы не погибли! – воскликнул Кмициц.

– Что же это? Ты уже попрекаешь меня своими услугами?

– Нет, ваше сиятельство, – горячо воскликнул Кмициц, – я не попрекаю! Я прошу, молю! Но этого не будет! Эти люди известны всей Речи Посполитой! Этого быть не может! Я не буду Иудой для Володыевского! Я пойду за вас в огонь и в воду, но не отказывайте мне в этой милости!

– А если я откажу?

– Тогда велите расстрелять и меня! Я не хочу после этого жить. Пусть на меня обрушатся все громы небесные! Пусть черти меня живым тащат в ад!

– Опомнись, несчастный, с кем ты говоришь?

– Ваше сиятельство, не доводите меня до отчаяния!

– Просьбу я мог выслушать, но на угрозы не обращаю внимания.

– Я прошу... умоляю...

И Кмициц бросился перед ним на колени.

– Ваше сиятельство, позвольте мне служить вам всей душой, а не по принуждению, не то я с ума сойду!

Радзивилл молчал. Кмициц все еще стоял на коленях; он то бледнел, то краснел, и глаза его метал молнии. Видно было, что еще минута, и он вспыхнет страшным гневом.

– Встань! – сказал князь. Кмициц встал.

– Ты умеешь защищать друзей, – сказал гетман, – в этом я только что убедился, и надеюсь, что сумеешь постоять и за меня, в случае нужды. Жаль лишь, что ты создан не из мяса, а из селитры и того и гляди вспыхнешь. Я ни в чем не могу тебе отказать. Слушай: Станкевича, Мирского и Оскерку я хочу отослать в Биржи; ну так пусть с ними едут Володыевский и оба Скшетуские. Голов им там не срубят, но если они во время войны посидят там посмирнее, то это будет для них же лучше!

– Благодарю вас, ваше сиятельство! – воскликнул с горячностью Кмициц.

– Постой... – сказал князь. – Я исполнил твою просьбу, теперь исполни ты мою. Того старого шляхтича, я забыл, как его зовут, того рычащего черта, который приехал сюда со Скшетускими, я обрек на смерть. Он первый назвал меня изменником, он заподозрил меня в продажности, восстановил против меня других! Может быть, и не было бы такого бунта, если бы не его наглость! – И князь ударил кулаком по столу. – Я ждал скорее смерти, скорее светопрествления, чем того, что кто-нибудь мне, Радзивиллу, посмеет крикнуть в глаза: «Изменник!» В глаза, в присутствии других! Нет такой смерти, нет таких мук, которых было бы достаточно за такое преступление. За него ты не проси, это напрасный труд!

Но Кмициц не так скоро отказывался от того, на что раз решился. Но теперь он не сердился, не угрожал; напротив, схватив руку гетмана, он стал осыпать ее поцелуями и просить так искренне и задушевно, как он один умел это делать:

– Никаким канатом, никакой цепью вы не привяжете так моего сердца, как этой милостью. Не оказывайте ее наполовину. То, что вчера сказал этот шляхтич, думали все, среди них и я, пока вы мне не открыли глаз. Чем виноват человек, что он глуп! Он думал, что этим оказывает услугу отчизне, а за привязанность к ней нельзя наказывать. Кроме того, он был пьян и болтал, что ему взбрело на ум. Он знал, что подвергает себя опасности, и все-таки сказал. Мне совершенно все равно, будет ли он жив или нет, но Володыевский любит его, как отца родного, и его это очень огорчит. Уж такая у меня натура, что если полюблю кого-нибудь, то душу за него отдам! Будь проклят тот, кто пощадит меня и убьет моего друга! Ваше сиятельство, отец, благодетель, сделайте для меня эту милость, даруйте жизнь этому шляхтичу, за это я отдам вам свою жизнь – хоть завтра, хоть сегодня, хоть сейчас!

Радзивилл закусил губы.

– Вчера я в душе приговорил его к смерти.

– Приговор гетмана и воеводы виленского отменит великий князь литовский, а с Божьей помощью и будущий король польский, как милостивый монарх!

Кмициц говорил без задней мысли, говорил то, что чувствовал, но, будь он самым ловким дипломатом, он и тогда не мог бы найти более сильного довода в защиту своих друзей. Гордое лицо вельможи прояснилось, он закрыл глаза, точно наслаждаясь звуком этого титула, которым он еще не обладал.

– Ты так умеешь просить, что отказать тебе ни в чем нельзя. Хорошо, пусть все они едут в Биржи и каются там в своих грехах, а когда исполнится то, что ты сейчас сказал, ты можешь просить новых милостей для своих друзей.

– И наверное буду просить! – воскликнул Кмициц. – Дай только Бог, чтобы это случилось как можно скорее!

– Ну иди и сообщи им приятную новость!

– Новость эта приятна для меня, но не для них; они, верно, примут ее с благодарностью, ибо не ожидали того, что могло с ними произойти. Я не пойду к ним, ваше сиятельство, они могут принять это за хвастовство с моей стороны!

– Делай как хочешь. Но если так, то не теряй даром времени и отправляйся за полками Мирского и Станкевича; вслед за этим тебя ожидает еще одно поручение, от которого ты, наверно, не откажешься.

– Какое, ваше сиятельство?

– Ты поедешь к мечнику россиенскому Биллевицу и пригласишь его от моего имени переселиться на время в кейданский замок.

– Он на это не согласится! – ответил Кмициц. – Он уехал из Кейдан в страшном негодовании.

– Надеюсь, что теперь он успокоился; но, на всякий случай, возьми с собой людей, и, если они не захотят этого сделать добровольно, ты усадишь их в экипаж, окружишь драгунами

и привезешь сюда. Шляхтич был мягок как воск в то время, когда я с ним разговаривал; краснел, как девушка, и кланялся до земли; он лишь испугался шведского имени, как черт креста, и уехал. Мне он нужен как для себя, так и для тебя. Я уверен, что из этого воска я сумею сделать свечу и зажгу ее, перед кем мне будет угодно. А если это не удастся, он будет моим заложником. Биллевичи имеют большое влияние на Жмуди, они в родстве почти со всей знатнейшей шляхтой. Если один из них, старший в роде, будет в моих руках, то они не решатся идти против меня. Ведь за ними и за твоей возлюбленной целый ляуданский муравейник, и если он перейдет на сторону воеводы витебского, то он, конечно, их примет с распростертыми объятиями. Это очень важно, и я думаю, не начать ли нам с Биллевичей.

– В полку у Володыевского служит исключительно, ляуданская шляхта.

– Опекуны твоей невесты. А если так, начнем с нее! Мечника я берусь уговорить сам, а с панной ты уж поступай как знаешь. Если она согласится, мы сейчас же вас и обвенчаем, а не согласится – бери ее силой. С женщинами – это лучшее средство. Когда ее будут вести под венец, она поплачет, на другой день подумает, что не так страшен черт, как его малюют, а на третий – будет даже рада! Как же вы вчера расстались?

– Она точно пощечину мне дала!

– Что же она тебе сказала?

– Назвала меня изменником. Я чуть не умер на месте!

– Когда ты будешь ее мужем, скажи ей, что женщине больше к лицу прялка, чем политика, и держи ее в руках.

– Вы ее не знаете, ваше сиятельство. У нее на первом плане честь; а уму ее многие могли бы позавидовать. Не успеешь и глазом моргнуть, как она тебя насквозь разгадает!

– Ну и полонила же она твое сердце! Постарайся сделать то же.

– Если б Бог дал, ваше сиятельство! Я уж раз пробовал ее взять силой, но поклялся больше этого не делать. Силой я ее под венец не поведу. Вся моя надежда на вас, ваше сиятельство. Если вы убедите мечника, что мы совсем не изменники, а, наоборот, желаем спасти нашу родину, если и он ее убедит, тогда она будет совсем иначе ко мне относиться. Теперь я поеду к Биллевичу и привезу ее сюда; я боюсь, как бы она не пошла в монастырь. Но сознаюсь вашему сиятельству, что хотя великое для меня счастье смотреть в глаза этой девушке, но лучше бы мне идти одному на все шведское войско! Она ведь не знает моих побуждений и считает меня изменником!

– Если хочешь, я пошлю за ними Харлампа или Мелешку.

– Нет! Лучше я отправлюсь сам; к тому же Харламп ранен.

– Тем лучше. Вчера я хотел послать Харлампа за полком Володыевского, но там, верно, пришлось бы употребить силу, а он на это и неспособен и, как оказалось, не может справиться даже со своими людьми. Итак, поезжай прежде всего к мечнику, а затем за этими полками. В крайнем случае, не щади себя. Нужно показать шведам, что мы сильны и не боимся бунта. Полковников я отправлю под конвоем; их проводит Мелешко. Тяжело идет дело сначала, ох как тяжело! Чуть не половина Литвы, вижу, восстанет против меня.

– Это ничего, ваше сиятельство. У кого совесть чиста, тому нечего бояться!

– Я думал, что все Радзивиллы, по крайней мере, будут на моей стороне; а между тем смотри, что мне пишет князь-кравчий из Несвижа.

И гетман подал Кмицицу письмо князя Казимира-Михаила, которое тот быстро пробежал глазами.

– Если бы мне не были известны побуждения вашего сиятельства, я бы думал, что он прав и что это честнейший человек в мире. Я говорю то, что думаю!

– Ну поезжай скорее! – сказал гетман с оттенком раздражения.

XVII

Но Кмициц не выехал ни в этот, ни на следующий день; каждую минуту в Кейданы приходили все более грозные известия. Под вечер прискакал гонец с известием, что полки Мирского и Станкевича идут к гетманской резиденции, чтобы вооруженной силой требовать выдачи своих полковников, что среди них страшное волнение и что посланы делегации во все полки поблизости Кейдан, на Полесье и вплоть до Заблудова с извещением об измене Радзивилла и с призывом соединиться всем для защиты отчизны. Легко можно было предвидеть, что вся шляхта примкнет к взбунтовавшимся полкам и составит силу, против которой трудно будет устоять в неукрепленных Кейданах, тем более что Радзивилл не был уверен во всех бывших у него под рукой полках.

Это изменило все планы гетмана, но, вместо того чтобы ослабить в нем энергию, это, казалось, еще более ее укрепило. Он решил самолично выступить против бунтовщиков во главе верных шотландцев, рейтар и артиллерии и потушить огонь в самом начале. Он знал, что солдаты без командиров – не более чем беспорядочная толпа, которая рассеется при одном его имени.

И он решил не щадить крови и навести страх на все войско, на всю шляхту, на всю Литву, чтобы они и вздохнуть не смели под его железной рукой. Его замыслы должны исполниться и исполнятся.

В этот же день несколько иностранных офицеров поехали в Пруссию с целью набрать новые полки, а Кейданы кишели вооруженными людьми. Шотландские полки, рейтары, драгуны Харлампа и Мелешки, артиллерия Корфа готовились к походу. Княжеские гайдуки, челядь и местные мещане должны были пополнить, в случае надобности, его силы. Отдан был приказ поспешить с отправкой полковников в Биржи, где держать их было безопаснее, чем в неукрепленных Кейданах. Князь рассчитывал, что ссылка их в такую далекую крепость, где, по договору, должен был быть уже шведский гарнизон, уничтожит надежду на их освобождение и лишит самый бунт всякого основания.

Заглоба, Скшетуские и Володыевский должны были разделить участь остальных.

Был уж вечер, когда в их подземелье вошел офицер с фонарем и сказал:

– Пожалуйте, Панове, за мной!

– Куда? – спросил с беспокойством Заглоба.

– Там будет видно... Скорее, скорее!

– Идем!

Все вышли. В коридоре их окружили солдаты, вооруженные мушкетами. Заглоба волновался все более.

– Надо думать, что нас не повели бы на казнь без покаяния, – шепнул он на ухо Володыевскому, а потом обратился к офицеру: – Позвольте узнать, как ваша фамилия?

– А вам зачем?

– У меня на Литве много родственников, да, кроме того, всегда приятнее знать, с кем имеешь дело.

– Не время теперь представляться, впрочем, только дурак стыдится своего имени. Я – Рох Ковальский, если угодно!

– Достойные люди Ковальские. Мужчины все храбрые солдаты, а женщины добродетельны. Моя бабушка была тоже Ковальская, но, к несчастью, умерла еще до моего рождения. А вы из каких Ковальских? Из «Верушей» или из «Кораблей»?

– Что вы тут ночью ко мне пристааете с расспросами?

– Да ведь вы непременно мой родственник; мы с вами и сложены одинаково. У вас такие же широкие плечи, как и у меня, а я это унаследовал от бабушки.

– Об этом мы в дороге поговорим... Времени еще много.

– В дороге, – повторил Заглоба, и точно камень свалился у него с души. Он вздохнул свободнее и сразу ободрился. – Пан Михал! – шепнул он. – Ну что? Разве не говорил я вам, что с нами ничего не сделают?

Между тем они вышли на двор. Была туманная ночь. Кое-где багровело лишь красное пламя факелов или виднелся тусклый свет фонариков, бросавших неверный свет на группы конных и пеших солдат. Весь двор был запружен войсками. То здесь, то там мелькали копыта и дула ружей; слышался топот лошадиных копыт; какие-то всадники переезжали от группы к группе; по-видимому, это были офицеры, отдававшие приказания.

Ковальский остановился с конвоем и узниками перед громадной телегой, запряженной четверкой лошадей, и сказал:

– Садитесь, Панове!

– Здесь уж кто-то сидит, – заметил Заглоба, взбираясь на телегу. – А вещи наши где?

– Вещи под соломой! – ответил Ковальский. – Скорей, скорей!

– А кто здесь? – спросил Заглоба, всматриваясь в темные фигуры, лежащие на соломе.

– Мирский, Станкевич, Оскерко, – отозвались голоса.

– Володыевский, Ян Скшетуский, Станислав Скшетуский, Заглоба, – ответили рыцари.

– Челом, челом!

– Челом! В хорошем обществе мы поедем. А не знаете ли, Панове, куда нас везут?

– Вы едете в Биржи, – ответил Ковальский.

И с этими словами он скомандовал, и пятьдесят драгун окружили телегу, и затем все двинулись в путь.

Узники стали потихоньку разговаривать.

– Нас выдадут шведам! – сказал Мирский. – Этого и нужно было ждать.

– Я предпочитаю сидеть между шведами, чем между изменниками! – ответил Станкевич.

– А я предпочел бы пулю в лоб, – воскликнул Володыевский, – чем сидеть во время этой несчастной войны!

– Ну я с этим не согласен, – возразил Заглоба, – с телеги и из Бирж можно удрать при случае, а с пулей во лбу далеко не уйдешь. Я знал заранее, что на это этот изменник не решится!

– Радзивилл не решится? – сказал Мирский. – Вы, видно, приехали издалека. Если он задумал кому отомстить, то того уж можно хоронить: я не помню случая, чтобы он когда-нибудь простил малейшую вину.

– А все-таки он не посмел поднять на меня свою руку, – ответил Заглоба. – Кто знает, не мне ли вы обязаны своим спасением?

– А это почему?

– Крымский хан очень меня полюбил за то, что я, будучи у него в плену, открыл заговор, посягавший на его жизнь. Наш милостивый король, Ян Казимир, меня тоже очень любит. Потому и понятно, что этот чертов сын, Радзивилл, побоялся меня тронуть, чтобы не вооружить их против себя. Они бы его нашли и на Литве.

– Что за глупости! Он ненавидит короля, как черт святую воду, и если бы только знал, что вы его любимец, вам бы несдобровать, – возразил Станкевич.

– А я думаю, – сказал Оскерко, – что гетман сам не хотел пятнать рук нашей кровью, боясь еще большего мятежа, но уверен, что этот офицер везет шведам приказ, чтобы нас тотчас же расстреляли.

– Ой! – воскликнул Заглоба.

Все на минуту умолкли. Между тем телега с пленными и с конвоем въехала на кейданский рынок. Город уже спал, в нем уже не было огней, лишь собаки злобно лаяли на проезжавших и проходивших путников.

– Все равно, – наконец отозвался Заглоба. – Мы хоть выиграли время, а там... может быть, какая-нибудь счастливая мысль и осенит нас.

Тут он обратился к старым полковникам:

– Вы, панове, еще меня не знаете, но спросите моих товарищей; они вам скажут, что, в каких бы переделках я ни бывал, мне всегда удавалось выпутаться из беды. Скажите, что это за офицер конвоирует нас? Нельзя ли его убедить оставить изменника и перейти на нашу сторону?

– Это Рох Ковальский, – ответил Оскерко. – Я его знаю. Вы с таким же Успехом могли бы убеждать его лошадь; я даже не знаю, кто из них глупее.

– Как же он попал в офицеры?

– Он был у Мелешки знаменщиком, а для этого большого ума не надо.

В офицеры он попал потому, что понравился князю за необыкновенную силу. Он легко ломает подковы и борется с медведем.

– Он такой силач?

– Мало того что силач; он, если ему начальник прикажет разбить лбом стену, не задумываясь, бросится исполнять приказание. Ему велено отвезти нас в Биржи, и он отвезет, хоть бы земля должна была расступиться под его ногами.

– Скажите на милость! – воскликнул Заглоба. – Ну и решительный малый!

– Решительность его равна его глупости! Кроме того, в свободное время он если не ест, то спит. Раз он проспал в цейхгаузе сорок восемь часов, а когда его разбудили, то зевал так, точно провел без сна несколько суток.

– Мне страшно нравится этот офицер, – ответил Заглоба. – Я всегда люблю знать, с кем имею дело!

А потом, обратившись к Ковальскому, он сказал покровительственным тоном:

– Подойдите ко мне, мосци-пане!

– Зачем? – спросил Ковальский, поворачивая лошадь.

– Нет ли у вас горилки?

– Есть.

– Так давайте сюда.

– Как так – давайте?

– Видите ли, мосци-Ковальский, если бы это было запрещено, то вам было бы приказано не давать, а так как вам ничего не сказали, значит, давайте!

– Гм... – проворчал изумленный пан Рох. – Вы, кажется, хотите меня принудить?..

– Я вас не принуждаю, но если дозволено, то почему бы не помочь родственнику, а тем более старшему; ведь, женись я на вашей матери, я бы мог быть вашим отцом.

– Какой вы мне родственник?

– Есть два рода Ковальских. У одних Ковальских в гербе козел с поднятой задней ногой, и они называются «Верушами», у других корабль, на котором их предок приехал из Англии в Польшу, и они называются «Кораблями», к ним принадлежу и я со стороны бабушки.

– Неужели? Значит, вы на самом деле мой родственник?

– А разве вы «Корабль»?

– «Корабль».

– Моя кровь, клянусь Богом! – воскликнул Заглоба. – Как я рад, что мы встретились, ведь я, собственно, приехал сюда, на Литву, к Ковальским, и хоть я под арестом, а ты на лошади и на свободе, но я с удовольствием прижал бы тебя к своей груди: родная кровь, ничего не поделаешь!

– К несчастью, я вам ничем помочь не могу. Мне велено отвезти вас в Биржи, и я должен вас отвезти. Родство родством, а служба службой.

– Называй меня дядей, – сказал Заглоба.

– Вот вам, дядя, горилка! – сказал Рох. – Это дозволено.

Заглоба взял манерку и с наслаждением выпил. Минуту спустя приятная теплота распространилась по его телу, он повеселел и стал как будто лучше соображать.

– Слезай-ка ты с лошади, – сказал он Роху, – и садись ко мне в телегу: поболтаем немного. Мне хочется узнать кое-что о моих родственниках. Я почитаю дисциплину, но ведь это тебе не запрещено.

Ковальский подумал с минуту.

– Мне этого не запретили, – сказал он наконец.

И вскоре он сидел или, вернее, лежал рядом с Заглобой, который сердечно его обнимал.

– Как же твой старик поживает? Как, бишь, его зовут?.. Совсем забыл...

– Тоже Рох.

– Верно! Рох родил Роха! Это по Писанию. Ты должен своего сына также назвать Рохом, чтобы не изменить семейным традициям. Ты женат?

– Конечно, женат! Я Ковальский, а это – пани Ковальская, и другой не хочу.

С этими словами он поднес к самому лицу Заглобы тяжелую драгунскую саблю и повторил:

– Другой не хочу!

– Правильно! – воскликнул Заглоба. – Ты мне очень нравишься, Рох, сын Роха. Настоящий солдат тот, у которого такая жена, как у тебя; притом скорее она овдовеет, чем ты! Жаль, что у тебя от нее не будет маленьких Рохов; по всему вижу, что ты парень с мозгами, и было бы очень прискорбно, если бы такой род вымер.

– Ну вот еще! – ответил Ковальский. – Нас шесть братьев.

– И все Рохи?

– Вы угадали, дядюшка: у каждого из нас если не первое, то второе имя Рох, ведь это наш патрон.

– Ну тогда выпьем еще!

– Я не прочь!

Заглоба пригубил из манерки, но не выпил всего, а передал ее офицеру и прибавил:

– До дна, до дна! Жаль, что я не могу тебя разглядеть! – продолжал он. – Ночь такая темная, нельзя собственными пальцами узнать. Послушай, Рох, куда это собираются войска из Кейдан!

– На бунтовщиков.

– Один Бог может знать, кто бунтовщик: ты или они?

– Я бунтовщик? А это как же так? Что гетман мне приказывает, то я и делаю.

– Но гетман не делает того, что ему приказывает король; ведь король, наверно, не приказывал ему соединиться со шведами. Я думаю, что и ты предпочел бы драться со шведами, чем отдавать в их руки меня, своего родственника?

– Пожалуй, что так, но служба прежде всего!

– И пани Ковальская тоже бы это предпочла! Я ее хорошо знаю. Между нами говоря, гетман изменил королю и отчизне. Ты этого никому не говори, но это так! И те, кто служит ему, тоже бунтовщики.

– Мне и слушать этого не годится. У гетмана свое начальство, а у меня свое, и Бог накажет меня, если я его ослушаюсь. Это была бы неслыханная вещь!

– Правильно. Но послушай: если бы, к примеру, ты попал в руки этих бунтовщиков, то и я был бы свободен, и ты не виноват: ведь «один в поле не воин»! Жаль только, что я не знаю, где они стоят, но ты, верно, знаешь... И если бы ты захотел... мы могли бы поехать в ту сторону.

– Что такое?

– Да просто поехать к ним! Ты не был бы виноват, если бы они нас отбили. Уж во всяком случае твоя совесть была бы чиста в отношении своего родственника, а ты и сам, вероятно, знаешь, что иметь родственника на совести – это большой грех.

– Не говорите мне больше об этом! Не то я сейчас сойду с телеги и сяду на коня! Не я буду отвечать перед Богом, а гетман. Пока я жив, ничего из этого не выйдет!

– Ну, делать нечего! – сказал Заглоба. – Спасибо за откровенность, хотя я раньше был твоим дядей, чем Радзивилл твоим гетманом. А понимаешь ты, что значит дядя?

– Дядя, значит, дядя.

– Ответ твой очень остроумен, но знаешь ли ты, что если у кого-нибудь нет отца, то, по Писанию, он должен слушаться дяди. Тогда его власть равняется родительской, коей грех не повиноваться. В дяде течет та же кровь, что и в матери. Я, правда, не брат твоей матери, но, должно быть, моя бабушка была тетужкой твоей бабушки; во мне совмещается власть нескольких поколений. Все люди смертны, а потому власть от одних переходит к другим, и ни гетман, ни король не могут заставить ей противиться. Может ли, например, великий или полевой гетман заставить не только шляхтича, но даже простого мужика поднять руку на отца, мать, на деда или на старую слепую бабушку? Ответь мне на этот вопрос, Рох!

– Что? – спросил сонным голосом Ковальский.

– На старую слепую бабушку? – повторил Заглоба. – Кто бы в таком случае хотел жениться, иметь детей и дожидаться внуков?

– Я Ковальский, а это пани Ковальская! – бормотал сквозь сон офицер.

– Если хочешь, пусть так и будет, – ответил Заглоба. – Пожалуй, и лучше, что у тебя не будет детей, меньше дурней будет на свете! Как думаешь, Рох?

Заглоба приложил к нему ухо, но не услышал уже никакого ответа.

– Рох, Рох! – окликнул его тихо Заглоба. Рох спал как убитый.

– Спишь?.. – пробормотал Заглоба. – Ну, подожди... Я вот сниму с тебя этот железный горшок, а то тебе неудобно, и расстегну плащ, чтобы с тобой не приключилось удара. Я был бы плохим родственником, если бы не заботился о тебе.

И руки Заглобы стали шарить около головы и шеи Ковальского. На возу все спали глубоким сном; солдаты тоже качались на седлах, ехавшие впереди слегка напевали, всматриваясь в дорогу, так как ночь была темная.

Вдруг солдат, ехавший позади телеги, увидел плащ и блестящий шлем своего офицера. Ковальский, не останавливая телеги, кивнул, чтобы ему подали лошадь.

Спустя минуту он уже был на лошади.

– Мосци-комендант, а где мы будем кормить лошадей? – спросил вахмистр, подъехав к нему.

Рох не ответил ни слова и, миновав конвойных, исчез во мраке. Вскоре быстрый топот лошадиных копыт донесся до слуха драгун.

– Куда это наш комендант поскакал? – спрашивали друг друга солдаты.

– Должно быть, хочет посмотреть, нет ли поблизости корчмы. Время бы дать отдых лошадям.

Между тем прошло полчаса, прошел час, два, а Ковальский не возвращался. Лошади совсем устали и едва тащились.

– Поезжайте-ка догоните коменданта и скажите, что лошади еле ноги волочат.

Один из солдат поехал исполнить приказание, но через час вернулся один.

– Коменданта и след простыл, – сказал он. – Должно быть, уехал куда-нибудь далеко!

– Ему хорошо, – ворчали с недовольством солдаты, – он целый день спал, да и теперь выпался на возу, а ты тащишь всю ночь без отдыха.

– Отсюда в двух шагах корчма, – ворчал посланный, – я думал, что найду его там, а там его нет! Куда его черти понесли?

– Остановимся и без него, коли так, – сказал вахмистр. – Нужно отдохнуть.

И они остановились перед корчмой. Солдаты сошли с лошадей, одни из них пошли стучаться в двери, другие стали отвязывать вязанки сена, чтобы хоть с рук покормить лошадей.

Узники, услышав шум, тоже проснулись.

– Куда это мы приехали? – спросил Станкевич.

– Впотьмах трудно разобрать, – ответил Володыевский, – тем более что мы не к Упите едем.

– Но ведь из Кейдан в Биржу надо ехать через Упиту? – спросил Ян Скшетуский.

– Конечно. Но там мой полк, и князь велел ехать по другой дороге. Сейчас же за Кейданами мы свернули на Данов и Кроков, а оттуда, верно, поедem на Бейсаголу и Шавли. Это немного не по дороге, но зато Упита и Поневеж останутся в стороне.

– А пан Заглоба спит себе сном праведника, – заметил Станислав Скшетуский, – вместо того чтобы придумать какой-нибудь выход, как обещал.

– Пусть спит... Должно быть, его утомил разговор с этим болваном комендантом. Видно, ни к чему не привели его красноречивые уверения в родстве между ними. Кто для отчизны не изменил Радзивиллу, тот ему не изменит и ради дальнего родственника.

– А разве они в самом деле родственники? – спросил Оскерко.

– Такие же, как и мы с вами, – ответил Володыевский. – Но где же пан Ковальский?

– Должно быть, в корчме.

– Я хотел у него просить разрешения пересесть на какую-нибудь лошадь: у меня ноги затекли, – сказал Мирский.

– Он, наверное, на это не согласится, – возразил Станкевич, – в темноте легко улизнуть незаметно. А как догнать?

– Я дам ему рыцарское слово, что не удеру, а кроме того, скоро и светать начнет.

– Послушай, где ваш комендант? – спросил Володыевский у стоящего вблизи драгуна.

– А кто его знает.

– Как так: кто знает? Если я тебе приказываю его позвать, так зови.

– Мы, пане полковник, сами не знаем, где он, – ответил драгун, – как Уехал ночью, так и до сих пор не возвращался.

– Скажи ему, когда он вернется, что мы хотим с ним говорить.

– Слушаюсь! – ответил солдат.

Пленные замолчали.

Время от времени слышалось только их громкое позевывание; рядом лошади жевали сено. Солдаты, сторожившие телегу, дремали, другие болтали между собой или закусывали, чем бог послал, так как корчма оказалась необитаемой.

Вскоре и ночь стала бледнеть; на востоке появилась светлая полоса, звезды понемногу стали меркнуть, а затем крыша корчмы и деревья перед корчмою словно покрылись серебром. Немного погодя можно было уже различить лица, желтые плащи и блестящие шлемы.

Володыевский зевнул наконец, открыл глаза и взглянул на спящего Заглобу; вдруг он вскочил и вскрикнул:

– А чтоб его! Панове! Панове! Посмотрите, ради бога!

– Что случилось? – спросили полковники, открывая глаза.

– Посмотрите, посмотрите! – кричал Володыевский.

Пленники взглянули, куда указывал Володыевский, и остолбенели: под буркой в шапке Заглобы спал сном праведным Рох Ковальский. Заглобы в телеге не было.

– Удрал! Ей-богу, удрал! – воскликнул Мирский, оглядываясь по сторонам, точно не веря собственным глазам.

– Снял шлем и плащ с этого дурака и удрал на его же лошади!

– Ну и хитер! Чтоб его разорвало! – сказал Станкевич.

– Как в воду канул.

– Он исполнил свое обещание, что придумает что-нибудь!

– Только его и видели!

– Панове, – сказал Володыевский, – вы его не знаете, но я готов поклясться, что он и нам придет на помощь. Я не знаю как, но уверен в этом.

– Ей-богу, собственным глазам не верю! – сказал Станислав Скшетуский.

Но вот и солдаты узнали, в чем дело, и подняли страшную суматоху. Все подбегали к телеге и тарасили глаза на своего спящего коменданта, одетого в бурку из верблюжьего сукна и в рысью шапку.

Вахмистр начал его трясти без всякой церемонии:

– Мосци-пане комендант! Мосци-пане комендант!

– Я Ковальский, а это пани Ковальская! – бормотал Рох.

– Мосци-комендант, пленный удрал! Ковальский вскочил и открыл глаза.

– Чего тебе?

– Удрал тот толстый шляхтич, с которым вы разговаривали.

– Не может быть! – крикнул испуганным голосом Ковальский. – Как это? Как удрал?

– В вашем шлеме и плаще: ночь была темная, солдаты его не узнали.

– Где моя лошадь? – крикнул Ковальский.

– Нету... шляхтич на ней-то и уехал.

– На моей лошади?

– Да.

Ковальский схватился за голову и воскликнул:

– Господи Иисусе! Затем прибавил:

– Давайте мне сюда этого подлеца, который ему дал лошадь.

– Мосци-комендант, солдат не виноват. Ночь была темная, хоть глаз выколи, а на нем был ваш плащ и шлем. Он проехал мимо меня, и я его тоже не узнал. Не садись вы на телегу, ничего такого и не могло бы случиться!

– Бей меня! Бей меня! – кричал несчастный офицер.

– Что прикажете делать, мосци-комендант?

– Ловите его!

– Это невозможно! Он ведь на вашей лошади уехал, а это одна из лучших. Наши лошади страшно устали, кроме того, он удрал уже давно. Мы его не можем догнать.

– Ищи ветра в поле! – сказал Станкевич.

Тогда Ковальский накиннулся на пленных:

– Это вы помогли ему удрать! Я вас!..

И он сжал кулаки и стал приближаться к ним. Вдруг Мирский сказал грозно:

– Не кричите и помните, что говорите со старшими!

Ковальский вздрогнул и машинально вытянулся в струнку; его значение, в сравнении с значением Мирского, равнялось нулю, да и остальные пленные стояли выше его как по чинам, так и по происхождению.

– Куда вам приказали нас везти, туда и везите, но голоса не возвышайте, ибо завтра же можете попасть под нашу команду! – прибавил Станкевич.

Рох вытаращил глаза и молчал.

– Ну и оболванились же вы, пане Рох, – сказал Оскерко. – А что касается того, будто мы помогли ему удрать, то это глупость, каждый из нас прежде всего помог бы самому себе! Никто тут не виноват, кроме вас. Слыханная ли вещь, чтобы комендант позволил удрать своему пленному в своем плаще, в своем шлеме и на своей лошади.

– Старая лиса провела молодую! – сказал Мирский.

– Иезус, Мария, у меня и сабли нет! – крикнул Ковальский.

– А вы думали, что ему сабля не нужна? – сказал, улыбаясь, Станкевич. – Справедливо заметил пан Оскерко, что вы оболванились... У вас, верно, были и пистолеты?

– Были... – точно не сознавая того, что происходит, ответил Ковальский. Вдруг он схватился обеими руками за голову и крикнул страшным голосом:

– И письмо князя-гетмана к биржанскому коменданту. Что я теперь, несчастный, буду делать? Я пропал навек! Остается только пуля в лоб!

– Это вас не минует! – возразил Мирский. – Как же вы теперь повезете нас в Биржи? Что будет, если вы скажете, что привезли нас как пленных, а мы, как старшие вас чинами, скажем, что арестовать нужно вас! Кому комендант скорее поверит? Неужели вы думаете, что шведский комендант задержит нас только потому, что пан Ковальский его об этом попросит?

– Пропал я! Пропал! – стонал Ковальский.

– Пустяки! – утешал его Володыевский.

– Что нам делать, мосци-комендант? – спрашивал вахмистр.

– Убирайся ко всем чертям! – крикнул Ковальский. – Разве я знаю, что делать и куда ехать?

– Ехать в Биржи! – посоветовал Мирский.

– Поворачивай в Кейданы! – крикнул Ковальский.

– Не будь я Оскерко, если вас там сейчас же не расстреляют! Как же вы покажетесь на глаза князю? Ведь вас ждет там позор и пуля в лоб!

– Я большего и не стою! – воскликнул несчастный офицер.

– Глупости, пане Рох! Мы одни можем вас спасти, – сказал Оскерко. – Вы знаете, что мы за князя готовы были идти в огонь и в воду. За нами было немало и других заслуг. Мы не раз проливали кровь за отчизну и никогда от этого не откажемся; но гетман изменил отчизне, изменил королю, коему мы поклялись в верности. Неужто вы думаете, что нам легко было идти против гетмана и против дисциплины? Но кто на стороне гетмана, тот против короля и Речи Посполитой. Поэтому мы бросили ему под ноги булавы. И кто это сделал? Не я один, но лучшие и умнейшие люди! Кто при нем остался? Негодяи! Вы хотите опозорить свое имя? Хотите быть изменником? Спросите собственную совесть, что надо делать: остаться на стороне изменника Радзивилла или идти с теми, кто готов пожертвовать ради отчизны последней каплей крови?

Слова эти, казалось, произвели сильное впечатление на Ковальского. Он вытаращил глаза, открыл рот и, после некоторого молчания, сказал:

– Чего вы, Панове, от меня хотите?

– Чтобы вы вместе с нами шли к воеводе витебскому, который стоит на стороне отчизны.

– Да ведь мне велено отвезти вас в Биржи.

– Вот и разговаривай с ним после этого! – воскликнул с нетерпением Мирский.

– Мы хотим, чтобы вы нарушили приказ и шли с нами, понимаете ли вы наконец? – крикнул Оскерко, потеряв терпение.

– Вы можете говорить что угодно, но из этого ничего не выйдет. Я солдат и должен повиноваться гетману. Если он грешит, то он ответит перед Богом, а не я! Я человек простой, чего рукой не сделаю, того и голова не рассудит! Знаю одно: что я должен во всем его слушаться.

– Делайте как знаете! – крикнул, махнув рукой, Мирский.

– Я уж и теперь нарушил приказ, ибо велел возвращаться в Кейданы, вместо того чтобы везти вас в Биржи; но меня одурачил этот шляхтич. И это называется родственник! У него совести нет! Из-за него я должен лишиться не только княжеской милости, но и жизни! Но будь что будет, а вы должны ехать в Биржи.

– Нечего терять попусту время! – сказал Володыевский.

– Поворачивать в Биржи, черти! – крикнул Ковальский драгунам.

И они повернули.

Комендант приказал одному из солдат сесть в телегу, а сам взял его лошадь и поехал рядом с пленными, не переставая бормотать:

– Родственник – и так меня подвел!

Узники, хоть и озабоченные своей судьбой, не могли все же удержаться от смеха, и Володыевский наконец сказал:

– Утешьтесь, пане Ковальский, не такие, как вы, но даже и сам Хмельницкий не раз попадался ему на удочку. В этом отношении равных ему нет!

Ковальский ничего не ответил, он лишь поотстал немного от телеги, чтобы избежать насмешек. Впрочем, ему было стыдно и перед собственными солдатами, и он был так убит, что на него жаль было смотреть.

Между тем полковники говорили о Заглобе и его волшебном исчезновении.

– Странная вещь, право, – говорил Володыевский, – нет такого затруднительного положения, из которого этот человек не сумел бы выкарабкаться. Где нельзя взять силой и храбростью, он берет хитростью. Другие теряются, когда у них смерть висит над головой, а у него в это время голова работает, как никогда. В случае нужды, он храбр как Ахиллес, но предпочитает идти по стопам Улисса.

– Не хотел бы я его караулить, будь он даже закован в кандалы, – сказал Станкевич. – Было бы еще полбеды, если бы только удрал, но ведь он, кроме того, Ковальского на смех подымет.

– Еще бы, – сказал Володыевский, – он теперь до смерти не забудет Ковальского. А уж не дай Бог попасться ему на язык, острее языка нет, вероятно, во всей Речи Посполитой. При этом он обычно не щадит красок в своих повествованиях, и слушатели просто помирают со смеху.

– Но в случае нужды, вы говорите, он и саблей умеет работать? – спросил Станкевич.

– Как же! Ведь он на глазах всего войска зарубил Бурлая под Збаражем.

– Клянусь Богом, – воскликнул Станкевич, – я таких еще не видывал!

– Теперь он тоже оказал немалую услугу тем, что увез письмо князя; кто знает, что там было написано. Сомневаюсь, чтобы шведский комендант поверил нам, а не Ковальскому! Мы едем как пленные, а он командует конвоем. Но во всяком случае, там не будут знать, что с нами делать. И мы останемся живы, а это главное.

– Я ведь просто пошутил, чтобы еще более сконфузить Ковальского, – сказал Мирский. – Но нам нечего особенно радоваться, если даже пощадят нашу жизнь! Все складывается так ужасно, что лучше умереть. Зачем мне, старику, смотреть на все эти ужасы!

– Или мне, человеку, который помнит другие времена? – прибавил Станкевич.

– Вы не должны так говорить: милосердие Божье сильнее злобы людей; Господь может послать нам свою помощь, когда мы меньше всего ее ждем.

– Святая истина говорит вашими устами! – сказал Ян Скшетуский. – Конечно, нам, служившим под начальством князя Еремии, тяжело теперь жить, мы привыкли к победам. Но если Бог пошлет нам настоящего вождя, на которого можно было бы положиться, то мы еще послужим родине.

– Каждый из нас готов будет сражаться день и ночь! – воскликнул Володыевский.

– В том-то все несчастье! – сказал Мирский. – Каждый ходит во мраке и не знает, что делать. Меня так мучит то, что я не мог не бросить князю под ноги булаву и стал зачинщиком бунта. Когда я вспомню об этом, у меня остатки волос дыбом встают на голове. Но что же было делать ввиду явной измены? Счастлив тот, кому не пришлось искать в душе ответов на все эти страшные вопросы!

– Господи милосердный, пошли нам истинного вождя! – воскликнул Станкевич, подняв глаза к небу.

– Говорят, что воевода витебский честнейший человек, – заметил Станислав Скшетуский.

– Это верно, – ответил Мирский, – но он не гетман, и, пока ему король не пожалует этого титула, он может вести военные действия только на собственный страх. Я уверен, что он не перейдет ни к шведам, ни к кому бы то ни было!

– А Госевский, гетман польный, в плену у Радзивилла!

– Вот тоже прекрасный человек, – воскликнул Оскерко. – Когда я узнал об его аресте, то меня точно кольнуло какое-то недоброе предчувствие.

Пан Михал на минуту задумался, а потом стал рассказывать:

– Когда я после сражения под Берестечком удостоился чести быть приглашенным на обед нашим милостивым королем, я познакомился там с паном Чарнецким, в честь коего и устроено было торжество. Король, выпив слегка, стал обнимать Чарнецкого и наконец сказал: «Я уверен, что если даже все меня покинут, то и тогда ты останешься со мной!» Я собственными ушами слышал эти его пророческие слова. Чарнецкий от волнения почти не мог говорить и все повторял: «До последнего издыхания!» И король заплакал.

– Кто знает, не сбылись ли его предсказания? – вздохнув, сказал Мирский.

– Должно быть, нет человека во всей Речи Посполитой, который бы не произносил имени Чарнецкого!

– Говорят, что татары, которые сражаются вместе с Потоцким против Хмельницкого, так его любят, что без него не хотят никуда идти.

– Это верно, – подтвердил Оскерко. – Я слышал это еще в Кейданах – у князя; все мы тогда расхваливали Чарнецкого до небес, но князю, по-видимому, это не нравилось: он поморщился и наконец сказал: «Это королевский обозный, но с таким же успехом он мог бы быть у меня в Тыкоцине подстаростой».

– Должно быть, его зависть мучила!

– Известное дело, преступление не выносит света добродетели!

Так разговаривали друг с другом пленные; затем разговор их снова перешел на Заглобу. Володыевский уверял всех, что они могут быть уверены в его помощи: этот человек неспособен покинуть друзей в несчастье.

– Я уверен, – сказал он, – что он уехал в Упиту, найдет там моих людей, если только их не разбили или насильно не увели в Кейданы, возьмет их с собой и будет спешить к нам на помощь; вот разве только они не послушают, но этого я от них не ожидаю: в моем полку почти исключительно ляуданцы, а они меня любят.

– Но ведь это давние радзивилловские друзья, – заметил пан Мирский.

– Правда, но лишь только они узнают об измене гетмана, об аресте пана Госевского, Юдицкого и всех нас, то, наверное, переменят о нем свое мнение. Это все честная шляхта, а Заглоба передаст им все это так, как не сумеет никто другой.

– Ну а нам-то что?! – воскликнул Станислав Скшетуский. – Ведь мы тогда будем в Биржах.

– Ни в коем случае. Чтобы миновать Упиту, мы делаем крюк, а из Упиты туда прямая дорога. Если бы даже мы выехали двумя днями раньше, то и тогда они бы нас опередили. Теперь мы едем на Шавли и лишь оттуда свернем к Биржам, а надо вам знать, что оттуда в Биржи ближе, чем из Шавель.

– Конечно, ближе, – согласился Мирский, – и дорога лучше.

– Вот видите! А нам еще до Шавель далеко.

И действительно, только под вечер они увидели гору, известную под названием «Салтувес калнас», под которой расположены были Шавли. По дороге они заметили, что во всех деревнях и местечках чуялась какая-то тревога. По-видимому, известие о переходе гетмана на сторону шведов разнеслось по всей Жмуди... Кое-где спрашивали солдат, правда ли, что край вскоре будет занят шведами? Местами им встречались массы крестьян, покидавших свои пепелища и уезжавших со своими женами и детьми в глушь лесов. У иных из них был очень

воинственный и грозный вид, так как они принимали драгун за неприятелей. В шляхетских «застенках» прямо спрашивали, кто они и куда едут; а когда Ковальский вместо ответа кричал: «Давать дорогу», то не обходилось без криков и угроз, и лишь ружья, взятые наперевес, открывали дорогу.

Большая дорога, ведущая из Ковны на Шавли и Митаву, была запружена крестьянскими телегами и шляхетскими возами, в которых шляхта ехала семьями, желая скрыться от неприятеля в курляндских владениях. В самых Шавлях войска не было, но зато в них пленные полковники в первый раз увидели шведский отряд, из двадцати пяти рейтар, высланный на разведки. За ними бежали толпы евреев и мещан; с немалым любопытством осматривали их и полковники, особенно Володыевский, не видавший их ни разу в жизни; он смотрел на них так, как волк смотрит на стадо овец, и шевелил усиками.

Ковальский подъехал к шведскому офицеру, сказал, кто он, куда едет, кого везет, и просил соединиться с ним для безопасности. Но офицер ответил, что им велено разузнать о состоянии края, а следовательно, он не может терять времени и ехать назад; кроме того, он уверил Ковальского, что дорога совершенно безопасна, ибо всюду можно встретить небольшие отряды шведов, и что некоторые из них вызваны в Кейданы. Отдохнув до полуночи и покормив лошадей, Рох должен был без посторонней помощи отправиться дальше. Из Шавель он повернул на восток, через Югавишкели и Посволь, чтобы выбраться на проезжую дорогу, ведущую из Упиты в Поневеж.

– Если Заглоба придет нам на помощь, – сказал на рассвете Володыевский, – то, всего ранее, мы встретим его на этой дороге.

– Может быть, он где-нибудь нас уже поджидает, – заметил Станислав Скшетуский.

– И я так думал, пока не увидел шведов, – прибавил Станкевич, – но теперь ясно, что для нас спасения нет.

– На то он и Заглоба, чтобы обойти их или провести, и он это сделает.

– Но он не знает местности.

– Но ляуданцы знают, они по этой дороге возят в Ригу пеньку и деготь.

– Шведы, должно быть, уже заняли все местечки около Бирж.

– А какие прекрасные солдаты те, которых мы видели в Шавлях, нужно отдать им справедливость! – сказал маленький рыцарь. – Все как на подбор... А вы заметили, какие у них прекрасные лошади?

– Это очень сильные лошади, инфляндские, – прибавил Мирский. – Наши гусары и панцирные товарищи всегда покупают таких, наши очень мелки!

– Вы лучше скажите, что у них превосходная пехота, а конница совсем уж не так хороша, как кажется. Не раз, бывало, один полк нашей конницы разносил в пух и прах этих самых рейтар.

– Вы все уже имели с ними дело, – вздохнув, сказал Володыевский, – а я могу лишь слюнки глотать! Вы не поверите: когда я увидел их желтые, как лен, бороды, то у меня руки зачесались. Эх, и рада бы душа в рай, да грехи не пускают!

Полковники замолчали, но, видно, не один Володыевский питал такие дружеские чувства к шведам; вскоре до ушей пленных донесся разговор драгун...

– Видели вы этих нехристей? – говорил один из солдат. – А мы с ними не драться будем, а чистить у них лошадей!

– Чтоб их черт побрал! – проворчал другой.

– Тише ты, шведы научат тебя слушаться метлой по лбу!

– Или я их!

– Дурак ты! И те, что почище тебя, ничего не могли с ними поделать.

– Самых что ни на есть первейших рыцарей отвозим мы в пасть этим собакам. Будут над ними жидовские их морды издеваться.

– Без жиды с этими чучелами и не разговоришься. Ведь и комендант в Шавлях должен был сейчас за жидом послать.

– Будь они прокляты!

Тут первый солдат, понизив голос, сказал:

– Говорят, все лучшие солдаты отказались идти с ними против своего короля.

– Вот, к примеру, венгерский полк! А теперь гетман пошел с своим войском на тех, что взбунтовались! Бог весть, чем это кончится. На сторону венгров перешла большая часть наших драгун, их, верно, всех расстреляют!

– Вот награда за верную службу!

– Стой! – вдруг раздался голос ехавшего впереди Роха.

– Чтоб тебе голову размозжило! – пробормотал один из солдат.

– Что там такое? – спрашивали драгуны друг друга.

– Стой! – повторил комендант.

Телега остановилась. Всадники задержали лошадей. Погода была великолепная. Солнце уже взшло и осветило вдали столб пыли, точно там шло стадо или войско.

Вскоре среди облаков пыли засверкало что-то блестящее, точно кто-нибудь сыпал искры, и чем ближе, тем этот свет полыхал все ярче и ярче.

– Копья блестят! – воскликнул Володыевский.

– Войско идет!

– Должно быть, какой-нибудь шведский отряд.

– У них ведь только пехота вооружена копьями. Это наша конница!

– Наши, наши! – закричали драгуны.

– Стройся! – послышался голос Ковальского.

Драгуны окружили пленных, у Володыевского загорелись глаза.

– Это мои ляуданцы с Заглобой! Не может быть иначе!

Уж не больше версты отделяло приближавшийся отряд от телеги, и расстояние это с каждой минутой все уменьшалось: отряд шел рысью. Наконец можно было ясно рассмотреть мчавшихся, точно в атаку, драгун, во главе какого-то великана с булавой в руке и под бунчуком. Володыевский, увидев его, воскликнул:

– Да это пан Заглоба! Клянусь Богом, Заглоба!

Лицо Яна Скшетуского прояснилось.

– Не кто другой, как он! – сказал он. – И под бунчуком! Он себя уж в гетманы пожаловал! Я бы его всюду узнал! Он таким родился, таким и умрет!

– Да продлит ему Господь здоровье и жизнь! – сказал Оскерко.

Затем стал кричать:

– Мосци-Ковальский! Смотрите, да ведь это ваш родственник едет.

Но пан Рох не слышал. Он отдавал приказания своим драгунам. И нужно ему отдать справедливость, что хотя у него была лишь горсть людей, а против него шел целый полк, он нисколько не растерялся. Построил своих солдат в два ряда перед телегой; приближавшийся отряд между тем раздвигался в стороны, по татарской манере, полумесяцем. Но отряд, очевидно, хотел сначала вступить в переговоры, так как издали там стали махать знаменем и кричать:

– Стой, стой!

– Рысью вперед! – крикнул Ковальский.

– Сдайся! – кричали с дороги.

– Огня! – скомандовал, вместо ответа, Ковальский.

Настала могильная тишина: ни один драгун не выстрелил.

Пан Рох на минуту опешил, а затем бросился, как бешеный, на своих солдат.

– Огня, чертовы дети! – крикнул он отчаянным голосом и одним ударом кулака свалил с лошади ближайшего солдата, а остальные рассыпались в разные стороны, как стая испуганных куропаatok.

– Таких солдат я велел бы расстрелять! – пробормотал Мирский.

Между тем Ковальский, видя, что солдаты бросили его, повернул свою лошадь в сторону атакующих.

– Там мне смерть! – крикнул он и понесся к ним, как ураган.

Но не успел он проехать и половины расстояния, как навстречу раздался выстрел; лошадь Ковальского повалилась, придавив собой всадника.

В эту самую минуту какой-то солдат из полка Володыевского бросился вперед и схватил за шиворот офицера, пытавшегося подняться.

– Это Юзва Бутрым! – воскликнул Володыевский. – Юзва Безногий.

Пан Рох схватил Юзву за полу, и она осталась у него в руке; потом они стали бороться, как два коршуна, ибо оба обладали нечеловеческой силой.

У Бутрыма лопнуло стремя, и он свалился на землю, но не выпустил Ковальского, и оба сплелись в какую-то массу, катавшуюся по большой дороге.

К нему на помощь прибежали и другие. Ковальского сразу схватило рук двадцать, но он рвался и метался, как медведь в западне; он отшвыривал людей, как мячики, падал, вставал, но не сдавался. Он искал смерти, а между тем кругом раздавались десятки голосов: «Живым, живым его брать!»

Наконец он лишился сил и потерял сознание.

Заглоба уже взобрался на телегу и, обнимаясь со Скшетускими, Володыевским и Оскеркой, восклицал, запыхавшись:

– Ну что? Пригодился-таки Заглоба! Зададим мы теперь перцу Радзивиллу! Мы на свободе и у нас люди! Пойдем теперь разорять его имения. Ну что, удалась выдумка? Так или иначе, а я бы вас освободил. На Радзивилла, Панове, на Радзивилла! Вы еще не знаете всех его проделок.

Дальнейший разговор был прерван ляуданцами, которые бросились приветствовать своего полковника. Бутрымы, Госцевичи, Стакьяны, Домашевичи, Гаштофты толпились кругом телеги и кричали во все горло:

– Да здравствует наш полковник!

– Панове, – сказал маленький рыцарь, когда крики немного утихли, – товарищи дорогие, благодарю вас от всего сердца за ваше ко мне расположение. Тяжело отказывать в повиновении гетману и поднимать на него руку, но он изменник, и мы не можем поступить иначе. Не оставим же отчизны и нашего милостивого короля. Да здравствует король Ян Казимир!

– Да здравствует! – повторило триста голосов.

– Ну а теперь в имение Радзивилла почистить у него погреба! – кричал Заглоба.

– Лошадей нам! – скомандовал маленький рыцарь.

Солдаты бросились исполнить приказание. Между тем Заглоба обратился к Володыевскому:

– Пан Михал! Я командовал твоими людьми в твое отсутствие и признаюсь, что делал это с удовольствием, они храбрые солдаты, но теперь ты свободен, и я передаю власть в твои руки.

– Пусть примет над ними команду пан Мирский, он здесь старше всех нас! – сказал пан Михал.

– И не думаю, – возразил старый полковник, – зачем мне это?

– Ну так пан Станкевич.

– У меня есть свой полк, мне чужого не надо. Оставайтесь вы на своем месте; к чему все эти церемонии? Вы знаете своих людей, они знают вас, и всем им будет гораздо приятнее оставаться с вами!

– Сделай так, Михал, как тебе советуют, – заметил Ян Скшетуский.

– Ну, пусть будет так, – сказал Володыевский и, взяв из рук Заглобы булаву, привел в порядок свой полк и тронулся с остальными товарищами в путь.

– Куда же мы едем? – спросил его Заглоба.

– Правду говоря, я и сам не знаю, не успел еще подумать.

– Надо посоветоваться и решить, что делать, – вмешался Мирский. – Только прежде позвольте выразить пану Заглобе нашу общую благодарность за спасение.

– А что? – ответил с гордостью Заглоба, поднимая вверх голову и покручивая усы. – Без меня вы попали бы в Биржи. Справедливость требует признать, что когда никто не может ничего придумать, то придумает Заглоба! Мы бывали и не в таких переделках. Помните, как я вас спас, когда мы с Еленой удирали от татар? – сказал он, обращаясь к маленькому рыцарю.

Пан Михал, правду говоря, мог ему ответить, что в тот раз было наоборот, но он промолчал и лишь шевельнул усиками... Старик продолжал:

– Мне благодарности не надо! Сегодня я услужил вам, завтра вы мне тем же ответите. Я так рад, что вижу вас на свободе, точно я одержал какую-нибудь большую победу. Оказывается, что у меня еще не устарели ни голова, ни руки.

– Значит, вы в Упиту отправились? – спросил его Володыевский.

– А куда же мне было ехать, уж не в Кейданы ли? Можете быть уверены, что я не жалел лошади, а славная была кляча! Вчера утром я был в Упите, в полдень мы уже отправились в Биржи по той дороге, где я думал вас встретить.

– И мои люди вам сразу поверили? – спросил Володыевский. – Ведь они вас не знали и видели вас у меня всего два-три раза.

– Ну с этим у меня не было больших затруднений; во-первых, я показал им ваш перстень, во-вторых, они уже знали об измене Радзивилла. Я застал там нарочных от людей полковника Мирского и Станкевича, которые звали общими силами соединиться против изменника-гетмана. Когда я им сказал, что вас везут в Биржи, то точно сунул палку в муравейник. Лошади были на пастбище, за ними сейчас же сбегали, и в полдень мы уже тронулись в путь. Вы видите, что я принял команду по праву?

– А откуда, отец, вы взяли бунчук? – спросил Ян Скшетуский. – Мы вас издали приняли за гетмана.

– А разве я плохо выглядел? Вы спрашиваете, откуда я взял бунчук? Вместе с депутациями от гетмана приехал полковник Щит с приказом ляуданцам отправляться в Кейданы, его, для пущей важности, снабдили бунчуком. Я велел его арестовать, а бунчук носить над собою, на случай встречи со шведами.

– Как вы все остроумно придумали! – воскликнул Оскерко.

– Как Соломон! – прибавил Станкевич.

Заглоба сиял от восторга.

– Ну теперь решим, что нам делать, – сказал он. – Если вы хотите послушать меня, то вот что я вам посоветую. С Радзивиллом, по-моему, нам связываться нечего, потому что мы, попросту говоря, окуни, а он щука! Для нас выгоднее поворачиваться хвостом, а не головою. От души желаю ему поскорее попасть к черту на рога! Кроме того, если бы мы попались к нему в лапы, то нам бы несдобровать. Прочтите, панове, письмо, которое Ковальский вез шведскому коменданту в Биржи, и вы узнаете воеводу виленского, если до сих пор его не знали.

Сказав это, он вынул из кармана письмо и подал его Мирскому.

– По-немецки или по-шведски? – спросил старый полковник. – Кто из вас может прочесть?

Оказалось, что лишь один Станислав Скшетуский знал немецкий язык, но мог читать только по-печатному.

– Ну так я расскажу вам содержание письма, – сказал Заглоба. – Пока в Упите солдаты послали за лошадьми, я велел привести за пейсы жида и заставил его прочесть письмо. Оказалось, что гетман велел биржанскому коменданту прежде всего отправить обратно конвой, а потом всех вас расстрелять, но так, чтобы об этом никто не знал.

Полковники даже руками всплеснули, а Мирский, покачив головою, сказал:

– Я ведь хорошо его знаю, и меня очень удивило, что он живыми везет нас в Биржи. Должно быть, у него были причины не казнить нас сейчас же.

– Он, верно, боялся возмущения?

– Может быть!

– Но что за мстительный человек, – сказал маленький рыцарь. – Я ведь недавно вместе с Гангофом спас ему жизнь!

– А я служу Радзивиллам тридцать пять лет, – сказал Станкевич.

– Страшный человек! – прибавил Станислав Скшетуский.

– Вот поэтому его и нужно избегать! – сказал Заглоба. – Черт его побери! Избегать встречи с ним мы будем, но погребка его по дороге почистить не мешает. Поедем-ка теперь к воеводе витебскому, чтобы иметь какую-нибудь защиту, а по дороге захватим, что можно. Если найдутся деньги, и от них отказываться нечего. Чем с большими средствами мы придем, тем лучше нас примут.

– Воевода и так примет нас радушно, – ответил Оскерко. – Конечно, к нему, лучшего не выдумаешь!

– Все с этим согласятся, – прибавил Станкевич.

– Пусть он будет тем вождем, о коем мы просили Господа.

– Аминь! – сказали остальные.

И некоторое время они молчали; вдруг Володыевский завертелся на седле и сказал:

– А недурно бы теперь встретить по дороге шведов.

– Я бы тоже не прочь, – заметил Станкевич. – Верно, Радзивилл убедил шведов, что вся Литва у него в руках, так они вот убедятся, что это ложь.

– Конечно, – сказал Мирский, – если попадется нам какой-нибудь отряд, не мешает дать ему потасовку, но Радзивилла надо избегать, с ним мы не справимся. А все же я посоветовал бы повертеться несколько дней около Кейдан.

– Чтобы разорить его имения?

– Нисколько. Чтобы собрать побольше людей! Мой полк и полк Станкевича присоединятся к нам, если только они не разбиты; шляхты соберется тоже немало. Тогда мы приведем воеводу витебскому больше войска, а это сейчас значит немало.

Расчет был верен, примером этому могли послужить драгуны Ковальского, которые без всякого колебания перешли к Володыевскому. Таких могло набраться в радзивилловских войсках немало. Но, главное, можно было предполагать, что первая победа, одержанная над шведами, вызовет общее восстание.

И Володыевский решил отправиться в сторону Поневежа, собрать как можно больше ляуданской шляхты, а оттуда идти в Роговскую пушу, где он надеялся встретить остатки разбитых полков. На отдых он остановился возле реки Лавечи.

Там они стояли до ночи, поглядывая из лесной чащи на большую дорогу. Ехали все больше крестьяне, убегавшие в леса перед нашествием неприятеля.

Солдаты, которых высылали на дорогу, приводили время от времени мужиков, от которых полковники хотели что-нибудь узнать о шведах; но добиться ничего не могли.

Крестьяне, под влиянием слышанных ими ужасов, твердили, будто шведы уже совсем близко, но сказать больше не могли ничего.

Когда стемнело, Володыевский велел людям собираться в путь. Вдруг ясно послышался звон колоколов.

– Что это? – спросил Заглоба. – На молитву ведь слишком поздно! Володыевский несколько времени прислушивался, затем сказал:

– Это набат!

Потом он обратился к солдатам и спросил:

– Не знает ли кто-нибудь, что это за деревня или местечко в той стороне?

– Это Клеваны, мосци-полковник, мы по этой дороге поташ возили.

– Вы слышите звон?

– Слышим. Должно быть, случилось что-нибудь.

Володыевский дал знак трубачу, и тихий звук трубы зазвенел в темноте. Отряд двинулся вперед.

Глаза всех были направлены туда, откуда слышался тревожный звон; наконец на горизонте показался красный свет, который увеличивался с каждой минутой.

– Зарево! – раздалось среди солдат.

– Шведы! – сказал Володыевский Скшетускому.

– Попробуем! – ответил пан Ян.

– Но зачем они жгут?

– Должно быть, шляхта или крестьяне оказали сопротивление.

– Посмотрим! – ответил Володыевский. Вдруг к нему подъехал Заглоба и спросил:

– Я уж вижу, что вы почуяли запах шведского мяса. Ну что, быть битве, как вы думаете?

– Как Бог даст.

– А кто будет сторожить пленного?

– Какого пленного?

– Уж конечно, не меня, а пана Ковальского. Видишь, пан Михал, нам очень важно, чтобы он не убежал! Помни, что гетман не знает ничего о том, что случилось, и ни от кого не узнает, если ему не донесет Ковальский. Надо велеть каким-нибудь надежным людям его стеречь, так как во время битвы легко улизнуть, тем более что он и на хитрости пуститься может!

– Он так же хитер, как эта телега, на которой вы сидите. Вы хотите присмотреть за ним?

– Гм... Мне битву жаль пропускать!.. Правда, что ночью при огне я ничего не вижу. Если бы нам пришлось биться днем, ты бы меня никогда не уговорил стеречь Ковальского... Но если это в общих интересах, то пусть и так будет.

– Ладно. Я оставлю вам человек пять в подмогу, и, если он захочет удирать, пустить ему пулю в лоб...

– Я его в пальцах разомну, как воск! Но пожар все растет! Где мне быть с Ковальским?

– Где хотите. Теперь времени нет! – сказал пан Михал. И поехал вперед.

Пожар разливался все шире. Ветер подул с пожарища и вместе с колокольным звоном донес отголоски выстрелов.

– Рысью! – скомандовал Володыевский.

XVIII

Когда стали подъезжать к ближайшей деревне, они убавили шаг и увидели улицу, настолько ярко освещенную пламенем, что можно было найти булавку. По обеим сторонам горело несколько изб, другие начинали загораться, так как сильный ветер разносил искры, даже целые снопы их, которые перелетали, точно огненные птицы, на соседние крыши. На улицах пламя освещало большие и маленькие толпы людей, которые металась в разные стороны. Крики людей смешивались со звоном колоколов в церкви, скрытой за деревьями, с ревом скота, лаем собак и выстрелами.

Подъехав ближе, солдаты пана Володыевского увидели небольшой отряд рейтар, одетых в круглые шляпы. Некоторые из них дрались с толпою крестьян, вооруженных вилами и цепями, стреляли в них из пистолетов, другие выгоняли скот на дорогу или ловили домашнюю птицу. Несколько человек держали лошадей тех товарищей, которые были заняты грабежом в избах.

Дорога в деревню спускалась несколько вниз и вела через березовый лесок, так что ляуданцы в то время, как никто не мог их видеть, видели как бы картину, изображающую нашествие неприятеля на деревню, освещенную пожаром; в пламени можно было ясно различать иноземных солдат, а местами – крестьян и женщин, защищавшихся беспорядочными толпами. Все это двигалось с криками, бранью, рыданиями и плачем.

Пан Володыевский, подъехав с полком к открытым воротам, велел убавить шаг. Он мог нагрянуть на шведов врасплох и одним взмахом уничтожить неприятеля, не ожидавшего нападения; но ему хотелось «попробовать шведов», помериться с ними силой в открытом бою, и он нарочно ехал медленно, чтобы его успели заметить.

И действительно, несколько рейтар, стоявших поблизости, увидев приближавшееся войско, бросились к офицеру и стали ему что-то говорить, указывая рукой в ту сторону, откуда ехал Володыевский. Офицер прикрыл глаза рукой, посмотрел с минуту, потом сделал знак рукой, и тотчас послышался звук трубы.

Тут наши рыцари могли наглядеться на исправность шведских солдат: чуть раздались первые звуки сигнала, как часть солдат стала выскакивать из домов, другие бросили награбленные вещи и кинулись к лошадям.

В одну минуту отряд был в полном боевом порядке, при виде которого маленький рыцарь пришел в восторг. Все это был народ рослый, одетый в кафтаны с кожаными ремнями через плечо, в однообразные черные шляпы с приподнятыми слева полями; у всех были одинаковые гнедые лошади; они стали плотной стеной с рапирами в руках и спокойно смотрели в сторону дороги.

Наконец из рядов вышел вперед офицер с трубачом и, по-видимому, хотел узнать, что за люди приближаются так медленно.

Он, должно быть, предполагал, что это один из радзивилловских полков, со стороны которого не ожидал нападения, и потому принялся махать шляпой и рапирой; трубач продолжал трубить в знак того, что офицер желает говорить.

– Выстрели кто-нибудь им в ответ, – сказал маленький рыцарь, – они тогда поймут, чего им от нас нужно ждать.

В ту же минуту раздался выстрел, но пуля не долетела – было далеко. Офицер, по-видимому, продолжал еще думать, что это какое-нибудь недоразумение, и стал кричать еще громче и по-прежнему махал шляпой.

– Повтори еще раз! – скомандовал Володыевский.

После второго выстрела офицер повернулся к своим; те приближались к нему рысью.

Первый ряд ляуданцев въезжал уже в ворота.

Шведский офицер что-то прокричал; рапиры, до сих пор торчавшие остриями вверх, повисли на эфесах, солдаты тотчас вынули пистолеты и, оперев о луку седел, подняли дулами вверх.

– Прекрасные солдаты! – пробормотал Володыевский, видя эту необыкновенную, почти механическую быстроту их движений.

Он оглянулся на своих и, убедившись, что все в порядке, поправился на седле и крикнул: – Вперед!

Ляуданцы пригнулись к лошадиным шеям и помчались вихрем.

Шведы подпустили их совсем близко, а потом дали залп из пистолетов, но залп этот не причинил большого вреда ляуданцам; лишь несколько человек выпустили из рук уздечки и откинулись назад, остальные были невредимы и грудью столкнулись с неприятелем.

В то время вся литовская кавалерия пользовалась еще копьями, которые в коронных войсках были только у гусар, но Володыевский, рассчитывая на битву в тесноте, велел их оставить по дороге, в ход были пущены сабли.

Первый напор не мог разбить шведов, он лишь оттолкнул их назад. Они отступали, рубя направо и налево рапирами, ляуданцы с ожесточением напирали. Улица стала все больше покрываться трупами. Лязг сабель напугал мужиков – они бросились врассыпную. Жара от пожарища была нестерпимая, так как дома от дороги отделялись лишь садиками.

Шведы, под натиском ляуданцев, отступали медленно и спокойно. Трудно было им, впрочем, рассеяться, так как с обеих сторон их сжимали высокие заборы. Временами они пробовали остановиться, но их усилия были напрасны.

Эта была странная битва. Благодаря узости пространства сражались только первые ряды, а остальные могли лишь подталкивать стоящих впереди. Поэтому-то сражение скоро превратилось в настоящую резню.

Володыевский, поручив старым полковникам надзор за солдатами во время атаки, работал всюю в первом ряду. Каждую минуту какая-нибудь шведская шляпа исчезала в толпе, точно проваливалась сквозь землю; порой выбитая из рук рейтара рапира взлетала над головами всадников, и в ту же минуту раздавался отчаянный стон, и падала шляпа, другая, третья; сам Володыевский все подвигался вперед, его маленькие глазки горели, как две зловещие искры; он не горячился, но махал саблей, как цепом, направо и налево; иногда, когда прямо против него никого не было, он поворачивал лицо и клинок слегка правее или левее и сталкивал рейтара движением почти незаметным, но страшным, молниеносным, нечеловеческим.

Как женщина, когда она рвет коноплю, нагнувшись, скрывается в ней, так и Володыевский то и дело исчезал в толпе рослых солдат, и там, где они падали, как колосья под серпом жнеца, непременно был он. Станислав Скшетуский и угрюмый Юзва Бутрым следовали за ним по пятам.

Наконец задние ряды шведского отряда стали выходить на более просторное место перед церковью, и за ними двинулись и передние. Раздалась команда офицера, и продолговатый прямоугольник стремглав растянулся в длинную прямую линию.

Но Ян Скшетуский, следивший за общим ходом сражения, не последовал примеру шведского капитана, он сплоченной колонной ринулся вперед, и колонна, натолкнувшись на слабую неприятельскую стену, тотчас ее прорвала и так же быстро устремила к правой стороне церкви, овладев, таким образом, одной половиной шведов; а на другую бросился Мирский и Станкевич с частью ляуданцев и драгун Ковальского.

Закипели две битвы, но продолжались недолго. Левое крыло, на которое нагрянул Скшетуский, не успело выстроиться и рассеялось прежде всего; правое держалось немного дольше, но так как было слишком растянуто, то, несмотря на отчаянное сопротивление, вскоре последовало примеру первого.

Площадь была широкая, но, к несчастью, окружена со всех сторон высоким забором, а противоположные ворота были заперты.

Рассеянные шведы металась по площади, ляуданцы гнались за ними. Кое-где сражались группами по несколько человек; в других местах сражение было рядом поединков, рапиры скрещивались с саблями, порой раздавался пистолетный выстрел. То тут, то там швед или литвин вылезал из-под упавшей лошади и снова падал под ударом сабли.

Посреди площади бегали обезумевшие лошади без всадников, с раздувающимися от страха ноздрями; некоторые грызлись, иные поворачивались задом к группам сражающихся и били их копытами.

Володыевский косил, точно мимоходом, неприятельских солдат и искал глазами офицера; наконец он увидел его: тот защищался от двух Бутрымов. Пан Михал бросился к нему.

– Прочь! – крикнул он Бутрымам. – Прочь!

Офицер, очевидно, хотел столкнуть противника с лошади рапирой, но Володыевский подставил рукоятку сабли, описал ею полукруг, и рапира выскользнула из рук офицера, он схватился за пистолет, но в эту минуту, раненный в щеку, он выпустил из левой руки уздечку.

– Брат живым! – крикнул Володыевский.

Ляуданцы подхватили шатающегося офицера, а маленький рыцарь поехал дальше, оставляя за собой ряд трупов.

Шведы наконец поддались шляхте, более опытной в одиночной борьбе. Некоторые хватились за острия рапир и рукоятки поворачивали в сторону неприятеля, другие бросали под ноги оружие; все чаще и чаще слышалось слово «pardon». Но на это не обращали внимания, так как пан Михал отдал приказ пощадить только нескольких; видя это, остальные снова бросались в борьбу и умирали, обливаясь кровью.

Час спустя крестьяне, высыпавшие целой толпой из деревни, стали хватать лошадей, добивать раненых и грабить убитых.

Так кончилась первая встреча литвинов со шведами.

Между тем Заглоба, карауля в березняке пана Роха, лежавшего на возу, должен был выслушивать его упрёки в том, что поступил так неблагородно с родственником.

– Вы меня, дядюшка, совсем погубили! Меня ожидает в Кейданах не только пуля в лоб, но и вечный позор. С этих пор если кто захочет обозвать другого дураком, то будет говорить: Рох Ковальский.

– И все, верно, с этим будут согласны, – ответил Заглоба, – доказательства налицо: тебе странно, что я, игравший крымским ханом, как куклой, тебя провел? Неужели ты думаешь, что я позволил бы себя и своих товарищей, первых рыцарей и украшение всей Речи Посполитой, отвезти в Биржи шведам в пасть?

– Да ведь я не по собственной воле вас туда вез.

– Но ты был слугой палача, а это позор для шляхтича, который ты должен смыть, иначе я откажусь от тебя и от всех Ковальских. Быть изменником хуже, чем палачом, быть помощником палача – это уж последнее дело.

– Я служил гетману!

– А гетман – дьяволу. Понимаешь теперь? Ты глуп, а потому откажись раз и навсегда от всяких диспутов и держись за меня; знай, что я уж не одного вывел в люди.

Дальнейший разговор был прерван грохотом выстрелов, потому что в эту минуту начался бой. Потом выстрелы прекратились, но шум и крики доносились даже до их отдаленного убежища в березняке.

– Видно, что там пан Михал работает, – сказал Заглоба. – Он мал, но ядовит, как змея. Почистит он этих заморских дьяволов... Я тоже предпочел бы быть с ними, но ради тебя должен сидеть здесь. Вот какова твоя благодарность? Вот поступок, достойный родственника?

– А за что я должен быть вам благодарен?

– За то, что я тебя, изменник, не запряг в плуг вместо быка, хотя ты для этого более всего пригоден, потому что глуп и силен, понимаешь? Однако, там все жарче дерутся. Слышишь? Это, верно, шведы там мычат, как телята на пастбище...

Заглоба замолчал, он уже начинал беспокоиться. Наконец, взглянув пронизательно в глаза пану Роху, он спросил:

– Кому ты желаешь победы?

– Конечно, нашим.

– Вот видишь! А почему же не шведам?

– Потому, что сам не прочь с ними драться. Наши – всегда наши!

– Наконец-то совесть заговорила! А как же ты хотел своих братьев отвезти шведам?

– Потому что мне было приказано.

– Но теперь уж такого приказания нету!

– Нету!

– Твой начальник теперь пан Володыевский, а не кто другой.

– Это... как будто и правда.

– Ты должен теперь делать только то, что он прикажет!

– Конечно, должен.

– Он тебе приказывает прежде всего отречься от Радзивилла и служить отчизне.

– Как же это? – спросил Ковальский, почесывая затылок.

– Тебе приказывают! – крикнул Заглоба.

– Слушаюсь! – ответил пан Рох.

– Ну и прекрасно! При первом удобном случае будешь драться со шведами.

– Если приказывают, то это другое дело! – ответил Ковальский и вздохнул свободнее, точно кто-нибудь снял у него тяжесть с груди.

Заглоба был тоже очень доволен, так как у него были свои виды на пана Роха. Оба они стали прислушиваться к отголоскам выстрелов и слушали с час, пока все не утихло...

Заглоба все более и более беспокоился.

– Неужто нашим не повезло?

– Как вы можете говорить подобные вещи? А еще старый военный! Если бы они были разбиты, то оставшиеся в живых прибежали бы к нам.

– Ты прав! Вижу, что и твой ум на что-нибудь годится.

– Слышите топот? Они возвращаются, и притом медленно: должно быть, вырезали шведов!

– Только – наши ли? Поехать, что ли, им навстречу?

Сказав это, Заглоба подвязал саблю, взял в руки пистолет и отправился. Вскоре он увидел двигавшуюся ему навстречу черную массу, и в ту же минуту до него донесся гул голосов.

Впереди ехало несколько человек, оживленно о чем-то разговаривая, и тотчас до слуха Заглобы донесся знакомый ему голос Володыевского, который говорил:

– Хорошие солдаты! Не знаю, какова у них пехота, но конница великолепная!

Заглоба пришпорил лошадь.

– Как поживаете, как поживаете? Я от нетерпения готов был лететь в огонь. Никто не ранен?

– Все, слава богу, здоровы, – ответил пан Михал, – но все-таки мы потеряли двадцать с лишком хороших солдат.

– А шведы?

– Все перебиты!

– Уж ты там погулял, пан Михал! А меня, старика, здесь оставили. Чуть душа у меня вон не вылетела – так мне хотелось попробовать шведского мяса. Я готов их сырыми съесть!

– Можете получить и жареных, несколько человек сгорело.

– Пусть их собаки едят! А пленные есть?

– Есть: ротмистр и семь человек солдат.

– Что ты думаешь с ними делать?

– Я велел бы их повесить, потому что они, как разбойники, напали на беззащитную деревню и сожгли ее, но Скшетуский говорит, что это не годится.

– Послушайте меня, панове! По-моему, их тоже не следует вешать, а отпустить сейчас же в Биржи.

– Зачем?

– Вы знаете меня как солдата, теперь узнайте как дипломата. Мы шведов отпустим, но не скажем, кто мы; что еще лучше – назовемся радзивилловскими сторонниками и скажем, что мы на них напали по приказанию гетмана и не будем пропускать ни одного шведского отряда, если он нам попадется по дороге. Скажем, что гетман, мол, и не думал переходить на сторону шведов. Шведы будут за голову хвататься, а мы этим подорвем гетманский кредит. Если эта мысль не стоит больше вашей победы, то пусть у меня вырастет хвост, как у лошади. Пока все выяснится, они готовы будут подраться. Мы поссорим изменника с врагами, мосци-панове, а от этого выиграет Речь Посполитая.

– В самом деле, ваша мысль достойна победы! – воскликнул Станкевич.

– У вас канцлерский ум! – ответил Мирский. – Это их собьет с толку!

– Так и нужно сделать, – сказал пан Михал. – Завтра я их отпущу, а теперь я не хочу ни о чем знать и думать, ибо страшно устал. Жара там была как в пекарне... Совсем рук не чувствую... Офицер тоже не может сегодня ехать, он ранен в щеку.

– Но как мы это им скажем? – спросил Скшетуский.

– Я уж об этом позаботился, – ответил Заглоба. – Ковальский говорит, что среди его драгун есть двое прусаков. Пусть они им все это скажут по-немецки; должно быть, шведы их поймут, так как сколько лет с ними воевали. Вы знаете что? Ковальский теперь уже наш телом и душой.

– Ну вот и хорошо! – сказал Володыевский. – Прошу вас, займитесь ими, я уже и говорить не могу от усталости. Я объявил своим людям, что мы пробудем в лесу до утра. Есть нам принесут из деревни, а теперь спать. За стражей будет наблюдать мой поручик. Ей-богу, я уж вас почти не вижу: у меня слипаются глаза.

– Мосци-панове, – сказал Заглоба, – здесь недалеко от березняка стог сена, – заберемся туда, а завтра в путь. Сюда мы уж не вернемся, разве что с паном Сапегой!

XIX

На Литве вспыхнула междоусобная война, которая вместе с нашествием двух неприятелей в пределы Речи Посполитой переполнила чашу бедствий.

Регулярные литовские войска были слишком ничтожны численно и поэтому не могли дать настоящего отпора неприятелю; кроме того, они разделились на два лагеря. Одни, особенно иностранные полки, стали на сторону Радзивилла; другие (а таких было большинство) объявили гетмана изменником, протестовали против соединения со Швецией; но и среди них не было ни единения, ни определенного плана действий, ни вождя. Вождем мог быть лишь воевода витебский, но он в то время был занят защитой Быхова и страшной борьбой внутри страны и не мог стать во главе движения, направленного против Радзивилла.

Между тем неприятели, считая этот край своей собственностью, стали посылать один другому посольства с угрозами и предостережениями. Эти раздоры могли бы, пожалуй, спасти Речь Посполитую, но, прежде чем у них дошло до настоящей войны, на Литве наступил полный хаос. Радзивилл, обманувшись в своих расчетах на войско, решил принудить его силою к послушанию.

Не успел Володыевский после клеванского сражения прийти в Поневеж, как до него дошло известие о том, что гетманом уничтожены полки Мирского и Станкевича. Часть их была силою присоединена к радзивилловским войскам, часть избита, часть разбрелась в разные стороны; остальные скрывались в деревнях и лесах и искали убежища от мести и погони...

Каждый день к Володыевскому приходили беглецы, увеличивая тем самым его силы и привозя разные известия.

Самое важное из них было известие о бунте регулярных войск на Полесье, около Белостока и Тыкоцина. После взятия Вильны московским войском они должны были охранять доступ к Речи Посполитой, но, узнав об измене князя, они образовали конфедерацию во главе с полковниками Горошкевичем и Яковом Кмицицем, двоюродным братом верного гетманского сторонника Андрея.

Имя Андрея все честные солдаты произносили с ужасом. Он разбил полки Мирского и Станкевича, он расстреливал без милосердия своих товарищей. Гетман верил ему слепо и высылал его против полка Невяровского, который не пошел по следам своего полковника и отказал ему в повиновении. Володыевский слушал это последнее сообщение с большим вниманием, затем обратился к своим товарищам:

– Что вы скажете – не пойти ли нам, Панове, вместо Быхова на Полесье к полкам, которые составили конфедерацию.

– Вы предвосхитили мою мысль! – воскликнул Заглоба. – Конечно, лучше всего идти туда, там мы все же будем между своими.

– Беглецы рассказывают также, – сказал Ян Скшетуский, – что король отдал приказ некоторым полкам вернуться из Украины и не дать шведам переправиться через Вислу. Если это верно, то мы в самом деле будем служить со старыми товарищами, вместо того чтобы бродить здесь из угла в угол.

– А кто будет командовать этими полками? Не знаете, панове?

– Говорят, пан коронный обозный, – ответил Володыевский, – но это, впрочем, ни на чем не основанные слухи.

– Что бы ни было, – сказал Заглоба, – я советую вам отправиться на Полесье. Мы присоединим к себе взбунтовавшиеся полки Радзивилла и пойдем вместе на помощь королю, а это, наверно, не останется без награды.

– Пусть и будет так! – ответили Оскерко и Станкевич.

– Но на Полесье не так легко попасть, – заметил маленький рыцарь, – ведь надо будет пробираться перед самым носом гетмана. Однако попробуем. Если бы Бог дал встретиться с Кмицицем, я бы сказал ему на ухо пару слов, от которых он позеленеет.

– Он этого и стоит! – сказал Мирский. – Не странно, что старые солдаты, прослужившие с Радзивиллом всю жизнь, остаются на его стороне, но ведь этот головорез служит ради собственной выгоды и ради того наслаждения, которое он находит в измене.

– Значит, на Полесье? – спросил Оскерко.

– На Полесье! На Полесье! – закричали все хором.

Но этот план было нелегко привести в исполнение, как и говорил Володыевский: нужно было проходить мимо Кейдан, то есть мимо самого львиного логова.

Все дороги, местечки и деревни были в руках Радзивилла; в некотором расстоянии от Кейдан стоял Кмициц с драгунами, пехотой и артиллерией. Гетман уже знал о побеге пленных, о бунте в полку Володыевского, о клеванском сражении, и известие о последнем привело его в такую ярость, что опасались за его жизнь – он чуть не задохся от страшного припадка астмы.

И ему было от чего выходить из себя, даже отчаиваться: это сражение навлекло на его голову целую бурю. Прежде всего, вслед за этим сражением начались, одно за другим, разгромы небольших шведских отрядов. Это делали крестьяне и шляхта на свой риск, но шведы во всем винили только одного Радзивилла, тем более что офицер и солдаты, отосланные Володыевским в Биржи, заявили, что их разбили гетманские войска, по его же приказанию.

Неделю спустя к князю пришло письмо от биржанского коменданта, а через десять дней от главнокомандующего шведскими войсками, самого Понтуса де ла Гарди.

«Или вы, ваше сиятельство, не имеете никакого значения, – писал последний, – а в таком случае, не имели права заключать договор от имени всего края, или вы хотите умышленно погубить войска его величества, короля шведского. Если это так, то милость моего государя к вашему сиятельству сменится заслуженным гневом, вслед за коим немедленно последует наказание, если вы не выкажете своего раскаяния и верной службою не искупите своей вины...»

Радзивилл сейчас же послал гонцов с объяснением, но письмо это как стрела вонзилось в его самолюбие. Он, чье одно слово приводило в страх и трепет всю страну; он, за половину состояния которого можно было купить всех шведских вельмож; он, считавший себя равным монархам, победами своими прославившийся на весь мир, должен был теперь выслушивать угрозы какого-то шведского генерала, должен был выслушивать уроки покорности и верности. Правда, этот генерал был зятем короля; но кто же был король, присваивающий себе корону Яна Казимира, принадлежащую ему по праву и крови?

Но гнев его прежде всего обрушился на тех, кто были главными виновниками его унижения, и он поклялся, что не пощадит на этот раз Володыевского, ни его товарищей, ни весь ляуданский полк. С этой целью он выступил против них и, подобно охотникам, окружающим волков во время облавы, окружил их и гнал без отдыха.

Но вот до него дошла весть, что Кмициц разбил полк Невяровского, часть солдат разогнал или перерезал, остальных присоединил к своему полку; поэтому князь велел ему тотчас прислать один отряд драгун на помощь.

«Люди, жизнь коих ты так отстаивал, – писал он, – паче же всего Володыевский и тот старый бродяга, бежали по дороге в Биржи. Мы нарочно отправили с ними самого глупого офицера, которого они не могли бы уговорить перейти на их сторону, но он или изменил, или попался впросак; у Володыевского в руках теперь весь ляуданский полк и беглые солдаты из полков Мирского и Станкевича. Под Клеванами они вырезали шведский отряд в сто двадцать человек и пустили слух, что сделали это по нашему приказанию, и это привело к великим между нами и Понтусом недоразумениям. Эти предатели могут испортить все дело, и если б не твои просьбы, мы бы велели им срубить головы. Но надеюсь, что скоро их постигнет возмездие. До нас также дошли слухи, что в Биллевичах у мечника россиенского собирается

шляхта и сговаривается идти против нас; нужно это предупредить. Драгун всех отправишь ко мне, а пехоту отошлешь в Кейданы караулить замок и город. Сам же возьми несколько десятков людей и отвези в Кейданы мечника вместе с его родственницей. Теперь это важно не только для тебя, но и для меня. Имея их в руках, мы будем иметь в руках всю шляхту, которая начинает восставать против нас во главе с Володыевским. Герасимовича мы выслали с инструкциями касательно конфедератов в Заблудов. Твой двоюродный брат Яков имеет на них большое влияние; напиши ему, если полагаешь, что письмом ты сможешь его убедить. Выражая тебе благоволение наше, поручаем тебя Божьей милости».

Кмициц, прочитав письмо, был рад в душе, что полковникам удалось вырваться из рук шведов, и втайне желал им так же благополучно вырваться из радзивилловских рук; но все же он исполнил все приказания князя, отправил драгун, отослал пехоту в Кейданы и, кроме того, начал насыпать шанцы вокруг замка, решив в душе по окончании работ ехать в Биллевици к мечнику.

«К насилью я прибегать не стану, разве в крайнем случае, – думал он. – Во всяком случае, не буду принуждать Оленьку. Впрочем, это не моя воля, а княжеский приказ. Знаю, что она не любезно меня примет, но, Бог даст, со временем она узнает мои побуждения, убедится, что я служу отчизне, спасаю ее, а не Радзивилла!»

С такими думами он усердно работал над укреплением будущей резиденции своей дорогой Оленьки.

Между тем пан Володыевский уходил от гетмана, а гетман гнался за ним по пятам. Все же пану Михалу приходилось туго, ибо к югу от Бирж были отправлены большие отряды шведских войск, восточная часть страны была занята русскими, а по дороге в Кейданы его поджидал Радзивилл.

Заглоба был очень недоволен таким положением вещей и то и дело приставал к Володыевскому с вопросами:

– Скажи, пан Михал, ради бога, пробьемся мы или нет?

– Тут нечего и думать о том, чтобы пробиться, – отвечал маленький рыцарь. – Вы хорошо знаете, что я не трус и не испугаюсь даже самого черта. Но с гетманом я не справлюсь – не мне с ним равняться! Сами вы сказали, что мы окуни, а он щука. Я сделаю все, что могу, лишь бы как-нибудь улизнуть, но если дойдет до сражения, то заранее предупреждаю, что мы будем перебиты.

– А потом он велит нас расстрелять и отдать на съедение собакам? Уж лучше попасться в чьи угодно руки, только не в радзивилловские... А не вернуться ли нам к Сапеге?

– Теперь уж поздно, мы окружены со всех сторон шведскими и гетманскими войсками.

– Черт меня дернул посоветовать Скетуским идти к Радзивиллу! – ворчал Заглоба.

Но пан Михал еще не терял надежды, тем более что шляхта и крестьяне предупреждали его обо всех действиях гетмана, ибо все уже отвернулись от Радзивилла. Изворачивался пан Михал, как умел, а умел он это делать превосходно, ибо чуть ли не с детства привык к войнам с татарами и казаками. Еще когда он служил в войске князя Еремии, он прославился своими проделками под самым носом у неприятеля: неожиданными нападениями, молниеносными поворотами, в которых он не имел соперников.

Теперь, запертый между Упитой и Роговом, с одной стороны, и Невяжью – с другой, он вертелся на пространстве нескольких миль, избегая битв, утомляя радзивилловские отряды и даже пощипывая их понемногу. Так волк, преследуемый гончими, когда собаки подойдут к нему слишком близко, сверкает своими белыми клыками.

Но когда подоспели драгуны Кмицица, князь забил ими самые тесные проходы, а сам поехал присмотреть, чтобы концы сети, опутавшей Володыевского, сошлись. Это было под Невяжью.

Полки Мелешки и Гангофа и два полка драгун под командой князя образовали точно лук, тетивой которого была река. Пан Володыевский со своим полком находился в середине.

Он мог только переправиться через болотистую реку, но на другом берегу стояли два полка шотландской пехоты, двести радзивилловских казаков и шесть полевых орудий, направленных так, что даже одному человеку невозможно бы было переправиться под их огнем на другую сторону.

Лук стал суживаться. Центр его вел сам гетман.

К счастью для пана Володыевского, ночь и буря с проливным дождем приостановили наступление, но зато у осажденных оставалось в распоряжении не более двух квадратных верст луга, поросшего ветлой, между полукругом радзивилловских войск и рекой, которую караулили с другого берега шотландцы.

На следующий день, едва ранний рассвет залил беловатой мутью ветлы, полки двинулись вперед, дошли до реки и остановились в немом изумлении.

Пан Володыевский сквозь землю провалился – в чаще кустарника не было ни души.

Онемел от изумления и гетман, и настоящие громы разразились над головами офицеров, карауливших переправу. И снова с князем случился такой сильный приступ астмы, что присутствующие опасались за его жизнь. Но гнев превозмог даже астму. Двух офицеров, которым поручен был надзор за переправой, приказано было расстрелять, но Гангоф упросил все-таки князя узнать прежде, каким образом зверь выбрался из западни.

Оказалось, что Володыевский, пользуясь темнотой и дождем, переправил весь полк через реку и проскользнул около правого крыла радзивилловских войск. Несколько завязших в болоте лошадей указывали место, где он переправился на правый берег.

По дальнейшим следам легко можно было догадаться, что он полным маршем направился в сторону Кейдан. Гетман тотчас же понял, что он хотел пробраться к Гороткевичу и Якову Кмицицу на Полесье.

Но, проходя мимо Кейдан, не подожжет ли он город и не ограбит ли замок?

Сердце князя сжалось от страшного беспокойства. Большая часть наличных его денег и драгоценностей хранилась в Кейданах. Кмициц, правда, должен был отправить пехоту для их защиты, но если он этого еще не сделал, то неукрепленный замок легко мог стать добычей дерзкого полковника. Радзивилл не сомневался, что у Володыевского хватит храбрости поднять руку даже на его резиденцию. Для этого у него и времени было достаточно, ибо, ускользнув в начале ночи, он оставил погоню, по крайней мере, в шести часах расстояния за собою.

Во всяком случае, приходилось спешить на спасение Кейдан. Князь оставил пехоту и отправился со всей конницей.

Прибыв в Кейданы, он не застал Кмицица, но все нашел в порядке, и мнение, составленное им об исполнительности молодого полковника, еще более укрепилось в нем при виде заново возведенных укреплений, на которых были расставлены полевые орудия. В тот же день он осматривал их вместе с Гангофом, а вечером сказал ему:

– Он сделал это по собственному соображению, без моего приказанья, и сделал так хорошо, что можно будет защищаться даже против артиллерии. Если этот человек не свернет себе шеи, то он может пойти далеко.

Был еще и другой человек, при воспоминании о котором князь не мог устоять против некоторого рода изумления, смешанного с бешенством, человек этот был пан Михал Володыевский.

– Я бы скоро справился с бунтом, – сказал он Гангофу, – будь у меня два таких слуги... Кмициц, может быть, показистее, но у него недостает опытности, а тот воспитывался в школе князя Еремии, за Днепром.

– Вы не прикажете его преследовать, ваше сиятельство? – спросил Гангоф.

– Тебя он разобьет, а от меня удерет!

Помолчав с минуту, он нахмурил брови и продолжал:

– Теперь здесь все спокойно, но нам вскоре нужно будет отправиться на Полесье, чтобы покончить с теми.

– Ваше сиятельство, – ответил Гангоф, – если мы отсюда уйдем, все сейчас же возьмется за оружие против шведов.

– Кто это все?

– Шляхта и крестьяне. Кроме того, они не удовлетворятся шведами, а обратят оружие и против диссидентов, ибо они приписывают эту войну людям, исповедующим нашу религию; мы, мол, перешли на сторону неприятеля и даже привели его сюда.

– Меня больше всего беспокоит брат Богуслав. Справится ли он там с конфедератами?

– Надо и Литву удержать в повиновении нам и шведскому королю. Князь начал ходить по комнате и продолжал:

– Если бы как-нибудь удалось забрать в руки Гороткевича и Якова Кмицица. Они там сделают наезд на мои имения, разграбят, уничтожат все, камня на камне не оставят.

– Вот если бы войти в соглашение с генералом де ла Гарди, чтобы он на то время, пока мы будем на Полесье, прислал сюда побольше войск.

– С ним? Никогда! – ответил Радзивилл; кровь ударила ему в голову. – Если уж просить, то только самого короля. Мне нет нужды переговариваться со слугами, раз я могу говорить с самим господином. Если бы король приказал Понтию прислать мне на помощь тысячи две драгун, тогда другое дело. Нужно будет кого-нибудь послать к королю, пора начать с ним переговоры.

Гангоф слегка покраснел, и глаза его загорелись от страстного желания:

– Если бы вы, ваше сиятельство, мне приказали!..

– Ты бы поехал, знаю; но доехал ли бы ты, это другой вопрос. Ты немец, а иностранцу опасно заходить в глубь взволнованной страны. Кто знает, где теперь король и где он будет недели через две или через месяц? Придется рыскать по всей стране. А главное... это невозможно... Ты не поедешь, туда надо послать своего человека, с влиянием, чтобы его величество король, мог убедиться, что еще не вся шляхта меня покинула.

– Неопытный человек может сильно повредить, – несмело возразил Гангоф.

– Послу придется только отдать королю мои письма и привезти ответ. А сказать, что я не велел бить шведов под Клеванами, сумеет всякий.

Гангоф молчал.

Князь снова начал ходить беспокойными шагами по комнате, и лицо его выражало страшную борьбу мыслей. И действительно, со времени заключения договора со шведами он не знал ни минуты покоя. Его пожирало тщеславие, мучила совесть, терзало сопротивление войска, пугала неверность будущего и угроза разорения. Он терзался, метался, проводил бессонные ночи – и здоровье его ухудшалось, Глаза ввалились, лицо, прежде румяное, стало каким-то синим, чуть не с каждым часом увеличивалось количество седых волос на голове и в усах. Словом, он жил в муках и гнулся под непосильным бременем.

Гангоф следил за ним глазами; он не терял еще надежды, что князь раздумает и пошлет именно его. Но князь остановился, крикнул и ударил себя ладонью по лбу:

– Два полка драгун на коней сию минуту! Я сам их поведу!

Гангоф посмотрел на него с удивлением.

– Экспедиция? – невольно вырвалось у него.

– Отправляйся! – сказал князь. – Дай Бог, чтобы не было слишком поздно!

XX

Кмициц, окончив возведение укреплений в Кейданах и укрепив их на случай внезапного нападения, не мог дольше откладывать свою поездку в Биллевици за паном мечником россиенским и Оленькой, тем более что в приказе князя говорилось о том, чтобы привезти их в Кейданы. Но пану Андрею было как-то не по себе, и, лишь только он отправился во главе пятидесяти драгун, им овладело такое беспокойство, точно он ехал на верную смерть. Он чувствовал, что там его встретят более чем недружелюбно, и дрожал при мысли, что шляхтич, может быть, будет сопротивляться, и ему придется прибегнуть к вооруженной силе.

Но он решил прежде уговаривать его и просить. С этой целью, чтобы его приезд никак не мог походить на вооруженное нападение, он приказал своим драгунам остаться в корчме, находившейся в полуверсте от деревни, а сам отправился только с вахмистром и слугой в дом, приказав заранее приготовленной коляске приехать немного погодя.

Полдень уже миновал, и солнце клонилось к западу, но после дождливой и бурной ночи день был ясный, небо чисто и только кое-где на западе пестрели розовые облака, которые медленно уходили за горизонт, точно стада овец, возвращающиеся с поля. Кмициц ехал по деревне с таким тревожным чувством, как татарин, который, въезжая первым во главе чамбула в деревню, оглядывается по сторонам, нет ли где вооруженных людей, укrywшихся в засаде. Но три всадника не обратили на себя ничего внимания; только крестьянские дети, завидев лошадей, удирали босиком с дороги; а крестьяне, видя красавца офицера, снимали шапки и кланялись ему в землю. Он ехал вперед и, миновав деревню, увидел перед собой усадьбу, старое гнездо Биллевицей, а за нею громадные сады до самых лугов.

Кмициц еще убавил шаг и начал разговаривать сам с собою; он, по-видимому, заранее обдумывал ответы на вопросы и в то же время задумчиво посматривал на возвышающиеся перед ним постройки. Это не была резиденция магната, но с первого взгляда можно было угадать, что здесь живет шляхтич более чем среднего достатка. Самый дом, обращенный фасадом к большой дороге, был громадный, но деревянный. Сосновые бревна стен почернели от старости, так что стекла окон, в сравнении с ними, казались белыми. Над срубами стен возвышалась огромная крыша с четырьмя трубами посередине и двумя голубятнями по краям. Целые тучи белых голубей носились над крышей, то шумно срываясь вверх, то опускаясь на крышу подобно снежным хлопьям, то кружась вокруг столбов, поддерживавших крыльцо.

Крыльцо это, украшенное щитом, на котором были изображены гербы Биллевицей, нарушало общую гармонию, так как стояло не посередине, а сбоку. По-видимому, дом когда-то был меньше и впоследствии его с одной стороны увеличили. Но и пристройка уже почернела и ничем не отличалась от старого здания. По обеим сторонам главного дома возвышались два флигеля, соединявшиеся с домом по бокам и образовавшие точно два крыла.

В них помещались комнаты для гостей, во время больших съездов, кухни, кладовые, каретные сараи, конюшни для выездных лошадей, помещения для приказчиков, экономов, дворни и казаков.

Посредине огромного двора росли старые липы с гнездами аистов; ниже, среди деревьев, сидел ручной медведь. Два колодца с журавлями по краям двора и крест с распятием у въезда дополняли картину этой резиденции зажиточного шляхетского рода. С правой стороны дома, среди густых лип, поднимались соломенные крыши скотного двора, овчарня, амбары и риги.

Кмициц въехал в открытые настежь ворота. Легавые собаки, бродившие по двору, дали сейчас же знать о прибытии чужого, и из флигеля выбежало двое слуг, чтобы подержать лошадь.

В это время на крыльце главного дома показалась какая-то женская фигура, в которой Кмициц сейчас же узнал Оленьку. Сердце его забилось сильнее, и, бросив поводья слуге, он пошел к крыльцу с обнаженной головой, держа в одной руке саблю, в другой шапку.

А она, постояв с минуту, как чудное видение, прикрыв рукой глаза от солнца, вдруг исчезла, точно испугавшись приближающегося гостя.

«Плохо, – подумал Кмициц, – прячется от меня».

Ему стало тяжело, тем более что несколько минут тому назад погожий закат солнца, вид усадьбы и спокойствие, разлитое вокруг, наполнили его сердце бодростью, хотя пан Андрей, может быть, сам не отдавал себе в этом отчета.

Ему как будто казалось, что он едет к своей невесте, которая встретит его с блестящими от радости глазами и с румянцем на щеках.

И самообман этот вдруг рассеялся. Лишь только она увидела его, как исчезла, точно завидев злого духа, и вместо нее на крыльце появился мечник с тревожным и хмурым лицом.

Кмициц поклонился ему и сказал:

– Я давно собирался засвидетельствовать вам свое почтение, но раньше в столь тревожные времена не мог, хотя недостатка в искреннем желании у меня не было.

– Спасибо, ваша милость; прошу в комнаты! – ответил мечник, поглаживая свой чуб, что он делал всегда, когда был смущен или не уверен в себе.

И он отошел от дверей в сторону, чтобы пустить гостя вперед.

Кмициц не хотел войти первым, и потому они кланялись друг другу у порога; наконец пан Андрей сделал шаг вперед, и через минуту оба очутились в комнате.

Там они застали двух шляхтичей: один из них, в цвете сил, был Довгирд из Племборга, ближайший сосед Биллевичей; другой – пан Худзынский, арендатор из Эйраголы. Кмициц заметил, что, как только они услышали его имя, лица у них изменились, и они оцетинились, как охотничьи собаки при виде волка; он взглянул на них вызывающе и потом решил делать вид, что их не замечает.

Наступило неловкое молчание.

Пан Андрей начинал терять терпение и кусал свои усы; гости посматривали на него исподлобья, а пан мечник поглаживал свой чуб.

– Не выпьете ли с нами, ваша милость, скромного шляхетского меду? – спросил, наконец мечник, указывая на стоящие на столе ковш и чарки.

– С вами, мосци-пане, выпью с удовольствием! – ответил довольно резко Кмициц.

Пан Довгирд и Худзынский засопели, приняв такой ответ за пренебрежение к своей особе, но не хотели поднимать ссоры в доме своего друга, особенно с этим буяном, пользующимся страшной славой на всей Жмуди. Но их выводило из себя это пренебрежение.

Между тем пан мечник хлопнул в ладоши и приказал слуге принести четвертую чарку и, наполнив ее, поднес к своим губам, а затем сказал:

– Здоровье вашей милости... Очень рад видеть вас у себя в доме.

– Я был бы очень рад, если б так и было.

– Гость – всегда гость, – ответил сентенциозно мечник.

Затем, почувствовав обязанность хозяина поддерживать разговор, он спросил:

– А что слышно в Кейданах? Как здоровье пана гетмана?

– Неважно, пане мечник, – ответил Кмициц, – да в настоящее беспокойное время и не может быть иначе. Масса забот и неприятностей у князя.

– Охотно верим! – ответил Худзынский.

Кмициц посмотрел на него с минуту, потом обратился снова к мечнику и продолжал:

– Князь, заручившись обещанием его величества шведского короля прислать подкрепление, немедля отправится на Вильну, чтобы отомстить за ее сожжение. Вашим милостям,

должно быть, ведомо, что теперь Вильну в Вильне надо искать, она семнадцать дней горела. Говорят, что среди развалин там чернеют лишь ямы погребов, которые до сих пор еще дымятся.

– Несчастье! – сказал мечник.

– Поистине несчастье, за которое следует отомстить, превратив неприятельскую столицу в такие же развалины. И это было бы уже сделано, если бы не смутьяны, которые, заподозрив намерения лучшего из людей, объявили его изменником и оказывают ему вооруженное сопротивление, вместо того чтобы соединенными силами идти на врагов. И не диво, что здоровье гетмана начинает ему изменять, когда он, которого Бог создал для великих дел, видит, что людская злоба готовит ему каждый день новые козни, из-за которых может погибнуть все предприятие. Лучшие друзья обманули князя и перешли на сторону его врагов.

– Так и случилось! – серьезно ответил мечник.

– И его это страшно огорчает, – ответил Кмициц. – Я сам слышал, как он говорил: «Знаю, что и самые достойные люди меня осуждают, но почему же они не приедут в Кейданы, почему они мне в глаза не скажут, что имеют против меня, почему не хотят выслушать моих оправданий?»

– Кого же князь имеет в виду? – спросил пан мечник.

– Прежде всего вашу милость, ибо, питая к вам истинное уважение, он подозревает, что вы принадлежите к числу его врагов.

Пан мечник стал быстро гладить чуб, видя, что разговор принимает нежелательный оборот, и хлопнул в ладоши. В дверях появился слуга.

– Разве ты не видишь, что темнеет? Свечей! – крикнул пан мечник.

– Бог видит, – продолжал Кмициц, – что у меня самого было искреннее желание выразить вам свое почтение, но в настоящую минуту я прибыл, вместе с тем, и по приказанию князя, который и сам бы выбрался в Биллевици, будь время другое.

– Велика честь! – ответил мечник.

– Этого вы не говорите, ваша милость, дело обычное, что сосед навестит соседа, но у князя нет минуты свободной, и он сказал мне так: «Извинись за меня перед паном Биллевицем, что я сам к нему ехать не могу, но пусть он ко мне приедет вместе со своей родственницей и непременно сейчас, потому что я не знаю, где буду завтра или послезавтра». Вот ваша милость видите, я приехал с приглашением и рад, что вижу вас обоих в добром здоровье. Когда я подъезжал сюда, я видел панну Александру в дверях, но она исчезла, как туман на лугу.

– Это я ее послал посмотреть, кто приехал, – сказал мечник.

– Жду ответа, мосци-пане, – сказал Кмициц.

В эту минуту слуга внес свечи и поставил их на стол. При их свете можно было разглядеть на лице мечника крайнее смущение.

– Честь для меня не малая, – сказал он, – но сейчас не могу, у меня гости... Извинитесь за меня перед князем...

– Ну это не помеха, пане мечник, я думаю, их милости князю уступят.

– У нас у самих есть языки, и мы можем за себя ответить, – сказал пан Худзынский.

– Не дожидаясь, чтобы другой решал за нас! – прибавил пан Довгирд из Племборга.

– Вот видите, мосци-пане мечник, – ответил Кмициц, делая вид, что не понял ворчания шляхты, – я знал, что эти паны – люди учтивые. Впрочем, чтобы их не обидеть, прошу от имени князя и их в Кейданы.

– Велика честь! – ответили оба. – У нас есть другие дела.

Кмициц взглянул на них пристально, а потом сказал, как будто обращаясь к кому-то четвертому:

– Когда князь просит, отказывать нельзя.

Шляхтичи при этих словах поднялись с кресел.

– Так это насилье? – сказал пан мечник.

– Пане мечник, благодетель мой! – воскликнул горячо Кмициц. – Их милости поедут, потому что мне так нравится, но в отношении к вам я не хочу прибегать к насилию, а только прошу исполнить желание князя. Я у него на службе и имею приказание привезти вас к нему; но пока не потеряю надежды, что добьюсь чего-нибудь просьбой, до тех пор я не перестану просить. Клянусь, что ни один волос не спадет с вашей головы. Князь просит вас, чтобы в это беспокойное время, когда даже мужики собираются в вооруженные шайки, вы жили в Кейданах. Вот и все. Вас встретят там с должным почтением, как гостя и друга, даю вам в этом рыцарское слово.

– Как шляхтич, я протестую, – сказал пан мечник, – и на моей стороне закон!

– И сабли! – крикнули Худзынский и Довгирд.

Кмициц рассмеялся и сказал:

– Спрячьте, мосци-панове, ваши сабли, не то велю поставить вас у сарая – и пулю в лоб.

Услышав это, оба струсили и стали со страхом посматривать друг на друга, а мечник воскликнул:

– Это бессовестное посягательство на шляхетскую свободу и привилегии.

– Не будет посягательства, если вы добровольно меня послушаетесь, – ответил Кмициц. – Лучшее доказательство – то, что я оставил драгун в деревне. Я приехал просить вас как соседа. Не отказывайтесь, прошу вас, – теперь времена такие, что трудно принять во внимание отказ. Сам князь за это извинится перед вами, и будьте уверены, что вас примут как соседа и друга... Поймите и то, если бы могло быть иначе, то я предпочел бы пулю в лоб, чем ехать сюда за вами. Волос не спадет с головы Биллевича, пока я жив. Подумайте, кто я, вспомните пана Гераклия, его завещание и рассудите: разве гетман выбрал бы меня ехать за вами, будь у него в отношении вас какие-нибудь дурные намерения?

– Но зачем же он насилует меня?.. Как могу я ему доверять, раз вся Литва только и говорит что о притеснениях лучших граждан в Кейданах.

Кмициц вздохнул с облегчением: по тону и словам мечника он понял, что тот начинает колебаться.

– Благодетель мой! – сказал он почти весело. – Между соседями насилие часто бывает началом дружеских чувств. Ну а когда вы приказываете снять колеса с кареты милого гостя, разве это не насилие? А тут знайте, что если бы мне даже пришлось связать вас и везти в Кейданы с драгунами, то для вашего же блага. Подумайте только: повсюду бродят толпы взбунтовавшихся солдат и бесчинствуют, приближаются шведские войска, а вы думаете, что вам удастся уцелеть здесь, что не могут прийти одни или другие, ограбить вас, сжечь, разорить и покушаться на вашу жизнь? Разве Биллевичи – крепость? Разве вы можете здесь быть вне опасности. Только в Кейданах вам ничто не угрожает; а здесь будет стоять княжеский отряд, который будет охранять ваше имущество как зеницу ока, и если у вас пропадут хотя бы вилы, то вы можете конфисковать все мои имения. Мечник начал ходить по комнате.

– Могу ли я верить вашей милости?

– Как самому себе! – ответил Кмициц.

В эту минуту в комнату вошла панна Александра. Кмициц подошел к ней порывисто, но вдруг он вспомнил, что произошло в Кейданах, и ее холодное лицо приковало его к месту. Он лишь молча поклонился.

Мечник остановился перед нею.

– Мы должны ехать в Кейданы! – сказал он.

– Это еще зачем? – спросила она.

– Князь-гетман просит.

– Очень любезно... как сосед... – прибавил Кмициц.

– Так любезно, что если мы не поедem, – с горечью ответил мечник, – то этому кавалеру приказано окружить нас драгунами и отвезти силой.

– Не дай же господи, чтобы до этого дошло! – сказал Кмициц.

– Разве я вам не говорила, дядя, – сказала панна Александра, – что надо бежать как можно дальше, ибо нас тут не оставят в покое... Вот оно и вышло!..

– Что делать? Что делать? От насилия нету лекарства! – воскликнул мечник.

– Да, – сказала панна, – но мы не должны по доброй воле ехать в этот опозоренный дом! Пусть же разбойники берут нас силой и везут! Не одних нас будут преследовать, не на одних нас обрушится месть изменников; но пусть они знают, что мы предпочитаем смерть позору!

Тут она с выражением глубочайшего презрения обратилась к Кмицицу:

– Свяжите нас, пан офицер или пан палач, и велите привязать к лошадям, иначе мы не поедem!

Кровь бросилась в голову Кмицицу; минуту казалось, что он разразится страшным гневом, но он поборол себя:

– Ах, мосци-панна! – сказал он сдавленным от волнения голосом. – Я в опале у вас, коли вы хотите сделать из меня изменника и насильника! Пусть Господь рассудит, кто из нас прав: я ли, служа гетману, или вы, помыкая мной, как собакой. Бог дал вам красоту, но дал и жестокое, неумолимое сердце! Вы сами готовы страдать, только бы доставить другому еще большие муки! Но вы переходите границы, – клянусь Богом! – переходите границы! И это ни к чему не приведет!

– Она дело говорит! – воскликнул мечник, у которого вдруг прибавилось храбрости. – Мы не поедem добровольно! Везите нас с драгунами!

Но Кмициц был так взволнован, что не обратил на его слова никакого внимания.

– Вам доставляют наслаждение чужие страдания, – продолжал он, – вы называли меня изменником без всякого суда, не позволив мне сказать ни слова в свое оправдание. Пусть будет так... Но в Кейданы вы поедете, неволей или волей, все равно. Там обнаружатся все мои стремления, там вы узнаете, справедливо ли меня оскорбили; там совесть вам подскажет, кто из нас для кого был палачом. Другой мести мне не надо... Я ничего больше не хочу! Вы гнули лук, пока его не сломали... Под вашей красотой, как под цветком, скрывается змея. Но бог с вами! Бог с вами!

– Мы не поедem! – повторил еще решительнее мечник.

– Не поедem! – крикнули паны Худзынский из Эйраголы и Довгирд из Племборга.

Тогда Кмициц, бледный, со стучащими от гнева зубами, крикнул им:

– Ну! Попробуйте еще раз сказать, что не поедете! Слышите топот? Мои драгуны едут. Скажите кто-нибудь, что не поедете.

Действительно, за окном раздался топот лошадиных копыт. Все увидели, что спасения нет. Кмициц сказал:

– Панна! Через несколько минут вы должны быть уже в коляске, иначе дядюшке достанется пуля в лоб.

Им, очевидно, все больше овладевал приступ бешеного гнева, он крикнул так, что стекла задрожали:

– В дорогу!

Но в это время дверь в сени тихо отворилась, и чей-то незнакомый голос спросил:

– А куда это, мосци-кавалер?

Все окаменели от удивления и посмотрели на дверь, в которой стоял какой-то маленький человек в панцире и с обнаженной саблей в руках. Кмициц отшатнулся, точно увидел привидение.

– Пан... Володыевский! – вскрикнул Кмициц.

– К вашим услугам! – ответил маленький человек.

И он вошел в комнату; за ним вошли толпой Мирский, Заглоба, двое Скшетуских, Станкевич, Оскерко и Рох Ковальский.

- А, – крикнул Заглоба, – поймал казак татарина! А мечник обратился к вошедшим:
- Кто бы вы ни были, рыцари, спасите гражданина, коего, вопреки праву, происхождению и сану, хотят арестовать. Спасите, мосци-панове братья, шляхетскую свободу!
- Не бойтесь, ваць-пане! – ответил Володыевский. – Драгуны этого кавалера уже связаны, и теперь он больше нуждается в помощи, чем вы!
- А еще больше в священнике! – прибавил Заглоба.
- Не везет вам, пан кавалер! Второй раз сводит нас судьба, и я опять у вас на дороге! – сказал Володыевский, обращаясь к Кмицицу. – Вы, верно, не ждали меня?
- Не ждал! – ответил Кмициц. – Я думал, что вы в руках князя.
- Бог дал мне вырваться из его рук, а вам ведомо, что здесь идет дорога на Полесье. Но не в том дело! Когда вы первый раз хотели похитить эту панну, я вызвал вас на поединок... Не правда ли?
- Да, – ответил Кмициц, невольно прикасаясь к голове.
- Теперь дело другое! Тогда вы были забиякой, что часто встречается среди шляхты, и ничего в этом позорного нет; теперь же вы недостойны того, чтобы драться с честным человеком.
- Почему? – спросил Кмициц, гордо подняв голову и глядя прямо в глаза Володыевскому.
- Ибо вы ренегат и изменник! – ответил Володыевский. – Ибо вы честных солдат, защищающих отчизну, резали, как палач, ибо благодаря вам наша несчастная страна стонет под новым бременем... Короче говоря, выбирайте смерть, пришел ваш последний час!
- По какому же это праву вы хотите меня судить и казнить? – спросил Кмициц.
- Мосци-пане, – ответил Заглоба, – лучше молитесь, чем спрашивать нас о праве. Если вы можете сказать что-нибудь в свое оправдание, то говорите скорее: здесь не найдется ни одной души, которая бы за вас заступилась. Я слышал, что один раз эта панна добилась вашего освобождения из рук Володыевского, но после того, что вы сделали теперь, и она, верно, откажется просить за вас.
- Глаза всех присутствующих невольно обратились на молодую девушку, стоявшую неподвижно, точно в окаменении. Глаза ее были опущены, лицо мертвенно и холодно; но она даже шагу вперед не сделала и не сказала ни слова.
- Тишину нарушил голос Кмицица:
- Я не прошу у этой панны заступничества.
- Панна Александра молчала.
- Эй, сюда! – крикнул Володыевский, подойдя к дверям.
- Послышались тяжелые шаги, которым завторил звон шпор, и в комнату вошло шесть солдат во главе с Юзвой Бутрымом.
- Берите его, – скомандовал Володыевский, – уведите за деревню и пулю в лоб!
- Тяжелая рука Бутрыма легла на плечо Кмицица; схватили его и остальные солдаты.
- Не позволяйте им тормозить меня, как собаку! – сказал он Володыевскому. – Я и сам пойду!
- Маленький рыцарь дал знак солдатам, и они отпустили его, но окружили со всех сторон; а он шел спокойно, никому не говоря ни слова и шепча про себя молитву.
- Панна Александра тоже вышла в противоположную дверь. Она прошла одну комнату, другую, вытягивая в темноте руки; наконец голова у нее закружилась, что-то сдавило ей грудь, и она упала без чувств.
- А среди оставшихся в первой комнате некоторое время царило молчание, наконец мечник спросил:
- Неужели нет для него пощады?
- Жаль мне его, – ответил Заглоба, – он так храбро шел на смерть.

– Он расстрелял несколько человек из моего полка, не считая тех, которых перебил во время битвы, – сказал Мирский.

– И из моего тоже, – прибавил Станкевич. – А людей Невяровского он, говорят, перерезал всех до одного!

– Должно быть, ему Радзивилл приказал, – сказал Заглоба.

– Мосци-панове, – заметил мечник, – вы этим накличете на мою голову месть гетмана!

– Вы должны бежать! Мы едем на Полесье, к восставшим полкам, собирайтесь и вы с нами. Иначе сделать нельзя! Можете скрыться в Беловеже у родственника пана Скшетуского. Там вас никто не найдет.

– Но они разорят мое имение!

– Речь Посполитая вас вознаградит.

– Пан Михал, – сказал вдруг Заглоба, – я побегу сейчас посмотреть, нет ли при этом несчастном каких-нибудь гетманских писем? Помните, что я нашел у Роха Ковальского?

– Ну так садитесь на коня! Не то запоздаете, и бумаги запачкаются кровью! Я нарочно велел вывести его за деревню, чтобы не испугать панну выстрелами, иные панны очень чувствительны...

Заглоба вышел, и в ту же минуту раздался топот лошадиных копыт; Володыевский обратился к мечнику:

– А что делает ваша родственница?

– Должно быть, молится за того, кто сейчас предстанет перед Богом.

– Пусть Господь пошлет ему вечный покой! – сказал Ян Скшетуский. – Если бы он служил Радзивиллу не по доброй воле, я бы первый за него заступился, но если он не захотел стать на защиту отчизны, то он мог хоть не продавать своей души гетману.

– Верно! – ответил Володыевский.

– Он виновен и заслуживает того, что с ним случилось! – сказал Станислав Скшетуский. – Но я предпочел бы все же, чтобы на его месте был Радзивилл или Опалинский... Ох, Опалинский!

– Насколько он виноват, – вмешался Оскерко, – вы можете судить из того, что эта панна, женом которой он был, не нашла ни слова в его защиту! Я видел, как она мучилась, но молчала, – как же можно заступаться за изменника?!

– А любила она его когда-то всей душой, знаю я это, – сказал мечник. – Позвольте мне, Панове, пойти посмотреть, что с нею; это для нее тяжкое испытание.

– И собирайтесь поскорее в дорогу, ваць-панове! – сказал маленький рыцарь. – Мы дадим лишь немного отдохнуть лошадям и едем дальше. Отсюда слишком близко до Кейдан, а Радзивилл должен был туда вернуться.

– Хорошо! – сказал шляхтич. И вышел из комнаты.

В ту же минуту раздался пронзительный крик. Рыцари бросились на крик, не понимая, что случилось; бежала прислуга со свечами, и все увидели мечника, поднимавшего молодую девушку, которую он нашел лежащей без чувств на полу.

Володыевский подбежал к нему на помощь, и они положили ее без признаков жизни на диван. Прибежала старая ключница с разными лекарствами и стала приводить ее в чувство. Наконец панна открыла глаза.

– Вам не место здесь, Панове! – сказала старая ключница. – Мы и без вас обойдемся!

Мечник вывел гостей.

– Я предпочел бы, чтобы всего этого не было, – сказал он. – Вы могли бы взять с собой этого несчастного и расправиться с ним по дороге, а не у меня! Как же теперь ехать, когда девушка еле жива? Ведь она может захворать!

– Свершилось, – сказал Володыевский. – Мы посадим панну в коляску. Бежать вам все-таки нужно, месть Радзивилла никого не щадит.

– А может быть, панна скоро оправится, – заметил Ян Скшетуский.

– Коляска удобна и запряжена, Кмициц ее привез с собою, – сказал Володыевский. – Идите же, пан мечник, и скажите вашей панне, пусть она соберется с силами, поездки откладывать нельзя. Мы должны ехать сейчас, не то к утру, пожалуй, подспеют радзивилловские войска.

– Правда! – ответил мечник. – Иду!

Спустя некоторое время он вернулся со своей родственницей, которая не только оправилась, но была уже одета в дорогу. Лишь щеки ее горели и глаза блестели, как в лихорадке.

– Едемте, едемте! – сказала она, войдя в комнату.

Володыевский вышел на минуту в сени, чтобы распорядиться насчет коляски, и вскоре все стали собираться в путь.

Не прошло и четверти часа, как за окнами раздался грохот подъезжающего экипажа и топот лошадиных копыт по камням, которыми была вымощена дорога перед крыльцом.

– Едемте! – сказала Оленька.

– В дорогу! – крикнули офицеры.

Вдруг дверь с шумом раскрылась, и в комнату вбежал запыхавшийся Заглоба.

– Я приостановил казнь! – крикнул он.

Оленька в одну минуту побледнела как полотно; казалось, что она тут же лишится чувств, но никто на нее не обратил внимания, глаза всех были устремлены на Заглобу, который в это время дышал, как огромная рыба, лоя губами воздух...

– Вы приостановили казнь? – спросил его Володыевский. – Почему?

– Почему? Дайте отдышаться... Если б не этот Кмициц, мы все давно уже висели бы на кейданских деревьях... Уф! Мы хотели убить нашего благодетеля... Уф!..

– Как так? – вскрикнули все разом.

– Как? Вот прочтите это письмо и узнаете.

С этими словами Заглоба подал Володыевскому письмо, тот стал читать его, останавливаясь каждую минуту и посматривая на товарищей; это было письмо, в котором Радзивилл упрекал Кмицица, что благодаря его усиленным просьбам он освободил их от смерти в Кейданах.

– А что? – говорил при каждой остановке Заглоба.

Письмо кончалось, как известно, поручением привезти Биллевича и Оленьку в Кейданы. Кмициц, должно быть, захватил его с собою, чтобы, в крайнем случае, показать его мечнику, но не успел.

Теперь уже не было никакого сомнения, что если бы не Кмициц, то оба Скшетуские, Володыевский и Заглоба были бы казнены тотчас же после подписания знаменитого договора с Понтусом де ла Гарди.

– Панове, – сказал Заглоба, – если теперь вы прикажете его расстрелять, клянусь Богом, я отрекаюсь от вас совсем...

– Об этом и речи быть не может! – ответил Володыевский.

– Ах! Какое счастье, – воскликнул Скшетуский, – что вы, отец, прочли письмо прежде, чем везти его к нам.

– Ну и догадлив же! – заметил Мирский.

– А что? – воскликнул Заглоба. – Другой на моем месте вернулся бы к вам прочесть письмо, а того бы уж в это время расстреляли. Как только мне принесли найденную при нем бумагу, меня точно что-то кольнуло – ведь я от природы любопытен. Двое проводников с фонарями ушли вперед и были уже на лугу, но я велел их позвать. И когда начал читать, со мной чуть дурно не стало, точно меня обухом по голове хватили. «Скажите, ради бога, пан кавалер, – говорю я Кмицицу, – почему вы не показали этого письма?» – «Потому что не хотел!» – ответил он. Вот гордая бестия, даже в минуту смерти. Тут я схватил его и давай обнимать. «Благо-

детель наш! – говорю я ему. – Если бы не ты, то нас бы давно воронье клевало». И велел вести его назад, а сам во весь дух помчался к вам, чтобы сообщить обо всем, что произошло... Уф...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.